

неприкосновенный запас

ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

4
168
2026

* развитой социализм и его экономика
* ненависть к элитам
* эгосенситивность, травма, маскулинность

неприкосновенный запас 4 [168] 2026

ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ | выходит шесть раз в год | издается с сентября 1998 года

НОВЫЕ/СТАРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИКИ В (ПОСТ)МОДЕРНОМ МИРЕ

003 **Игорь Смирнов.** Ненависть к элитам

026 **Андрей Медушевский.** Виртуальные государства и их политико-правовое будущее

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА

057 К генеалогии российского бизнеса
Страницы **Алексея Левинсона**

ФОРУМ «НЗ»

064 К столетию Мишеля Фуко. История «гувернаментальностей» в России: от Иосифа Волоцкого до «развитого социализма». Дискуссия «НЗ». Часть II

КУЛЬТУРА МОДЕРНОСТИ *REVISITED*

089 **Владислав Дегтярев.** Распад классики, или Забытое искусство Цирцеи

CASE STUDY 1

115 **Вадим Корольков.** Невыученные уроки Хасавюрта

ЭГОСЕНСИТИВНОСТЬ, ТРАВМА И МАСКУЛИННОСТЬ

142 **Сергей Финогин.** Эгосенситивность и общество риска

166 **Андрей Гелианов.** Изобретение травмы: как Опра Уинфри и «либералы» предали угнетенных

187 **Клавдия Смола.** Речь подпольного человека: маскулинность в культуре советского андерграунда

CASE STUDY 2

214 **Евгений Панков.** Женщины Исландии и СССР: диалог на расстоянии

ПРЕВРАТНОСТИ МЕТОДА

227 Венесуэла: оппозиция и Трамп
Страницы **Татьяны Ворожейкиной**

НОВЫЕ КНИГИ

241 **Константин Митрошенков.** Когнитивная картография народного хозяйства

SUMMARY

258

Главный редактор
Ирина Прохорова

Шеф-редактор
Кирилл Кобрин

Редакторы
Андрей Захаров
Антон Золотов

Дизайн
Дмитрий Черногаев
Андрей Бондаренко

Верстка
Екатерина Сярая

Корректор
Марина Алхазова

Маркетинг, PR и реклама
Анастасия Векшина
Тел. +7 (495) 229 91 03
e-mail:
a.vekshina@nlobooks.ru

Почтовый адрес редакции
123104, Москва,
Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.
тел./факс: +7 (495) 229 91 03
в Санкт-Петербурге:
тел./факс: +7 (812) 579 50 04

e-mail:
nz@nlobooks.ru
электронная версия
журнала:
www.nlobooks.ru/nz

member of
the eurozine network
www.eurozine.com

Подписка по России:
Агентство «Роспечать»:
подписной индекс 45683

Зарубежная подписка:
Kubon & Sagner,
Hesstr. 39/41,
80798, München, Germany
Tel.: +49-89-54-218-130
Fax: +49-89-54-218-218
e-mail:
postmaster@kubon-sagner.de
www.kubon-sagner.de

ISSN 1815-7912
ISBN 5-86793-053-x
«Неприкосновенный запас»
Лицензия на издательскую
деятельность:
серия ЛР № 061083
от 6 мая 1997 г.

Свидетельство о регистрации
средства массовой
информации:

Серия ПИ № 77-7546 от
5 марта 2001 г.

Периодичность: 6 раз в год.

[18+]

© ООО Редакция журнала
«Новое литературное
обозрение»

Москва, 2026

Ненависть к элитам

Игорь Смирнов

Ожесточение против истеблишмента приняло в последнее десятилетие повальный характер, обусловив общее развитие социальности в современном мире, а не только положение дел в отдельных странах. Это недовольство привело Дональда Трампа к успеху в состязании с бывшей первой леди Хиллари Клинтон на президентских выборах в США (2016); обеспечило приход к власти в Аргентине Хавьера Милея (2023), приверженца анархо-капитализма, выступившего с программой по деинституционализации национальной экономики; усилило влиятельность антисистемных политических движений, возглавляемых Найджелом Фаражем в Великобритании и Марин Ле Пен / Жорданом Барделла во Франции, и позволило «Альтернативе для Германии» стать одним из главных игроков на немецкой политической сцене. Рейтинг глав правительств во Франции и Германии низок, как никогда: согласно данным, полученным в конце 2025 года[1], только 25% опрошенных удовлетворены деятельностью канцлера Фридриха Мерца и 16% — президента Эммануэля Макрона, тогда как позитивного мнения о Барделла придерживаются 42% респондентов. Еще выше был уровень доверия, оказанного Трампу, расшатывающему традиционный политический строй



Игорь Павлович Смирнов (р. 1941) — автор многочисленных статей и книг гуманитарного профиля; основной научный интерес сосредоточен на теории истории. Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

1 См., например: https://d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net/documents/Topline_Eurotrack_Dec25_w.pdf.

&

НОВЫЕ/СТАРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИКИ В (ПОСТ)МОДЕРНОМ МИРЕ

американской демократии. Вместе с политическими элитами перетряска социальной иерархии задевает и любые иные: второй президентский срок Трампа ознаменовался исходящими из Белого дома гонениями на университетские и журналистские круги, а также на экспертов, например занятых исследованием климата.

Единоличная власть отвечает на возлагаемые на нее социальными низами надежды тем, что не дает своему административному аппарату возможности устояться, постоянно реорганизует ближайшее окружение. Происходящее же в наши дни нацелено на то, чтобы вовсе отнять у элит их легитимность, подставив на их место народного избранника.

Неприятие массовым сознанием истеблишмента влечет за собой установление режимов, от которых ожидается, что они выразят народную волю напрямую — без посредничества «политической касты» и олигархической верхушки общества (будь то правление Владимира Путина в России, Виктора Орбана в Венгрии, Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, Нарендры Моди в Индии, Жаира Болсонару в Бразилии и других). Политология обычно указывает на то, что формирование в наши дни автократий сопровождается сменой старых элит новыми[2]. Однако нынешняя ситуация не совпадает с той, которую смоделировал в труде «Трактат по общей социологии» (1916) Вильфредо Парето, считавший, что общество в периоды сломов сохраняет необходимое для своего бесперебойного функционирования равновесие путем замещения властвующей элиты резервной. Единоличная власть отвечает на возлагаемые на нее социальными низами надежды тем, что не дает своему административному аппарату возможности устояться, постоянно реорганизует ближайшее окружение (как это делал Трамп в 2016–2020 годах). Происходящее же в наши дни нацелено на то, чтобы вовсе отнять у элит их легитимность[3], подставив на их место народного избранника. Этот ставленник демоса не столько опирается на бюрократию (закоренелую или свежеиспеченную), сколько

2 См., например: Rhodos-Purdy M., Navarre R., Utych S. *The Age of Discontent. Populism, Extremism, and Conspiracy Theories in Contemporary Democracies*. New York: Cambridge University Press, 2023. P. 206 ff.

3 Биргер Приддат причисляет к ряду нынешних антиэлитарных тенденций и внедрение в управление производством и государством искусственного интеллекта, отнимающего верховенство у человека (Priddat B.P. *Silizium und Tyrannis* // Lettre international. 2026. № 2(152). S. 8).

склонен к непотизму (дочь Трампа, Иванка, занимала пост советника президента, а ее муж, Джаред Кушнер, выполняет дипломатические поручения; младшая сестра Хавьера Милея, Карина, — секретарь президентской канцелярии). Суверен не отчуждает, таким образом, верховенство от себя, передоверяя его назначаемым им комиссарам, а соучаствует в политической деятельности своих сотрудников, будучи репрезентированным в ней лицами, с которым сближен особенно тесно. Такое семейно-компанейское правление окарикатуривает монархию — наследственную власть семьи над социумом. Трамп не мог смириться с поражением, нанесенным ему на выборах в 2020 году Джо Байденом, потому что занимал позицию, аналогичную той, в какой находится самодержец, от которого его статус в норме неотъемлем. Элитам из прошлого приходится во враждебной им обстановке выбирать между потерей влияния и приспособлением к изменению социополитического контекста, заставляющим их идти в услужение, как это случилось с большинством крупных бизнесменов в России или с техномагнатами Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом в США (впрочем, союз мультимиллиардера Маска, принявшегося выкорчевывать бюрократию, и Трампа, благословившего его на расправу над ней, оказался недолговечным).

Попытки устройства социального мира без элит повторяются в истории, когда та достигает своей критической точки в революциях, поначалу питаемых религиозным рвением. Правивший во Флоренции (1494–1498) монах-доминиканец Джироламо Савонарола боролся с потомственными привилегиями аристократов, денежным могуществом ростовщиков и тягой сограждан к роскоши, предметы которой всенародно предавались огню. Томас Мюнцер учредил в Мюльхаузене (1524) коммуну «святых», которая в своем чаянии стать царством Божием на земле еще до Второго пришествия противостояла как светской элитарности (власти князей), так и религиозной исключительности (монастырям, пользовавшимся правом на земельные владения). Если религиозный ропот против элит и не выливался в революционный эксперимент, как у Мюнцера, в коммуне которого имущество было обобществлено, то все же вступал в разногласие с наличным социальным порядком. Псковская ересь «стригольников» (XIV век) была вызвана протестом прихожан против симонии (возведения в священнический сан за мзду) и оппонировала клиру тем, что насаждала монашеский аскетизм в миру́. Возмущенные обмирщением церковной практики «стригольники» противились ей, сакрализуя свое повседневное поведение, социальный обиход.

По мере освобождения революционности от религиозных установок борьба с элитами ведется не только с ниспровергаемым правящим слоем, но и со вновь возникающим в результате переворота. Теряя из виду разграничение божественного и человеческого, революции Новейшего времени оборачиваются тотальным профанированием, безальтернативно направляемым ими и вовне и на самих себя. Ничего святого для них нет. Одно из обвинений, которое было предъявлено Жоржу Жаку Дантону, послужив доводом для его казни (1794), вменяло народному трибуну расточительный образ жизни. Через короткое время на гильотину были отправлены и сами обвинители Дантона. Дело здесь не в том, что террору в годы Великой французской революции было предназначено держать место власти пустым, как полагает Славой Жижек[4], а в том, что революция, став сугубо социально-политической, замкнувшейся в мире сем, оказалась вынужденной, дабы длиться, воспроизводить саму себя, то есть переходить от отрицания старого строя к самоотрицанию. Под таким углом зрения понятно, почему между радикально обновляющими общество и консервативными революциями, так или иначе берущими инновативность назад, нет существенного расхождения в их отношении к порождаемым ими элитам. Сталин не щадил собственных приспешников (особенно из числа сотрудников секретной службы) точно так же, как и большевистскую гвардию, истребление которой гарантировало ему возможность единолично распоряжаться дальнейшим ходом русской революции, все более и более трансформировавшейся в сооружение мировой империи.

Революция, став сугубо социально-политической, замкнувшейся в мире сем, оказалась вынужденной, дабы длиться, воспроизводить саму себя, то есть переходить от отрицания старого строя к самоотрицанию.

Религиозные революции не просто сходят на нет в Новейшее время, но сохраняют свои следы в светских, будь то введение Робеспьером культа Верховного существа или заигрывание Сталина с православной церковью. Современные *disruptions* унаследовали из прежнего революционного опыта и недоверие к новоявленным элитам (Трамп перетасовывал в первый президентский срок свой кабинет, Кремль старается устра-

4 Žižek S. *Grimassen des Realen. Jacques Lacan oder die Monstrosität des Aktes*. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1993. S. 130–137.

нить коррумпированных чиновников из высших эшелонов власти), и обращение завоевателей государственной власти за поддержкой к религии (Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ищут себе подспорье у евангельских христиан, Путин полагается на Русскую православную церковь, Эрдоган — на ислам, Моди — на индуизм; Ярослав Качиньский, еще совсем недавно диктовавший Польше ее политику, — на католицизм). Чем чаще общество сотрясается революциями, тем более они накапливают собственную традицию. Спрашивается, в чем состоит своеобразие сегодняшнего восстания против элит?

***

Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует принять во внимание то обстоятельство, что революция 1968 года в США и Западной Европе, послужившая входом в наш исторический период, была элитарной. Она совершалась в тех условиях, когда Герберт Маркузе объявил в «Одномерном человеке» (1964) Марксов пролетариат «мифом». В обществе, все более и более соблазняемом консюмеризмом, роль поднимающихся на бунт масс приняли на себя студенчество и молодежь, занятая интеллектуальным трудом. Можно даже сказать, что это молодежное протестное движение направляло свой мятеж против масс, бывших до того главной опорой тоталитарных режимов. Оно было миноритарным. Тогда как число леворадикальных демонстрантов в Федеративной Республике Германии не превышало обычно трех тысяч, на похороны застреленного в 1974 году «городскими партизанами» председателя Берлинского окружного суда Гюнтера фон Дренкмана явились двадцать тысяч человек.

С какими элитами сражаются теперь антилиберальные партии? С теми, которые постепенно выдвинулись из социальной периферии (в том числе из подполья и эскапистских групп) в центр общества и с продолжателями их начинаний. Президент США Билл Клинтон (1993–2001) был в юности деятельным противником войны во Вьетнаме, как и сенатор от штата Вермонт и лидер левого течения в демократической партии Берни Сандерс; депутат Европарламента (1994–2014), едва не ставший министром при Макроне, Даниэль Кон-Бендит возглавлял вместе с другими левыми активистами майские волнения в Париже в 1968 году; тогда же будущий вице-канцлер Германии Йошка (Йозеф) Фишер (1998–2005) участвовал в разыгравшейся во Франкфурте на Майне схватке демонстрантов с полицией. Приведенные примеры было бы не трудно умножить.

Обрушая сегодня истеблишмент, консервативные революции кладут конец эпохе, застрельщики которой распространили

собственную эксклюзивность на организацию общества, ставшего терпимым к сосуществованию в нем множества разнородных, но одинаково не доминирующих над социореальностью коллективов. Чем бы ни были сбиты воедино эти группы (национально-расовой ли принадлежностью, сексуальной ли ориентацией, конфессиональными ли убеждениями, эстетическими ли вкусами, миграционным ли прошлым их членов или еще как-то), демократизация эксклюзивности делала общество не допускающим исторжения из своих границ инаковости. Эта социологика, универсализующая эксклюзивность, с диалектической необходимостью придавала исключениям прямо противоположную им интегративную целеустремленность[5]. Идеалом шестидесятников прошлого столетия было общество, сплошь сформированное из как бы элит.

Исторический цикл дошел до предела в отрицании своих исходных инициатив, которое не могло быть ничем другим, кроме их зеркального переворота. Вход и выход одной и той же диахронической системы не строго дизъюнктивны, а сопротивопоставлены друг другу. На место инклюзии через эксклюзивность пришло выталкивание из социального уклада всяческой исключительности, переносящее ее, однако, на само общество[6]. Элитарность, изживаемая внутри социума, оказывается, таким образом, тем свойством, которое квалифицирует его вкупе — как целостность, претендующую на привилегированное положение относительно прочих обществ. Отсюда проистекают и протекционизм, требующий льгот для национальной экономики в программе Трампа «Make America great again», и неприязнь к Евросоюзу со стороны европейских антилиберальных партий, надеющихся вернуться к безупречно суверенной государственности.

В генерализированном виде приоритет, отдаваемый каждому отдельному обществу перед всеми остальными, выражает себя в воцарении в сегодняшней действительности идентитарных веяний, заместивших идеологизированные стратегии социального поведения политикой, которая перестала апеллировать к рассудку ради того, чтобы напоминать нам о нашем происхождении. Исчерпав свою идейную мощь, эпоха завершается, абсолютизируя *corps social* как таковой, взятый

5 Насколько субкультуры стремятся повысить важность производимых ими ценностей, выбрасывая их на широкий культурный рынок, настолько неправомерно говорить, как это делает Андреас Реквиц, о том, что мы живем в «обществе сингулярностей» (Reckwitz A. *Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne*. Berlin: Suhrkamp, 2017). Трактовка, данная Реквицем нашей социореальности, — это *contradictio in adiecto*: ассоциация одиночек (о которой когда-то мечтал Макс Штирнер) попросту невозможна.

6 Схема Каролины Амлингер и Оливера Нахтвея, по которой в противоборство сейчас вступают «инклюзивный либерализм» и «эксклюзивный антилиберализм», поверхностно упрощает наш эпохальный политический контекст: Amlinger C., Nachtwey O. *Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus*. Berlin: Suhrkamp, 2025. S. 134 ff.

в его генезисе, в момент обретения им признаковости. Как ни парадоксально, идентитарное мировоззрение, долженствующее как будто ввергать разные страны в сугубый изоляционизм, на деле выказывает себя солидаризирующей свои этнические варианты силой (Ян-Вернер Мюллер говорит в этой связи о «новом правопопулистском интернационале»[7]). Вэнс и Маск поддерживают «Альтернативу для Германии», Трамп славословил Орбана. Совместная конфронтация всяческих идентитаристов с толерантным обществом, родившимся из революции 1968 года, берет верх (во всяком случае — пока) над национальной эгоманией — над трайбализмом, который им органически присущ. В России, пережившей с большим опозданием эпохальный слом, который произвели шестидесятники на Западе, объектом неприятия для идентитаризма стали времена ельцинского правления. Задержавшись с узакониванием терпимости, Россия опередила Запад в отвержении таковой и в утверждении не подлежащей оспариванию ценности единого социально-этатического тела. К разочарованию многих, приходится констатировать, что Россия не только потому европейская страна, что бывает готовой перенять у Запада плюралистическое свободомыслие, но и по той причине, что служит открытым обществам примером для их превращения в дружно замыкающиеся на себе образования.

Россия не только потому европейская страна, что бывает готовой перенять у Запада плюралистическое свободомыслие, но и по той причине, что служит открытым обществам примером для их превращения в дружно замыкающиеся на себе образования.

Зеркальное соотношение пролога и эпилога нашей эпохи объясняет, почему теперешняя антиэлитарная революция имеет сходство с прежней элитарной, несмотря на их полярность[8]. Одна повторяет другую с обратным знаком. Из исторического развития исчезла трансгрессивность. На излете диахроническая система пародирует, пытаясь перезапустить себя, свое возникновение (поступая по Марксовой формуле, согласно которой второе начало в истории отдает

7 Müller J.-W. *Aber können sie regieren? Über populistische Regime und populistische Regierungskunst* // Häberle L. (Hrsg.). *Mainstream — freie Meinung — Populismus. Interdisziplinäre Beiträge zur Debattenkunst und zu Spaltungstendenzen der Gesellschaft*. Wiesbaden: Springer, 2025. S. 84.

8 Ср. сопоставление новейших левого («Подемос» в Испании, СИРИЗА в Греции) и правого популизмов: Bächtiger A., Dryzek J.S. *Delibertive Democracy for Diabolic Times. Confronting Populism, Extremism, Denial, and Authoritarianism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2024. P. 89 ff.

фарсовостью). Феминистские атаки на многовековую патриархальную социокультуру пресуществляются в выдвижение женщин (Марин Ле Пен, Алис Вайдель, Джорджа Мелони) на роль предводительниц радикально консервативных партий. Пацифизм поколения, выступавшего против войн во Вьетнаме и Алжире и организовавшего в октябре 1967 года многотысячный марш на Пентагон, симулируется в миротворчестве Трампа, одновременно со своими третейскими инициативами отдающего приказ о бомбардировке ядерных объектов Ирана, зарящегося на Гренландию и проводящего армейскую операцию в Венесуэле. Подобно тому, как немецкая внепарламентская оппозиция когда-то объявила блокаду газетному концерну Акселя Шпрингера (1968), «Альтернатива для Германии» теперь уже справа, а не слева изобличает главные информационные каналы в стране в якобы сокрытии правды, клеймя их без разбора как «Lügenpresse». Партизанская война Фракции Красной армии, Красных бригад и прочей «городской герильи» с буржуазным обществом резонирует в терроре, целящем в национальные и конфессиональные меньшинства, вроде нападения Штефана Баллиета на еврейскую общину в Халле (2019) или стрельбы, устроенной австралийским экофашистом Брентоном Таррантом в мечети Аль-Нур и исламском центре Линвуд в Новой Зеландии (2019).

Режиссер Пол Томас Андерсен точно уловил в своем последнем фильме «Битва за битвой» («One Battle After Another», 2025) зеркально симметричное сходство революционного андерграунда образца 1960–1980-х и правого радикализма, вызывающего у зрителей ассоциации с трампизмом. Эти стороны совершают на экране одни и те же действия с противоположным ценностным наполнением. В параллель к тому, как революционерка Перфидия выдает на гибель своих товарищей, члены расистского тайного общества (оба лагеря иллегальны) травят газом кандидата в их союз, офицера Стивена Локджо, выяснив, что тот был отцом ребенка темнокожей Перфидии. Дочери офицера политической полиции и подпольщицы фильм не без иронии предназначает продолжить потушенную было революционную борьбу. Во многих сценах фильм Андерсена примешивает к авантюрному сюжету фарсовую комику, отвечающую тому, что и впрямь разыгрывается на современной исторической сцене.

И поскольку дизраптивный популизм оказывается не чем-то небывалым, а пусть и отрицательным, но все же двойником революционности, приведшей к становлению нынешнего этапа социокультурной истории, то и переход власти от истеблишмента к его противникам не линеен, не окончателен, поддается реверсу. Общество кружит в челночной динамике. В состязании

с Трампом Байден вернул демократам господствующую позицию (2020), которую они на следующих президентских выборах (2024) вновь потеряли; антиисламистская Партия свободы Герта Вилдерса в Нидерландах добилась большинства в парламенте (2023), но затем уступила победу социально-либеральной партии (2025). В той мере, в какой интересы обновителей общественного порядка сосредоточиваются не на идеях, завоевывающих будущее, а на народном теле и его родословной, социокультура делается неспособной к выработке проектов, которые расположились бы за рубежом обоих полюсов испытываемого ею напряжения. Она стопорит свое историческое продвижение вперед в ментальном тупике, в бесперспективности, застревает в разломе на непримиримые фракции, погрязает в «холодной» гражданской войне.

Политическое мышление наших дней не озабочено импликативной логикой — выводом следствий из своих посылок. Оно догматично, страдает упростительством, коль скоро не прослеживает разных опций, вытекающих из какого-либо своего намерения, и, соответственно, не углубляется в его обоснование.

Это расщепление социума особенно заметно в США, но та же самая схизма определяет политическую ситуацию в Германии, где ее восточные земли, отдающие предпочтение антисистемным партиям, противостоят западным, или, скажем, в Польше, переживающей двоевластие несовместимых друг с другом президента Кароля Навроцкого, ставленника популистской партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», и либерального премьер-министра Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета. «Катастрофа публичной и политической коммуникации»[9] заключает каждую из сторон ставшего невозможным диалога в собственной нише, из которой «здесь и сейчас» видится куда более релевантным, единственно значимым, саморазумеющимся, нуждающимся в отстаивании любой ценой, чем «там и потом». Иначе говоря, политическое мышление наших дней (вне зависимости от того, левое оно или правое) не озабочено импликативной логикой — выводом следствий из своих посылок. Оно догматично, страдает упростительством (самый яркий пример такового — примитивизм публичных речей Трампа), коль скоро не прослеживает

9 Ibid. P. 3.

разных опций, вытекающих из какого-либо своего намерения, и, соответственно, не углубляется в его обоснование ради доказательства самому себе собственной истинности. Если либеральное политическое сознание по преимуществу лишь реагирует на совершающиеся в социореальности сдвиги, утратив волю к спонтанной предприимчивости, довольствуясь тем, что охраняет *status quo*, то антилиберализм ставит решимость к действию над *ratio* (не задумываясь, скажем, об экономическом ущербе, который принес бы Франции или Германии их выход из Европейского союза).

Консервативная революция, будучи выпадением из истории, гасит разум, отказываясь считаться с любыми не ею самой насаждаемыми изменениями в мире: игнорируя накопление парниковых газов в атмосфере Земли, восставая против профилактических мер во время пандемии, не признавая за неотменяемый факт распада советской империи или, на худой конец, осуждая смену индивидами пола. Мысль без обратной связи парализует самосознание, не контролирует себя. Акт мышления истинен потому уже, что он состоялся, и поэтому вправе придавать действительности любой образ, быть «постфактичным» (и перекликаться с электронным виртуальным миром, с «метаверсумом», где все возможно). Не соглашаясь, с одной стороны, с бросающимися в глаза сдвигами в окружающей нас обстановке, идентитаризм, с другой стороны, активно изменяет действительность в собственном воображении. Ложь есть сотворение истории, которой нет. Угнетение разума влечет за собой как подъем веры — не только традиционно религиозной, но и вырождающейся в суеверие в теориях заговора, приписываемого элитам, — так и иррационально-хаотические вспышки разрушительной коллективной истерии вроде штурма Капитолия (6 января 2021 года) или мятежа, затеянного частной военной компанией «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным (23–24 июня 2023 года). Деструктивность тем неудержимей, чем более креативность запустевает из-за недоступности будущего. Мы угодили во времена, забывающие интеллектуализм.

Частое в политологии отождествление нелиберальной демократии с фашизмом 1920–1930-х[10], еще одним продуктом консервативной революции, не вполне корректно. В то время как фашизм был тотальной мобилизацией всего общества, подавляющей в нем альтернативность в принципе, современная социореальность дуальна, упраздняя при этом обмен между своими подсистемами. Они составляют некий двуликий комплекс с омертвевшим внутренним метаболизмом.

10 См. в первую очередь: Amlinger C., Nachtwey O. *Op. cit.* S. 239 ff.

Партнерский обмен перерождается в экскоммуникацию чужеродного. *Cancel culture* практикуется в равной мере и в том и в другом блоках комплекса, выливаясь то в преследование политической некорректности расового или гендерного толка (*woke*), то в предъявляемые респектабельной журналистике обвинения в распространении *fake news*, чем скандально известны Трамп и его администрация, не терпящие никакой критики в свой адрес. Разъединенная на два непримиримых стана наша социальность отличается от фашистской также тем, что не допускает введения чрезвычайного положения, приостанавливающего действие закона и тем самым — скажу я в добавку к децизионистским выкладкам Карла Шмитта — распределяющего право так, что оно, переходя к лицу, отдающему особые распоряжения, отбирается у общества, нивелирует всех его членов (а не выделяет из их числа нарушителей общественного спокойствия[11]). Номос остается в наши дни в силе, но тем не менее подгоняется под нужды авторитарной власти путем обходных маневров — за счет ужесточения закона, манипулирования правосудием, наращивания запретительных мероприятий или управления страной с помощью (допускаемых конституцией) президентских указов, как это делает Трамп. Гонения на врагов президента Соединенных Штатов — как, например, на его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона — проводятся не посредством прямого насилия, а с использованием судебной инстанции.

***

Подрывающий ныне социальную стабильность популизм имеет глубокие корни в социокультурной истории[12]. Заметно, что народопоклонство усиливается под занавес исторических периодов. Не буду далеко ходить за примерами и ограничусь одними русскими. В концовке романтизма фетишизация народа вызвала к жизни как пресловутую формулу государственника Сергея Уварова, требовавшего, чтобы образование в стране покоилось на «духе православия, самодержавия и народности» (1831), так и неофициальное учение первых славянофилов, которое отозвалось в сформулированной Алексеем Хомяковым («Церковь одна», 1846)

11 Ср. понятие «зоны неопределенности», создаваемой в правопорядке чрезвычайным положением: Agamben G. *Ausnahmezustand (Homo sacer II.1)*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S. 32 ff.

12 К истории популистских политических движений ср.: Kenny P.D. *Why Populism? Political Strategy from Ancient Greece to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023; Möller K. *Volk und Elite. Eine Gesellschaftstheorie des Populismus*. Berlin: Suhrkamp, 2024. S. 113 ff.

идее «соборности» (мистически-храмового национального тела). Иван Киреевский противопоставил «западному самосознанию», которое сеет разнобой мнений, русскую «семейную цельность» — всегдашнюю, сохраняющуюся в «крестьянском быту» («О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», 1852)[13]. Приближение к завершению последовавшей за романтизмом позитивистско-реалистической эпохи дало в 1870-х ставшее поветрием хождение в народ революционно настроенной молодежи, которая вынашивала надежды на то, что ей удастся поднять крестьян на бунт против царской власти. Вступление в заключительную фазу развития символизма ознаменовалось — среди прочих проявлений демофилии (скажем, у Александра Блока и других деятелей культуры, сочувствовавших эсерам) — публикацией статьи Вячеслава Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (1907), предписывавшей художнику исполнять «заказ» народных масс. Показательно, что в этом — зрело символистском — социокультурном контексте бывший активист «Земли и воли», проповедовавшей хождение в народ, Лев Тихомиров вернулся к своим прежним убеждениям, придав им обратное значение: в труде «Монархическая государственность» (1905) он заступался за самодержавие, проникнутое «религиозной идеей», усматривая в нем прямое «представительство» народных чаяний и веры, не опосредованное «узурпирующей» верховную власть бюрократией. Чем более истрачивается творческий потенциал диахронической системы, тем охотнее она — в жажде выжить — клянется в верности носителю неувядаемых традиций — демосу.

Популизм наших дней — все тот же симптом убывания эпохальной энергии, что и раньше. Но было бы наивно думать, что за современный оборот событий несет ответственность лишь интеллектуальный авангард общества — тот самый, который в прошлом учреждал культ народа. Рост популизма производен не только от воздействия на публику пропаганды, курсирующей в социальных сетях и прочих средствах массовой информации. Трамп нанес поражение Хиллари Клинтон, вложив в предвыборную компанию 322 миллиона долларов — куда меньше, чем его неудачливая соперница, потратившая 565 миллионов. Сама демократия идет навстречу тому, что принято теперь называть «делиберализацией». Каков состав электората, предпочитающего автократию и взрывное переустройство общества элитам и социальной рутине? Истеблишментом возмущен не тот народ, что являет собой хранителя традиционных ценностей, а тот, что был от-

13 Киреевский И.В. *Критика и эстетика* / Под ред. Ю.В. Манна. М.: Искусство, 1979. С. 284.

лучен от них. Радикализм справа питается обидой, которой терзаются жертвы элитарной революции — большинство, вынужденное в течение последних пятидесяти лет идти шаг за шагом на уступки меньшинствам. Трамп и иже с ним становятся кумирами для тех, кто потерял свои выгодные позиции, кто принадлежит к извека претендовавшей на предводительство в истории белой расе, к преобладающим в государстве этническим группам, к населению былых имперских центров, к трудовому классу производителей национального достояния[14].

Если кому угодно дается право быть приобщенным к привилегиям по ходу универсализации элит, то нет ничего удивительного в том, что некогда отсталый Китай превращается в сверхдержаву, колонии обретают независимость, производство престижных товаров рассредоточивается по всей планете в результате глобализации экономики, а благополучные страны наводняются мигрантами из зон бедности и бедствий. Оборотная сторона этих процессов — ощущение неполноценности, завладевающее бывшими хозяевами жизни. Несколько странным в таком ряду кажется на первый взгляд тот факт, что замешанному в сексуальные скандалы Трампу отдали свои голоса многие американские женщины из среднего класса. Но ведь и они оказались в проигрыше вследствие побед феминизма. Вместе с подрывом патриархальной социокультуры они лишились того семейно-домашнего авторитета, который предоставлялся им правящим в обществе «сильным полом».

Важными катализаторами бунта против элит были финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса, вспыхнувшая в 2020-м. Сложившееся в ответ на финансовые неурядицы левое протестное движение «Occupy Wall Street» (2011) показало своим антиглобализмом пример всем, кто пострадал от осуществленного капиталом демонтажа стеснявшего его государственного регулирования (более всего проиграли те, кто потерял рабочие места при перемещении индустрии в страны с дешевым трудом, а также коллективы малых и средних предприятий, в том числе аграрных, попавших в условия более масштабной, чем ранее, конкуренции). Пандемия, стоившая жизни более чем семи миллионам человек[15], вызвала всеобщий страх. Породивший подавленность и осторожность у одних, у других этот страх проективно (контрапозиционно)

14 Ср. определение популизма как «демократии ресентимента»: Bafoil F. *The Political Psychology of Populism. Trump, Putin, and the Roots of Humiliation*. Cham: Palgrave Macmillan, 2025. P. 123 ff. Вообще говоря, ресентимент — настроение не тех, кто просто пребывает в состоянии нехватки, а тех, кто уверен, что испытывает ее незаслуженно.

15 См.: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths.

переложился в агрессию, направленную против чрезвычайных мер, с помощью которых правительства разных стран старались взять под контроль распространение инфекции. Вывернувшись наизнанку, страх, внушаемый отприродной катастрофой, был компенсирован тем, что стал негодующим осуждением органов власти, старавшихся сократить размеры пагубы. Именно в этот исторический момент атака на элиты, бывшая до того нападкой на финансовых воротил, преобразовалась в недовольство самим элитарным обществом, директивно распоряжающимся поведением граждан.

В жажде безальтернативности нелиберальная демократия подрывает ту разность, что обеспечивает трансцендирование общества. Правый протест тормозит историю.

И левые и правые антиглобалисты были одинаково враждебно настроены против власти, получившей слишком расширившуюся свободу своего отправления. Но для левых добытое авантюрным путем могущество финансового сектора явилось объектом отрицания, учиняемого ради достижения будущего (которое рисовалось как избавление общества от становящейся все более и более тягостной долговой кабалы, а его членов — от дани, выплачиваемой ими чувству первородного греха[16]). Правые же стремились восстановить отнятые у них сильные позиции, тоскуя по прошлому, надеясь отпрянуть в генезис, исповедуя идентитаризм. Ярость оглядывающихся на минувшее масс, которая поднялась во время пандемии, выражалась в критике элит (политических, бюрократических, информационных, научных), но, по существу дела, обрушивалась на общество в целом как на систему, предрасположенную к развитию, удаляющуюся от своих отправных пунктов. Конструктивное начало в гневе тех, кому хотелось вернуть себе место в жизни, занятое другими, было регрессивным и, следовательно, не умножающим альтернативы (каковые суть *sine qua non* либерализма), а устраняющим их в абсолютизации того, что уже было. В жажде безальтернативности нелиберальная демократия подрывает ту разность, что обеспечивает трансцендирование общества, будучи имманентной ему как решающему в своем устойчивом бытовании сразу множество дифференцированных задач. Попросту говоря, правый протест тормозит историю.

16 Graeber D. *Debt. The First 5000 Years*. New York: Melville House Publishing, 2011.

* * *

Чтобы глубже разобраться в нашей современности, мне придется сделать отступление в область диахронической социологии. Выстраивание элит, привносящее в скоординированную полифункциональность общества субординативность, претерпевает изменения по мере социокультурного развития. В архаическом социуме элитарность персонифицирует *Big Man* — описанный Маршаллом Салинсом на полинезийском этнографическом материале глава клана, обладающий нездешней «сакральной силой (мана)» и имеющий поэтому не только распределительно-организаторскую власть, но и «церемониальный престиж» в проведении ритуальных действий[17]. В шаманских обществах *Big Man*, путешествующий в запредельность, в верхний и нижний миры, обретает свои сверхъестественные способности как избранник по высшей воле — в результате призыва на шаманское служение[18]. Передвижка от мифоритуальной социокультуры к исторической формирует статусное общество, элита которого состоит либо из наследственного нобилитета, либо из тех лиц, чье ранговое достоинство определяется принадлежностью к сакральной институции — церкви. В обоих вариантах статусная верхушка общества обеспечивает ему стабильность вопреки исторической изменчивости, так или иначе сохраняя прошлое (родовое, институциональное) в настоящем.

Магический дар, которым отличался *Big Man*, в значительной степени теряет свою значимость в истории, переносящей нас в инобытие на деле, фактически и, соответственно, делающей элиту из чуда явлением сего мира, наличествующим в нем по традиции: привилегированность не зависит более от персональных качеств ее владельца, а доставляется ему семьей и социальным учреждением. Заключительный этап этих трансформаций зачинается великими революциями (сперва религиозными), в которых Новейшее время оставляет позади себя Новое. Социально-политические революции перемещают наделение общества прочностью из прошлого в грядущее, каковое предстает перед их идеологами в виде нескончаемого воспроизведения одного и того же (благого) состояния коллективной жизни (то есть в неоритуальном обличье). В наступающем

17 Sahlins M.D. *Social Stratification in Polynesia*. Seattle, 1958. P. 9.

18 В поисках архаических обществ, свободных от рангов и иерархий, Дэвид Гребер и Дэвид Венгроу оспорили универсальную значимость наблюдений Маршалла Салинса, однако их работа кишит малодостоверными спекуляциями: Graeber D., Wengrow D. *The Dawn of Everything. A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021. Эта монография пересаживает на научную почву чрезвычайно распространенный в постмодернистской художественной словесности жанр альтернативной истории и переносит на далекое человеческое прошлое анархистскую идеологию своих авторов (такое же транспонирование когда-то предпринимал и Петр Кропоткин).

времени социореальность взойдет на свою высшую ступень, на которой избавится от иного в себе, от внутренней разности. Революционный напор крушит статусный строй — упраздняет преимущества, которыми располагала аристократия, и ставит под удар клир (отделяя от государства церковь, авторитет которой сокращается, раз не гарантируется скрепляющей все общество центральной светской властью). Статусная социальность сменяется ролевой — меритократией, ценящей превыше всего эффективность в исполнении индивидами их общественно релевантных заданий, что отвечает тем ожиданиям, согласно которым сосуществованию людей надлежит стать в неизбежно приближающемся будущем полностью оптимизированным. Исторически преодолеваемые формы конституирования элит не исчезают вовсе из последующего бытования общества. *Big Man* не только архаичен. В харизматиках нуждается и историзированная социальность, особенно когда она впадает в кризисы (Томас Карлейль неспроста изучал подобные фигуры в трактате «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1840), испытывая вместе с тем исследовательский интерес к французской революции). Меритократия ничтожит аристократию, но на место старого нобилитета в моменты консервативных революций приходит новый — скажем, в образе сталинской номенклатуры.

Мишень той деструктивной энергии, которая захлестывает сейчас мир, — историзация общества, обещающая ему завтрашнее преуспевание, если сегодня его члены будут более достижительными. Дело не в том или, по меньшей мере, не только в том, что меритократия более не добивается успеха, сдерживаемая мелочным надзором чиновничьего аппарата и ростом устанавливаемых регламентаций, чем пробуждается «коллективное чувство блокированной жизни», как пишут Каролина Амлинген и Оливер Нахтвей[19]. Сопротивление существующей системе справа не имеет в виду открыть ее в будущее — а напротив, метит в то устройство общества, которое дало после молодежной революции, задавшей специфику нашей эпохи, возможность извлечь выгоду из меритократии любым меньшинствам. Оспаривается истеблишмент, допускающий включение в общество, которое повышает свою производительность, даже полностью обездоленных мигрантов. Лишенные идейности протестные массы антагонистичны относительно своего извне явившегося подобия — сходным с ними образом себе довлеющего коллективного тела пришельцев. Одна часть общества, понизившая свой ранг, идет против другой, расположенной на самом социальном дне, но имеющей в условиях

19 Amlinger C., Nachtwey O. *Op. cit*. S. 16 ff.

меритократии шанс улучшить свое положение, — против переселенцев и беженцев. Для первого из двух контингентов нет иной развязки этого конфликта, кроме придания статусного величия коренному народу по контрасту с чужаками, каковых надлежит изъять из социального обихода, репатриировать. В норме элитарность вводит в социальное бытование людей ценностное разграничение. Оно стирается, когда элитарным мыслится какой-либо социум во всем его объеме. Такой социум лишь мнимо элитарен, он плод воображения идентитаристов. В пару к этой симулятивной элитарности вождем, который обязывается реализовать идентитарные расчеты демоса, оказывается отнюдь не преемник Демиурга, как в архаике, а его отрицательная тень — трикстер, финансовый жонглер Трамп, то и дело отменяющий на президентском посту собственные политические поползновения.

Ненависть к элитам порождается сегодня тягой к совсем особой справедливости — такой, которая не уравнивает обездоленных и слабых с пребывающими в достатке и имущими силу, а наоборот: которая предполагает формирование однородного общества за счет выбрасывания из него малообеспеченных меньшинств.

Постмарксистские теории справедливости, каких бы способов ее достижения они ни намечали, солидарны в одном: заполучить ее можно оперативным путем за счет удаления из социального уклада вопиющего неравноправия. К примеру, Джон Ролз предлагал осуществить это с помощью такого общественного договора, который предоставляет всем действующим на социальной сцене лицам одинаковые стартовые позиции. Первенство лучших в вытекающей отсюда

Ненависть к элитам порождается сегодня тягой к совсем особой справедливости — такой, которая предполагает формирование однородного общества за счет выбрасывания из него малообеспеченных меньшинств.

конкурентной борьбе идет на пользу обществу в целом[20]. Возражавший на спортивно-меритократическую доктрину Ролза, Поль Рикёр писал о том, что взаимопризнания проигравших и выигравших в этой борьбе, окончательно устраняющего интерперсональную дисгармонию, нельзя добиться без арбитра. Справедливо, по Рикёру, общество, которое принимает

20 Rawls J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

истину, вещаемую правосудием[21]. В пику Рикёру Агамбен набрасывает модель эгалитарного общества, в котором отношения между индивидами налаживаются вовсе без посредника (под ним подразумевается прежде всего государство). Этот порядок возникнет, если все единичности в социальном мире будут взаимозамещаемыми, так что общее и индивидное сольются в неразличимости. Единичное во множественном числе не что иное, как дружеская среда, ближайшая референтная группа, с которой идентифицирует себя отдельная личность. Эгалитарной у Агамбена становится — в духе анархизма 1960-х — социореальность, подражающая избранному конфиденциальному кругу[22]. По мнению же Тома Пикетти и Майкла Сэндела, справедливость восторжествует тогда, когда общество подвергнется декоммодификации — отторжению от товарного рынка, которое сделает доступ к самым насущным для поддержания жизнедеятельности благам и услугам (в первую очередь к образованию и медицине), независимым от денежного достатка[23].

Все эти теории не выдерживают критики, потому что социальность есть для нас *modus vivendi*: пребывание в бытии можно изменить посредством той или иной политики, но нельзя перевести в свою противоположность, каковую являет собой *modus operandi*. Эквивалентность исходных позиций не более чем иллюзия в историзированном социуме, из которого неустранимы отставание одних и забегание вперед других. Судебная инстанция не в состоянии водворить в обществе свободу, равенство и братство, будучи занятой как раз отлучением от этих ценностей тех, кто нарушил закон. Превращение самых разных обществ в большую дружескую компанию, в которой свое и чужое легко меняются местами, предполагает пугающе-апокалиптическое снятие в глобальном масштабе этнокультурных, религиозных и прочих расхождений между локальными коллективами, вырождение мировой истории, накапливавшей различия, в гиблую энтропию. Проповедуемое Пикетти и Сэнделом перераспределение доходов от богачей для обеспечения бесплатных обучения и медицины покоится на отправной несправедливости — экспроприации собственности, произволе, который социум чинит применительно к индивидам. Там, где прекращается обмен, регулируемый рынком, вступает в действие принуждение к даянию — при том, что эксплуатация остается самой собой вне зависимости от того, кто ей подвергается — пролетариат или капиталисты.

21 Ricœur P. *Le Juste*. Paris: Éditions Esprit, 1995.
22 Агамбен Д. *Грядущее сообщество*. М.: Три квадрата, 2008. *Philia* была социальным идеалом и Жака Деррида: Derrida J. *Politiques de l'amitié*. Paris: Éditions Galilée, 1994.
23 Piketty Th., Sandel M.J. *Equality. What It Means and Why It Matters*. Cambridge; Hoboken: Polity Press, 2025.

Что до бытия, в котором творится наш социальный быт (*Dasein*), то оно, по суждению досократика Анаксимандра (611–546 до нашей эры), есть самообесправливание. Понятое Анаксимандром как апейрон (начало всего, не имеющее пределов) бытие несравнимо превосходит любое бытующее. Этот примат отражается в том, что всякая частность в бытии вовлекается в борьбу с другим его элементом, дабы стать превыше его, и тем самым соучаствует в распространении общего бесправия (не из этой ли посылки Анаксимандра ведет происхождение Гоббсово представление о естественном состоянии, в котором разыгрывается война всех против всех?). Мартин Хайдеггер реинтерпретировал бытие, бывшее источником неравенств у Анаксимандра. Оно устанавливает, по Хайдеггеру, абсолютную справедливость, будучи «бытием-к-смерти», ликвидируя разницу бытующих самым радикальным образом — уничтожая их. Может показаться, что, погружаясь в метафизику (без которой не обходится онтология, как бы ей этого ни хотелось), мы удаляемся в сторону от того, что Огюст Конт именовал «социальной физикой». Но это не так. Философия Хайдеггера («Бытие и время», 1927) отвечает социальному опыту, когда тот становится революционным. Сен-Жюст, один из зачинщиков массовых казней, начавшихся во Франции в 1793 году, обосновывал их необходимость словами «Никто не бывает абсолютно невинным» («Nul n'est absolutment innocent»). Припоминание о том же ветхозаветном первородном грехе проглядывает и в сталинском Большом терроре, проводившемся по разнарядке и безразличном к выбору своих жертв. Революции (попирают ли они «старый режим» или — в консервативной версии — самих себя) подчиняют социальность справедливости антропологического свойства: как бы несходны ни были люди по положению в общественной иерархии, все они смертны. Танатос — великий исправитель дискриминации и притеснения. Впервые танатологическая эгалитарность была реализована в бескровно-эскапистской революции — покинувшими мир сей (умершими для него) подвижниками в общежительных монастырях (киновиях), где практиковались отказ иноков от личного имущества и их совместное тружение.

Бытие — самое абстрактное из наших представлений, никак непроверяемое объективно, — не могло быть не чем иным, кроме как извлеченным изнутри нашей субъективности. Мысль о безраздельном господстве бытия над всем, что только ни отыскивается в нем, была проективной — она преломляла в себе доминирование общества над индивидами. Неравенство, в котором *sensus communis* одолевает *sensus privatus*, никак не изгоняемо из социореальности ее же средствами, оно конституирует ее бытие-в-мире и опрокидывается ею — ради

самоувековечивания — на всемирное бытие. Свой перевес над особью общество защищает, узурпируя родовое в человеке так, что каждый *homo sapiens* обязывается вести свое существование как *homo socialis*. Социальное подавляет антропологическое в его персональном исполнении. Родовое не может проявить себя иначе, как только будучи редуцированным до социально-видового. Не признавая первенства всечеловеческого, *homo socialis* создает самовластные общества, овнутривающие свою исключительность, правящие не одними лишь индивидами, но и возносящиеся над самими собой.

Эта возгонка социальной власти достигается благодаря формированию общества-в-обществе, становлению коллективного субъекта, распоряжающегося остальным коллективом[24]. Как *Big Man* властвующий субъект единичен. Но в своей сверхъестественности *Big Man* выходит за грань индивидного: он сопричастен бессмертным предкам или — в роли шамана — духам-помощникам. Возникающие из социального самодовольства элиты псевдоантропологичны в том плане, что захватывают в обществе командные высоты, на которых по праву должен был бы обосноваться человек как таковой, а отнюдь не обладатель привилегий. *Sensus universalis* (тот, что присущ каждому из мыслящих существ) может в этих обстоятельствах прорваться в социальный порядок, только революционно отменяя его в целокупности и в своем разрушительном натиске нивелируя его носителей перед лицом смерти. Знаменательно, что идея бытия, занявшая философское воображение досократиков, явилась на свет тогда, когда общество, до того мифоритуальное, стало проникаться историзмом. Тот факт, что *Dasein* может менять свои формы, потребовал — дабы общество обрело неколебимую надежность — абстрагирования от них, что возвысило социального человека, позиционированного в непосредственно наблюдаемом быту, до действующего в необозримом и вечном бытии. В той мере, в какой мы социальны и историчны, мы мыслим онтологически и не можем полагать иначе.

***

Теперь я могу вернуться к тому желанию справедливости, которое намеревается низложить элиты, одновременно отчисляя из общества их антипода — мигрантов. Если элиты

24 Образование элит сопрягает общество с прошлым (постоянно возрождаемым династической знатью и ее имитациями, к примеру, семейным бизнесом) и с будущим (которое надлежит предвидеть правящему слою) — с тем, чего уже или еще нет, со всевременным и всепространственным бытием. См. подробней: Смирнов И.П. *Обмен с потусторонним, или Об элитах* // Он же. *Быт и инобытие*. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 167–199; здесь же см. критический обзор основных учений об элитах.

воплощают собой квинтэссенцию социального, то чужаки — вторжение в общество того, что ему противоположно, — обнаженно человеческого, социально беспризнакового. Установка актуальных антиэлитарных движений глубоко противоречива, опровергает саму себя: устранению диспропорции между верхами и низами общества должен, с точки зрения идентитаристов, аккомпанировать отказ от признания равенства по нашей одинаковой принадлежности к роду *homo*. Идентитарный эгалитаризм воинственно не гуманен. Вместе с тем он не онтологичен, коль скоро выказывает недоверие элитам. Бытие, преобладающее над бытующими, теряет для нас значимость, раз общество перестает быть властью над самим собой, инкорпорированной лицами, которые находятся в преимущественном — по сравнению с массой — положении. Популистская консервативная революция неполноценна, дегенеративна. Она не позволяет обществу открыться в сторону всечеловеческой справедливости (которая не только террористична, но и конструктивна в качестве утопии) и подрывает его бытийную основу, им же и заложенную в момент его перехода от архаики к существованию в «горячей» истории. Идентитаризм — следовательно, социальность-в-себе — бессущностный (поскольку безбытийный) феномен, общество, довольствующееся констатацией своего происхождения — и потому последнее из того, чем общество в принципе может быть. Перерождения социальности подобрались к своему концу, в котором остаточное общество оказывается попросту самотождественным и, значит, неподвижным, неживым. Оно старается компенсировать свое застывание во времени за счет пространственной экспансии (впрочем, малоэффективной, как, скажем, в случае попыток Трампа расширить территорию Соединенных Штатов).

Установка актуальных антиэлитарных движений глубоко противоречива: устранению диспропорции между верхами и низами общества должен аккомпанировать отказ от признания равенства по нашей одинаковой принадлежности к роду *homo*.

Не дающееся социальной инженерии выравнивание разноуровневых позиций в обществе все же становится относительно досягаемым, если в коллективную жизнь вклиниваются индивидуальные инициативы благотворительного свойства. Раннее общество обязывало тех, кто находился на вершине социальной иерархии и таким образом лично отпадал от

остальных соплеменников, делиться избытком собственности с нижестоящими. В «Печальных тропиках» (1955) Клод Леви-Стросс рассказывает, как подарки, получаемые вождем индейцев намбиквара, быстро переходят в руки его подданных. По мере того, как *Big Man* отдавал свое место наследственным и церковным элитам, дележ благами превращался из заведенного в обществе обычая в персональный почин. Чем шире объем элит, тем меньше возможностей у индивидуального быть структурно вписанным в *Dasein* и тем более оно вынуждено обнаруживать себя как нравственное решение, питаемое сочувствием к угнетенным и бедствующим. Государства всеобщего благосостояния, особенно прочно утвердившиеся после Второй мировой войны, не более чем законодательно перелицовывают филантропический социализм Анри Сен-Симона (только в союзе с которым Адаму Смиту и удалось победить Карла Маркса). Эти государства, покровительствующие слабым, не карают толстосумов, экспроприируя их богатство, как того желают Пикетти и Сэндел, а равно облагают налогом бóльшую часть своих граждан пропорционально их доходам с тем, чтобы перераспределить денежные средства ради искоренения полной нищеты и организации удовлетворительного медицинского и образовательного обеспечения всего населения. Такая относительная справедливость зиждется на усвоении социумом той морали, которая руководила персональной помощью, оказываемой сильными слабым.

Если равенство в обществе исчерпывается родословной его членов, то оно утрачивает потребность сближать достаток и недостаток — не нуждается более вовсе в том, чтобы быть благотворительным и моральным. Начиная с января 2025 года Соединенные Штаты последовательно замораживают или сокращают финансовую поддержку слаборазвитых стран. Голосующие за «Альтернативу для Германии» винят немецкое правительство в том, что оно тратит деньги налогоплательщиков на пособия для ищущих убежища. По существу дела, либерализм прививает античной демократии новозаветную мораль, отличающуюся от ветхозаветной (лишь оберегающей Другого — то есть на кантианский манер укрепляющей общежительство), тем, что предписывает самости уступку Другому, основывая эмпатию на сострадании по тому образцу, по которому христианин сопереживает страсти Христовы[25]. Либерализм терпим к чужому мнению в том смысле, что *претерпевает* некий урон в собственном, вечно жертвенен в компромиссах, которые заключает в изобилии. В этой уступчивости сквозит

25 Макс Шелер считал даже, что страдание составляет сердцевину всякого сочувствия, коль скоро оно не акция, а реакция: SCHELER M. *Wesen und Formen der Sympathie* [1913, 1923]. Bonn: Bouvier, 1999. S. 78.

сразу и слабость, и та сила либерализма, которую он обретает благодаря культу самодисциплины. Делиберализация демократии лишает ее жертвенности, место которой захватывают национальный эгоизм и ксенофобия, лишь прикрывающиеся религиозностью. Справедливость сама по себе безжалостна: если все равны, то нет Другого — того, кто воздействует на нас эмоционально (в том числе и вызывая соболезнование), не будучи вполне открыт нашему разуму. Принудительное равенство исключает свободу индивида, каковую он отвоевывает себе в вольной самоотдаче. Добровольная трата себя есть предпосылка творчества и единственно данная нам в социуме форма свободы от него. Строго говоря, либеральные демократии, обреченные сейчас не более чем на выживание в тягостной обстановке, — не общества справедливости, а общества милосердия.

Андрей
Медушевский

Виртуальные государства и их политико-правовое будущее



Андрей Николаевич Медушевский (р. 1960) — профессор факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Введение

Виртуальные государства — продукты воображения их создателей, в которых традиционно видели разновидности социальной утопии. Это неудивительно: они имитировали внешние признаки государств, но не являлись таковыми на деле и не воспринимались в подобном качестве участниками международных отношений. В настоящее время, однако, ситуация кардинально изменилась: выяснилось, что в условиях информационных войн создание виртуальных государств, подкрепляемое серьезными идеологическими, финансовыми и технологическими ресурсами, способно стать инструментом удовлетворения глобальных политических амбиций транснациональных игроков, как старых, так и новых. Словно бросая вызов традиционным представлениям правовой теории, эти образования предлагают набор идей, формирующих альтернативные трактовки ключевых категорий конституционализма — суверенитета, гражданства, прав человека, — и внедряют систему транснационального управления, основанную на широком применении цифровых технологий.

Насколько обоснованы пропагандируемые виртуальными государствами идеи и могут ли они в перспективе стать самостоятельным фактором глобального права и мировой политики? Как будет развиваться потенциальный конфликт реальных и виртуальных государств? И, наконец, каким образом юридические инновации, утверждаемые подобными образованиями, должны трактоваться конвенциональной юридической наукой? В поисках ответов на перечисленные вопросы в настоящей статье затрагиваются такие сюжеты, как теория виртуальных государств, типология и особенности их конституций, вариативность моделей социального и политического строя, потенциал конфликтов с реальными государствами, цели и мотивы создания, коллизии с действующей правовой системой и возможные направления их преодоления.

Понятие *virtual state* было введено для обозначения нового феномена кибергосударства, действующего как в реальной, так и цифровой среде. Кроме того, им описывается широкий круг политических образований, претендующих на имитационный или реальный статус субъектов международного права, но не признаваемых в таком качестве другими государствами. Упомянутый феномен получил широкое распространение начиная со второй половины XX века. Его характеризуют интенсивная динамика роста (в зависимости от критериев сейчас насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч подобных образований), а также вариативность правовых форм и разнообразие практических устремлений их создателей. Их общей особенностью признается имитация атрибутов полноценного государства — при фактическом и юридическом отсутствии последних или же непризнании их наличия другими (полноценными) акторами международного права. Это до некоторой степени позволяет сближать их статус с непризнанными самопровозглашенными государствами или правительствами в изгнании.

Далее, они классифицируются по различным критериям, среди которых способы возникновения и цели создания (строительство нации, учреждение государства или исключительно проектное моделирование), функционирование в реальном или воображаемом мире, перспективы международного признания. Если взглянуть на преобладающие в литературе оценки этих образований, то в основном в них видят исключительно фантазийные продукты, сопоставимые либо с утопиями прошлого — идеальными образами государственности, изначально не предназначенными для практического воплощения, — либо же с игровыми сценариями, направленными на тестирование тех или иных моделей политики и управления. Порой их называют псевдогосударствами — то есть территориально-политическими образованиями, обладающими лишь внешними признаками государственности.

Упомянутым оценкам противостоит иной, относительно новый подход, в рамках которого виртуальные государства понимаются как альтернативная форма, организующая политическую систему глобализирующегося общества. В указанном разрезе важна следующая совокупность факторов, присущих глобализации: во-первых, ослабляется роль традиционных суверенных государств — происходит это за счет выведения правового регулирования на транснациональный уровень; во-вторых, подъем цифровых технологий заставляет пересматривать прежние представления о территории, гражданстве и юрисдикции — это делается по мере того, как все перечисленное переходит в виртуальную среду; в-третьих,

повышается спрос на такие системы управления, в которых цифровая лояльность перевешивает территориальную. В таком контексте виртуальные государства оказываются своеобразными протогосударствами нового типа: сообществами, приобретающими в цифровой среде функции, сопоставимые с прерогативами традиционных суверенных государств. Соответственно, новые сущности пытаются систематизировать[1], институционализировать[2], побудить к сотрудничеству и обмену опытом друг с другом. В интернете можно даже найти рекомендации для тех, кто желает создать собственное государство описанного типа[3].

Виртуальные государства начинают расцениваться в качестве авангардного концепта, вытесняющего понятие национального государства и отражающего трансформирующуюся природу управления в цифровую эпоху.

Учитывая сказанное, можно констатировать, что виртуальные государства начинают расцениваться в качестве авангардного концепта, вытесняющего понятие национального государства и отражающего трансформирующуюся природу управления в цифровую эпоху. В свою очередь его практическая применимость связывается с корректировкой традиционных подходов, предлагаемых международным, конституционным, административным правом, а также политической этикой. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы оценить масштабы и направления этих сдвигов.

Концепция виртуального государства: столкновения подходов

Состоятельность феномена виртуальных государств и их вклада в теорию права оценивается исходя как минимум из трех критериев: (а) отношения к той роли, какую способны играть воображаемые конструкции правовых форм; (б) их интерпре-

1 См., в частности: Ryan J., Dunford G., Sellars S. *Micronations: The Lonely Planet Guide to Home-Made Nations*. London: Lonely Planet, 2006.

2 Здесь имеется в виду появление таких организаций, как «Союз Интернет-государств», «Союз демократических микронаций», «Микронации: неформальное общение», «Комитет взаимодействия развитых микронаций», «Организация независимых государств». Подробнее см.: https://micronarody.fandom.com/ru/.

3 См., например, проект «Создай свою собственную страну» («Create Your Own Country Project»): https://docs.google.com/document/d/1lkYZ_0SlBADSR9kH1Eh89eN3dj7xH2WA-po2peVh1QI/edit?tab=t.0.

тации с позиций конвенциональных понятий правовой науки; (в) оценки трансформации этих представлений с учетом новой социальной и правовой реальности.

Говоря о первом критерии, достаточно просто констатировать определяющую роль воображения в конструировании правовой реальности, поскольку все фундаментальные конструкции нынешней правовой системы являются в большей или меньшей степени результатами творческой мысли ее создателей. Сказанное запечатлено в теориях «воображаемых миров», «воображаемых сообществ», а также «воображаемых государств» с их «воображаемыми конституциями», которые базируются исключительно на фантазии их создателей[4]. Спектр вариантов, зачастую накладывающихся друг на друга, весьма широк: он вбирает в себя идеальные государства-утопии, вымышленные государства, фантомные государства, «государства мечты», «государства сновидений». Виртуальное государство — новейшая модель социального проектирования. Его утопические вариации представлены образами, воплощающими идеи космополитизма, безграничности и пацифизма (Нутопия — Nutopia, 1973)[5], свободного оборота информации (Княжество Силенд — Principality of Sealand, 1967), обособленного политического существования на нейтральной территории (Княжество Новая Утопия — Principality of New Utopia, 1999). Виртуальным утопическим государствам противостоят виртуальные антиутопии, демонстрирующие угрозы нового тоталитаризма, цифровой иерархии, когнитивного контроля и иллюзии свободы в обществе, где мышление и поведение индивидов целиком опекается цифровыми технологиями.

Второй критерий — соответствие конвенциональным правовым нормам — задает оценку виртуальных государств действующим международным правом. Отправной точкой тут выступает Конвенция Монтевидео (1933), зафиксировавшая основные признаки государства (наличие территории, постоянного населения, правительства и способности к вступлению в отношения с другими государствами). Исходя из приводимого в конвенции набора все виртуальные государства признаются имитационными образованиями, поскольку они не соответствуют упомянутым признакам в совокупности или по отдельности. Тем не менее по степени соответствия правовым критериям их все-таки можно подразделить на три группы: во-первых, полные имитации, которые не претендуют на суверенитет и существуют сугубо в виде воображаемых проектов (некоторые из них вообще не претендуют на государственный

4 См.: Исаев И.А. *Воображаемая государственность. Пространство без территории*. М.: Проспект, 2023.
5 Здесь и далее после названия указывается дата презентации виртуального государства.

статус); во-вторых, частичные имитации — искусственно созданные микрогосударства, способные обладать крошечной территорией и незначительным населением; в-третьих, псевдогосударства, имитирующие все признаки полноценных государств — микронации, которые имеют территорию (или притязают на нее), конституцию, а также иные атрибуты государственной власти — за двумя исключениями: международного признания и фактической дееспособности в качестве государства, подразумевающей контроль над собственной территорией. В современной литературе, однако, не раз демонстрировалась условность обсуждаемых признаков, поскольку, с одной стороны, ряд современных государств или международных союзов, претендующих на формирование государственности (например, карликовые государства с мизерным населением, правительства в изгнании, непризнанные или самопровозглашенные государства, Европейский союз) тоже не обладают абсолютной полнотой перечисленных признаков, а с другой стороны, не исключены ситуации, когда виртуальные государства все-таки сумеют получить международное признание, превратившись в полноценных участников стратегического соперничества.

Третий критерий — оценка виртуальных государств с позиций трансформации современных правовых форм — определяет их как модели, адаптирующиеся к качественным социальным изменениям, и прежде всего к общему тренду на переход физической реальности в цифровую. Трактовка виртуальных государств в этой перспективе возможна с трех позиций.

Первая из них наиболее консервативна: здесь виртуальные государства могут рассматриваться как своеобразные протогосударства, претендующие на какую-то конкретную территорию — в рамках концепции *terra nullius* («ничейной земли», находящейся вне суверенитета какого-либо реального государства), особенно актуальной, если речь идет об океанских или космических пространствах. Их отличия от реальных государств предстают временным явлением: они могут получить конвенциональный статус в случае достижения международного признания.

Другая позиция связана с компромиссным пониманием критериев суверенитета, которые сегодня формально остаются прежними, но допускают модифицированные интерпретации в условиях евроинтеграции и глобализации (например, в виде противоречивых конструкций ограниченного, разделенного, совместного, символического суверенитета)[6]. Основные

6 Подробнее см.: Медушевский А.Н. *Глобальный конституционализм: процессы интеграции и фрагментации в создании нового мирового порядка*. М.: Директ-Медиа, 2023.

формальные признаки государственности получают в данном случае иное содержательное наполнение: территория из физической становится цифровой, гражданство делается сетевым, правительство сосредотачивается на управлении виртуальной реальностью, а международное признание оказывается результатом фактического доминирования в цифровой сфере.

Наконец, наиболее радикальная позиция вообще усматривает в виртуальных государствах прообраз будущего политического устройства. Для нее характерно противопоставление традиционных (территориальных) и новых (виртуальных) государств, которые оцениваются как принципиально отличные друг от друга типы. Новый тип определяется отказом от классической концепции суверенитета (связывающей власть с территорией); действием вне физических и юридических границ; формированием новой разновидности управления, потенциально охватывающей весь мир и распространяющейся на все население Земли. Виртуальное государство здесь понимается как «политическое образование, существующее преимущественно в киберпространстве и использующее технологии для управления, дипломатии и взаимодействия без физической территории». В перспективе именно этот

Конкурирующие идеи социального переустройства четко связываются с технологическими инновациями, а успех последних выдается за торжество первых. Подобному типу мышления, свойственному первооткрывателям, противостоит трезвый научный скептицизм, вдохновленный антиутопиями прошлого.

тип государственности, возможно, придет на смену существующему порядку. Итогом его утверждения станет «тотальная геополитическая реструктуризация» — «появление множества виртуальных государств, которые, подобно бабочкам, будут выпархивать из заскорузлых и хрупких коконов нынешней государственности»[7]. Финальный результат в свете сказанного признается однозначным: «стоит появиться первой паре–тройке успешных виртуальных государств, как процесс примет лавинообразный характер», а в выигрыше окажутся его пионеры[8].

7 *Virtual State* // Fiveable.me. 2025. September 1 (https://fiveable.me/key-terms/introduction-international-relations/virtual-state).

8 Тарасов В. *Виртуальное государство* // Редкие земли (Таллин). 2018. 13 апреля (https://rareearth.ru/ru/pub/20180413/03846.html).

В описанных подходах отражается конфликт сложившихся на сегодня концепций виртуального государства. В них конкурирующие идеи социального переустройства четко связываются с технологическими инновациями, а успех последних выдается за торжество первых. Подобному типу мышления, свойственному первооткрывателям, противостоит трезвый научный скептицизм, вдохновленный антиутопиями прошлого. В его трактовках переход власти в виртуальную сферу способен вызвать негативные последствия в виде: (а) правового вакуума и «цифровой анархии»; (б) полного слияния государственной власти с новыми технологиями («кибердиктатуры», «цифрократии», «кибербюрократии»); (в) утверждения власти машин, управляющих посредством матриц, алгоритмов и кодов — тотального технического контроля над обществом при сохранении иллюзии свободы.

Конституции виртуальных государств и суверенитет

В свете конституционного анализа виртуальные политические образования делятся на те, которые не имеют конституции, и те, которые принимают ее, претендуя на статус полноценных суверенных государств. Конституции виртуальных государств, как и другие их учредительные документы, представляют собой имитации, которые тем не менее поддаются классификации по тем же признакам, что и реальные конституции. Каждая из них содержит один и тот же ряд параметров.

Во-первых, следует остановиться на *идеологических и символических моментах*. Идеологическое конструирование виртуальных государств опирается на традиционные идеологии, их комбинации друг с другом, а также экспериментирование с новыми идеологическими конструкциями. Одна часть виртуальных государств (или общин) стоит на позициях глобализации, а также либерализма или анархо-синдикализма. Среди них есть такие, которые отстаивают ценности рационализма, светскости, свободного передвижения (Империя Атлантиум — Empire of Atlantium, 1981), и те, что защищает республиканизм, равенство и научно-технологический прогресс (Космическая Нация Асгардия — Asgardia the Space Nation, 2016)[9]. Другие виртуальные образования делают упор на социальную справедливость, коллективизм и самоорганизацию (Вольный Город Христиания — Free City of Christiania, 1971) или же на мини-

9 См. Конституцию Империи Атлантиум и официальный сайт Космической Нации Асгардия: https://atlantium.fandom.com/wiki/Atlantium_Constitution; https://asgardia.space/ru/.

мализацию государства, свободу рынка и индивидуальные свободы (Свободная Республика Либерленд — Free Republic of Liberland, 2015)[10]. Некоторые подобные сущности особо акцентируют сексуальное раскрепощение (Королевство Иной Мир — Other World Kingdom, 1996), художественное самовыражение (Республика Кугельмугель — Die Republik Kugelmugel, 1976) или безграничное развлечение (Молоссия — Republic of Molossia, 1977)[11]. Третьи исповедуют консервативные ценности: традиционализм, абсолютизм, самобытность, имперскость (например Российская Империя, 2011)[12], иногда даже отстаивают рабство. Позиционируя себя относительно внешнего мира, виртуальные консерваторы порой выступают за самоизоляцию ради «чистоты эксперимента» (как некоторые микронации) или же предъявляют территориальные претензии реальным государствам. Кое-кто из них — в частности, организованная в виде конституционной монархии Аэрическая Империя (Aerican Empire, 1987) — выдвигает притязания на участки космического пространства[13].

Перечисленным выше сторонникам классических идеологий противостоят новейшие и деидеологизированные виртуальные государства, основанные на максимальной открытости и стирании всех существующих барьеров. Они ориентированы на глобальные проекты, реализуемые поверх физических государственных границ. Подобным расширением пределов государственно-правового регулирования занимается, в частности, Асгардия. Согласно ее учредительным документам, это независимое космическое государство, планирующее колонизировать космос. Декларация независимости Космической Нации Асгардия (2024) провозглашает создание первой космической нации переломным моментом в развитии человечества[14]. В документе заявляется о праве новой нации на самоопределение, а сама она определяется как независимый член международного и космического сообщества, действующий в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и другими международно признанными правозащитными документами. Здесь же фиксируется готовность Асгардии развивать связи с другими государствами как на планете Земля, так и за ее пределами.

10 См. официальный сайт Вольного Города Христиания и Конституцию Свободной Республики Либерленд: www.christiania.org/; https://github.com/liberland/Constitution/blob/master/Constitution.md.

11 См., например, официальный сайт Республики Молоссия (www.molossia.org/).

12 Впоследствии основатель этого проекта объявил о его приостановке: *«Я пока боюсь». Известный уральский политик передумал возрождать империю Романовых* // E1.ru. 2022. 29 августа (www.e1.ru/text/politics/2022/08/29/ 71608982/).

13 См. Конституцию Аэрической Империи: www.aericanempire.com/con_0001.html.

14 См. Декларацию независимости Космической Нации Асгардия: https://asgar dia.space/ru/document/asgdeclarationofindependance/.

Во-вторых, важно обоснование *суверенитета* виртуальных государств, воспроизводящее формулировки стандартных конституций и включающее требования полной независимости, территориальной целостности, наличия законодательства и аппарата принуждения, а также поддержания дипломатических отношений с виртуальными и реальными государствами. Например Княжество Силенд уже семьдесят лет отстаивает суверенитет заброшенной морской платформы, видя в нем символ индивидуальной свободы[15]. Республика Лерендa (Republic of Errant Menda Lerenda, 1999) в своей Конституции закрепляет суверенитет на виртуальной территории, наличествующей сугубо в киберпространстве[16]. Виртландия (Wirtland, 2008) — первое в мире «чистое» интернет-государство — ставит целью создание глобального сообщества на базе цифрового гражданства без каких-либо территориальных привязок, не исключая, однако, приобретения физической территории ради юридического признания[17]. Эта сущность имитирует атрибуты государственного суверенитета, приняв собственные герб и гимн, а также проводя конституционные дебаты. В Конституции Виртуального Государства Драконберг (Virtual State of Drakonberg, 2014) заявляется, что оно «осуществляет свой суверенитет в пределах территории и в рамках возможностей, определяемых самим понятием "виртуальное государство" и согласующихся с законодательством реальной страны, в которой оно расположено»[18]. Наконец, Космическая Нация Асгардия отстаивает национальный суверенитет в космических (галактических) масштабах, добиваясь признания со стороны ООН.

Решение проблемы суверенитета вариативно и зависит от того, трактуется ли он в стандартном правовом смысле (как неограниченная власть над территорией) или как-то иначе (например как «виртуальный суверенитет»). Конституция Либре Юнион (Libreunion) определяет это образование как «суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство в глобальной сети»[19]. Конституция Цифрового Государства Республика Вестина (Digital State of the Republic of Vestina, 2021), принятая в декабре 2024 года, называет это образование «суверенным, цифровым, свободным, унитарным, правовым, справедливым, социально ориентированным, светс-

15 *Виртуальные государства, или Осознанный выбор сообщества для жизни. Княжество Силенд* // Хабр. 2021. 12 августа (https://habr.com/ru/articles/ 572032/).

16 Znuk A. *Virtual Sovereignty: Examining the Legal Status of Micronations in Cyberspace through the Case of the Republic of Errant Menda Lerenda* // Digital Society. 2023. Vol. 2. № 45.

17 См. официальный сайт Виртландии: www.wirtland.com.

18 См. Конституцию Виртуального Государства Драконберг: https://drakonberg.vgd.name/konstitucia.htm.

19 См.: *Малая конституция для виртуального государства* (*Libreunion*) (https://libre.life/doc/constitution/alligater/ru). Далее документы Либре Юнион цитируются по этому источнику.

ким государством, независимым от территориальной принадлежности и языковых барьеров»[20]. Возможна и комбинация упомянутых выше параметров — когда, например, наличие условной территориальной основы, сколь угодно малой, сочетается с вынесением классических атрибутов суверенитета в виртуальное пространство. По мнению некоторых специалистов, факт существования государства зависит едва ли не исключительно от его международного признания — поскольку прочие критерии размыты, — а последнее гипотетически возможно и в отношении виртуальных образований. Поскольку в контексте виртуализации происходит размывание аутентичного понимания суверенитета[21], его юридические интерпретации трансформируются: именно так, например, возникла новая трактовка легитимности в киберпространстве, обозначаемая как «дигитальная юрисдикция».

Поскольку в контексте виртуализации происходит размывание аутентичного понимания суверенитета, его юридические интерпретации трансформируются: именно так, например, возникла новая трактовка легитимности в киберпространстве, обозначаемая как «дигитальная юрисдикция».

В-третьих, различные подходы обнаруживаются и в отношении такого признака государственности, как *ведение международных переговоров*. Одни государства претендуют на эту функцию, подчеркивая стремление к дипломатическим отношениям как с виртуальными, так и с реальными партнерами и международными институтами (таково, например, стремление Асгардии к признанию со стороны ООН). Из подобной диспозиции вытекает, однако, возможность конфликтов между виртуальными и реальными государствами. Более того, когда виртуальные государства начинают играть на поле реальных государств, их нередко ждет уничтожение или самоликвидация. Показательны в этом смысле судьба Королевства Седанг (Royaume des Sedangs, 1888–1890), основанного в конце XIX века на севере Вьетнама французским авантюристом Мари-Шарлем де Майрена и позднее аннексированного Францией, инициированный Великобританией судебный процесс против основателя Княжества Силенд Пэдди Роя Бейтса, уничтожение флотом Королевства Тонга образованной

20 См. Конституцию Цифрового Государства Республика Вестина: https://vestina.blog/constitution/.
21 См.: Corn G., Taylor R. *Sovereignty in the Age of Cyber* // American Journal of International Law. 2017. Vol. 111. P. 207–212.

на коралловых рифах Республики Минерва (Republic of Minerva, 1972), запрет правительством Белоруссии виртуального государства Вейшнория (Veisnoria, 2017)[22].

Иногда виртуальные государства вступают в конфронтации друг с другом: например «войны» за территорию ведут многочисленные государства Антарктического союза микронаций (Antarctic Micronational Union, 2008). Если одни виртуальные государства подчеркивают, что их внешнеполитическая деятельность «направлена на обеспечение собственных интересов и безопасности посредством поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества на основе общепризнанных принципов и норм международного права» (Либре Юнион), то другие отказываются принимать на себя такую функцию. В частности, Конституция Виртуального Государства Драконберг четко формулирует принцип нейтральности в отношении реальных государств, заявляя, что в силу принадлежности исключительно к виртуальному миру у Драконберга нет «никакой политики по отношению к реальным государствам», «своего признания реальными государствами он не требует и ни в какие отношения с ними не вступает». В то же время к виртуальным государствам это образование применяет иной подход: отношения с ними «основываются на принципах взаимного уважения, ненасилия, добрососедства и сотрудничества». Более того, «Драконберг не вступает ни в какие виртуальные политические союзы, цели или средства которых основаны на насилии или дискриминации в любой форме». Впрочем, несмотря на все сказанное, виртуальные государства, опровергающие стереотипы традиционной государственности, продолжают оставаться «лакуной в праве»[23].

Общая классификация конституций виртуальных государств (и содержащихся в них концепций суверенитета) позволяет выявить три основных типа. Первый тип составляют *имитационные конституции традиционной стилистики*, которые по форме и содержанию копируют конституции реальных государств, иногда претендуя на более высокий уровень гарантий прав и свобод человека. Этот тип ориентирован на реальный суверенитет. Ко второму типу относятся *виртуальные конституции*, действующие исключительно в виртуальном мире и не имеющие ничего общего с традиционными конституциями, но выполняющие схожие функции для виртуального

22 О последнем подробнее см.: *Придуманная белорусскими военными Вейшнория получила флаг* // Евразия-эксперт. 2017. 31 августа (https://eurasia.expert/pridumannaya-voennymi-veyshnoriya-poluchila-flag/).

23 Hobbs Y., Williams G. *Micronations: A Lacuna in the Law* // International Journal of Constitutional Law. 2021. Vol. 19. № 1. P. 71–95.

пространства. Они опираются на концепцию виртуального суверенитета. Наконец, к третьему типу принадлежат *комбинированные конституции*, которые имеют традиционную основу, но одновременно опираются на механизмы и процедуры виртуального конституционализма. Этот тип воплощает соединение реального и виртуального суверенитета в разных комбинациях.

Территория, население, права человека в виртуальной реальности

Важной частью самопрезентации виртуальных образований становится *фиксация территории* (в том числе воображаемой) и *населения* (которое может ограничиваться всего несколькими людьми) как атрибутов суверенитета. Подобная территория может быть вполне реальной, существуя хотя бы в виде морской платформы (Княжество Силенд), коралловых рифов (Республика Минерва), естественного острова (Республика Малу-Венту — Republic of Malu Entu, 2008) или искусственного острова (Республика Острова Роз — Respubliko de la Insulo de la Rozoj, 1968), ничейной земли (государства Антарктического союза микронаций); спорной территории (Либерленд, Королевство Энклава (Kingdom of Enclava, 2015), Княжество Онгал (Principality of Ongal, 2014), возникшие после распада Югославии на стыке границ Хорватии и Сербии); части реального государства, виртуально от него обособившиеся и претендующие на его земли. Последняя разновидность представлена особенно широко. Примерами здесь могут служить Республика Конк (Konch Republic, 1982) — квазигосударство, провозгласившее независимость от США и даже объявившее им войну — в протестных целях, — которая завершилась немедленной капитуляцией, или Республика Лакота (Republic of Lakotah, 2007) — виртуальное государство, которое было провозглашено на родовых землях племени лакота индейскими активистами, требовавшими расторгнуть прежние договоры с правительством США и обратившимися к ряду иностранных посольств с просьбой о дипломатическом признании[24]. К той же группе принадлежит и Княжество Себорга (Principato di Seborga, 1963), претендующее, согласно его Конституции, на независимость от Итальянской Республики в форме выборной монархии — на основании того, что соответствующая деревня никогда юридически не включалась в ее состав[25].

24 См. Декларацию независимости Республики Лакота: https://declarationproject.org/?p=72.
25 См. Конституцию Княжества Себорга: www.principatodiseborga.com/en/government-system.

Территория может определяться как реальная или виртуальная, фиксированная (и, следовательно, выступающая объектом защиты) или мобильная (например в случае привязки государственных атрибутов к какому-то движущемуся объекту). Местами ее локализации могут служить неосвоенные земные или космические пространства. Некоторые образования, среди которых, например, Великое Герцогство Вестарктика (Grand Duchy of Westarctica, 2001) — старейшее виртуальное государство Антарктиды, — претендуют на неосвоенные территории этого континента. Иногда в качестве территориальной основы используются особые географические зоны; именно таков случай виртуальной Республики Каскадия (Republic of Cascadia, 1970), отстаивающей идентичность аборигенов одноименного биорегиона, расположенного на северо-западе Северной Америки, — с прицелом на образование независимого государства. Подтверждением того, что территория как признак государственности порой целиком и полностью условна, служат примеры учреждения государств в собственной комнате (Королевство Талосса — Kingdom of Talossa, 1979) или в самострое (Республика Кугельмугель), а также на специально купленных или возведенных ради забавы маленьких островках[26]. Однако функционирование подобных образований ограничивается цифровым миром — либо всецело, либо преимущественно.

Принципиально различными оказываются подходы к определению *гражданства* виртуальных государств. Одна их часть принимает конвенциональную юридическую трактовку гражданства, определяя его как фиксацию связи индивида с территориальным государством (микронацией) и регулируя режим его предоставления или утраты исходя из этой предпосылки (единственное, двойное, множественное гражданство). В данном случае речь может идти о таком определении гражданства, которое сочетает принцип крови с виртуальным статусом: например подданными Драконберга «изначально являются члены семьи его создателей на момент учреждения», а также его «виртуальные граждане», которым запрещается иметь гражданство другого виртуального государства. В иной трактовке гражданство определяется вне связи с территориальным государством. Здесь упор делается на контроль над виртуальной территорией посредством серверов,

26 В указанном смысле показательна Северная Клецка (North Dumpling Island, 1986) — микрогосударство, основанное американским предпринимателем Дином Кейменом на купленном им острове. Он заключил пакт о взаимном ненападении со своим другом, президентом США Джорджем Бушем-старшим, и снабдил остров официальными государственными атрибутами, включая Конституцию, флаг, валюту и гимн (Лаптева А. *Путешествуй на диване: виртуальные государства* // Машины и механизмы. 2022. № 200 (https://21mm.ru/news/korotko/puteshestvuy-na-divane-virtualnye-gosudarstva/)).

ботнетов, хранилищ, в том числе недоступных для притязаний со стороны реальных государств. Согласно Конституции Либре Юнион, суверенитет этого образования утверждается в глобальной сети, а под его территорией понимаются «узлы генерации, хранения и каналы передачи данных, принадлежащие гражданам Либре Юнион». Чаще всего для получения гражданства или паспорта виртуального государства достаточно пройти онлайн-регистрацию.

Позиционируя себя как многонациональные сообщества, виртуальные государства закрепляют равный статус языков, включая их техническое равенство — например, признавая в качестве государственного любой язык, доступный онлайн-переводу.

Значительная часть виртуальных государств сознательно принимает *принцип экстерриториальности,* то есть распространяет свой суверенитет за пределы какой-то конкретной территории и настаивает на интернациональном характере своих управленческих функций. Показателен опыт Виртландии, которая ставит целью создание глобального сообщества на базе цифрового гражданства без привязки к территории и потому сосредотачивается на правах и безопасности граждан в виртуальном пространстве (гражданство этого образования предоставлено, в частности, Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену). Зачастую допускается «виртуальное гражданство», субъектами которого выступают не физические лица, а их цифровые копии: виртуальные аватары, статус которых, а также требования к которым определяются логикой цифровой жизни. Применяемые процедуры предполагают выдачу цифровых паспортов, токенов доступа, других идентификаторов, определяющих статус гражданина в социальной и политической иерархии государства. Так, покупка паспорта Виртуального Государства Фриленд (The Virtual State of Freeland, 2017) определяется как способ самоидентификации личности в информационном пространстве, дающий преимущество «при заключении сделок в интернете и решении вопросов, связанных с наследованием цифровых активов»[27]. Позиционируя себя как многонациональные сообщества, виртуальные государства закрепляют равный

27 Яновская И. *Паспорт Freeland — как получить гражданство Фриленда* // International Expert. 2019. 16 августа (https://international.expert/137-pasport-freeland-kak-poluchit-grazhdanstvo-frilenda.html).

статус языков, включая их техническое равенство — например, признавая в качестве государственного «любой язык, доступный онлайн-переводу» (Либре Юнион). Заметным и новым трендом становится распространение «цифрового гражданства»; его практикует, например, Цифровое Государство Республика Вестина. В основе подобных начинаний лежат идеи космополитического, глобального, транснационального конституционализма, принципиально отвергающие традиционную вестфальскую систему государственного суверенитета с ее границами и дипломатией. Сказанное, однако, не отменяет сходства с реальными государствами, поскольку в современном международном праве «существуют прецеденты, когда политическое образование признается субъектом международного права и без наличия собственной территории и постоянно проживающего на ней населения»[28].

Отталкиваясь от описанных выше позиций, конституции виртуальных государств продвигают новую интерпретацию прав человека. И хотя значительная их часть подчеркивает приоритет традиционных международных и конституционных гарантий прав, не заявляя практически ни о каких отличиях, новым явлением стало обращение к виртуальной реальности и вытекающая из этого попытка сформировать особый блок виртуальных прав индивида или его цифровой копии. Тут выделяются три направления экспериментального регулирования. Первое задается переводом классических прав в виртуальное поле, где их нельзя гарантировать традиционными методами государственного контроля. Второе определяется совокупностью параметров, актуализированных идеологией постгуманизма с присущим ей уточнением прав человека относительно нечеловеческих сущностей — природы, животных, «мыслящих роботов». Третье направление составляет пересмотр баланса прав и обязанностей гражданина в самой виртуальной среде — вплоть до предложений по реформированию административного и уголовного права, переосмыслению преступлений и наказаний. Есть, например, варианты, где высшей мерой наказания выступает «цифровая смерть» — то есть исключение цифровой копии гражданина из всех систем допуска в виртуальное пространство и воспроизводства в нем, — а высшей мерой поощрения «цифровое бессмертие», как виртуальное, так и юридическое, подразумевающее способность цифрового двойника заключать сделки от имени умершего лица.

28 Бодунова О.Г., Малышева А.А. *Конституционно-правовой статус человека в виртуальном государстве* // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 2(66). С. 41.

Институты виртуальных государств

Конституции виртуальных государств подразделяются по нескольким признакам. Важнейшим критерием разграничения выступает приверженность либо традиционному централизованному, либо же новому децентрализованному управлению. В числе первых представлены унитарные и федеративные государства, среди вторых преобладают многоуровневые сетевые коммуникации, основанные на автономных подразделениях, которые ведают разными сторонами виртуальной активности: накоплением и обработкой информации, привлечением новых граждан, защитой коммуникаций, дипломатией и обороной. На заре интернета возникла дискуссия о суверенитете глобального сетевого пространства и принятии конституции интернет-сообщества[29], но вопрос о создании виртуальных образований обсуждался преимущественно с позиций государственного контроля над сетевыми коммуникациями[30]. В перспективе, однако, допускалась возможность, что «частные сети будут создавать частные конституции»[31]. К настоящему времени выяснилось, что цифровая трансформация реальных государств идет не столь интенсивно, как предполагалось ранее, причем ее общая направленность оказалась антидемократической[32]. В то же время децентрализованные автономные организации проявили немалую активность, начав публиковать собственные конституции, манифесты, хартии, декларирующие цели, ценности, права, а также регулирующие управление онлайн-сообществом. Всем этим документам присущи две уникальные особенности: во-первых, с их помощью регулируются бóльшие объемы ресурсов, чем могли охватить своей регуляторной деятельностью прежние онлайн-сообщества; во-вторых, они используются в сочетании со смарт-контрактами, которые способны автоматизировано обеспечивать определенные права и процессы сообщества, регулируя практики в ходе «фактической разработки конституции крупного блокчейна»[33].

Формы правления виртуальных государств воспроизводят традиционную классификацию в новом исполнении. Среди них представлены: абсолютные монархии (Королевство Иной

29 См.: Медушевский А.Н. *Конституция Интернета: идея, проекты и перспективы* // Общественные науки и современность. 2019. № 1. С. 71–86.

30 См., в частности: Fontain J.E. *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Washington: Brookings Institution Press, 2001.

31 Meyerson M.I. *Virtual Constitutions: The Creation of Rules for Governing Private Networks* // Harvard Journal of Law and Technology. 1994. Vol. 8. № 1. P. 129–153.

32 Kempeneer Sh., Heylen F. *Virtual State: Where Are You? A Literature Review, Framework and Agenda for Failed Digital Transformation* // Big Data & Society. 2023. Vol. 10. № 1. P. 1–13.

33 Tan J., Langenkamp M., Weichselbraun A., Brody A., Korpas L. *The Constitutions of Web3* // Arxiv.org. 2024. March 4 (https://arxiv.org/html/2403.00081v1).

Мир, Российская империя), конституционные монархии (Княжество Силенд), федеративные конституционные монархии (Соединенное Королевство Эрленд — United Kingdom of Erlande, 2015), выборные монархии (Княжество Себорга), конституционные монархии с планируемым переходом к парламентской республике (Виртландия), президентские республики (Цифровое Государство Республика Вестина), специфические комбинации всего перечисленного. Иногда в основу конституционного порядка закладываются реальные традиции: например, в виртуальной Республике Лакота управление базируется на союзе индейских общин, объединенных на основе консенсуса. В новейших государствах представлена парламентская система в сочетании с федеральным устройством: так, Либре Юнион «является парламентской республикой», где «сосуществуют две системы высших органов власти (федерации и ее субъектов)», причем «субъекты федерации имеют право принимать собственные нормативные правовые акты в соответствии с законами и Конституцией». Конституция Цифрового Государства Республика Вестина вводит президентскую форму правления, где «выборы государственных органов, референдумы и иные избирательные процессы осуществляются исключительно с применением электронных технологий». Республика Д-Стан — новейшее виртуальное образование, появившееся 15 октября 2025 года, — позиционирует себя как правовое государство, выступающее за «активное развитие демократических институтов, создание правовой системы, защищающей права граждан, развитие цифровой инфраструктуры и международных связей»[34]. Встречаются и довольно причудливые формы правления; один из свежих примеров — Республика Слоуджамистан (Republic of Slowjamistan, 2023), основанная неким диджеем на приобретенном им участке калифорнийской пустыни и практикующая диктатуру во главе с султаном[35].

В виртуальных государствах, особенно русскоязычных[36], смены территориального устройства происходят с легкостью, поскольку они активно конкурируют между собой за территорию. Например Великопитерия (2009) за короткое время своего существования поглотила четыре других государства, в то время как Заплатская демократическая республика (2014–2015) из-за постоянных переворотов перестала существовать

34 См. официальный сайт Республики Д-Стан: https://republicdstan.ru/.

35 См. официальный сайт Республика Слоуджамистан: www.slowjamastan.org/; а также: Дунаевский И. *Американец создал в Калифорнии свое микрогосударство* // Российская газета. 2024. 31 января (https://rg.ru/ 2024/01/31/esli-b-ia-byl-sultan.html).

36 Это около десятка образований, входящих в Организацию независимых государств. Последняя позиционирует себя как международная организация, целью которой является «сплочение всех русскоязычных (и не только) микронаций» (https://micronarody.fandom.com/ru/wiki/).

вовсе, а в Княжестве Приволжском (2013–2015) коллапс спровоцировало противостояние монархистов и республиканцев. Трансформации политической системы на этом поле предельно разнообразны, выражаясь в кардинальных изменениях территориальных границ, политического строя, государственных названий. Вот лишь небольшой экскурс, характеризующий общую динамику: Балтия (2007) была абсолютной монархией, но теперь преобразована в выборную монархию; Ровдинская Империя (2017) в ходе революции провозглашена республикой; Королевство Хвельмаа (2016) после переворота превратилось в Лонеярдскую Республику Фельдланд. В виртуальных образованиях русскоязычного сегмента интернета представлен и обратный тренд, выражающийся в усилении авторитаризма: так, Сигворск (2016) долго балансировал между анархией, коммунизмом и демократией, но в конце концов стал королевством — дуалистической монархией, Светлоруссия (2015) функционирует в виде вождистской диктатуры, а Ильменская Федерация (2014), оставаясь республикой, имеет бессменного лидера. В некоторых случаях подчеркивается историческая преемственность виртуальной государственности с ее историческими прообразами: например Империя Руссия (2013–2016) настаивала на правопреемстве в отношении Великой Руси в составе России, Белоруссии и Украины, а Российская Империя позиционируется как преемник российской имперской государственности и одновременно всемирный центр объединения христианских монархистов.

Административно-территориальное устройство новейших виртуальных образований может быть унитарным или федеративным, сочетая при этом признаки традиционной и виртуальной государственности. Например Виртландия претендует на звание первого в мире полностью виртуального государства, которое существует вне физической территории и объединяет людей на основе общих ценностей, цифрового гражданства и цифровой экономики. Виртуальное Государство Драконберг похоже на парламентскую республику, однако определяет себя как «семейное культурное общественное образование», высшим органом власти в котором выступает Совет семьи. Его территориальное устройство тройственно: оно подразумевает наличие «основных территорий» (земля и недвижимость при условии фактического проживания граждан), «зависимых территорий» (земля и недвижимость без постоянного проживания граждан), «интернет-территорий». Последними «считаются все сайты, расположенные в доменной зоне *vgd.name*, а также все интернет-ресурсы, принадлежащие правительству Драконберга, вне зависимости от физического местонахождения сервера, на котором тот или иной ресурс расположен». В основу

территориального деления вместо федерализма могут быть положены иные категории — колонии, доминионы, зависимые территории и так далее.

Экономическое устройство виртуальных государств включает различные варианты электронного управления, частично или полностью основанные на цифровом самоопределении. Так, Децентрализованное Безграничное Добровольное Государство Битнация (Decentralized Borderless Voluntary Nation BitNation, 2014) — фактически блокчейн-платформа — представляет себя в качестве первой в мире децентрализованной нации без границ, созданной для отстаивания свободы групп, которые подавляются современными государствами. Оно продвигает принципы децентрализованного управления, позволяя своим гражданам заключать акты гражданского состояния и коммерческие сделки поверх традиционных административных барьеров посредством смарт-контрактов на блокчейне. Либерленд придерживается принципов экономического либерализма, одним из которых является минимальное налогообложение, используя для управления цифровые системы идентификации и криптовалюты; здесь также есть своя денежная единица — *ладония*. Финансовая система Виртуального Государства Драконберг основана на применении виртуальных денег, причем «органы власти ВГД обладают исключительным правом эмитировать валюту ВГД в любой допустимой форме». Для формирования государственного бюджета используется виртуальная денежная единица *нули́н*, а для внешнеэкономических операций применяется виртуальная денежная единица *э́ргид*.

Среди прочего виртуальное право допускает такие удивительные вещи, как заключение брачных контрактов физических лиц с виртуальными объектами, представленными в электронных сетях — с широким спектром вытекающих отсюда коллизий.

Выраженным трендом, объединяющим экономические системы виртуальных образований (как легальных, так и нелегальных, о чем речь пойдет ниже), выступает институционализация экономической деятельности: в большинстве из них имеются свои валюты, осуществляется внутренний экономический обмен с расчетами помимо внешних бирж, наличествуют бюджеты и налогообложение (посредством внутрисетевых комиссий), действует социальное обеспечение, работают системы защиты. Важными сопутствующими атрибутами виртуальной экономики

оказываются поддерживаемые виртуальными государствами собственные судебные системы — с механизмами разрешения споров и наказаний, в том числе сетевых (от штрафов в криптовалюте до «цифровых казней»). Интересно, что среди прочего виртуальное право допускает такие удивительные вещи, как заключение брачных контрактов физических лиц с виртуальными объектами, представленными в электронных сетях — с широким спектром вытекающих отсюда коллизий.

Виртуальные конституции, которые не являются таковыми в привычном юридическом смысле, бросают вызов традиционным представлениям о конституционализме, расширяя границы того, что считается «государством», «территорией», «гражданином», «юрисдикцией» в глобализированном цифровом мире.

Общей тенденцией, которой подчиняется развитие виртуальных государственных образований, выступает все более зримый отказ от привязки к физическому миру. Теоретическим базисом перехода выступает «виртуальный реализм»: представление о том, что виртуальные сущности зависимы от составивших их цифровых объектов и, следовательно, обладают реальностью в рамках цифрового контекста. Виртуальные конституции, которые не являются таковыми в привычном юридическом смысле, бросают вызов традиционным представлениям о конституционализме, расширяя границы того, что считается «государством», «территорией», «гражданином», «юрисдикцией» в глобализированном цифровом мире[37]. Они внедряются в виде смарт-контрактов, позволяющих управлять децентрализованными цифровыми сообществами, определяют гражданство (иногда с помощью простых онлайн-форм), фиксируют основные права (в том числе цифровые), описывают структуры правительства, регулируют цифровую экономику.

Общими для новейших виртуальных квазигосударств оказываются как раз те признаки, которые связаны с сочетанием глобализации, информатизации, технологизации: цифровой суверенитет (управление через мобильные приложения и блокчейн-сервисы); отсутствие границ (гражданство

37 Bucchioni G., Declos A. *The Constitution of Virtual Objects* // Dialogue. 2024. P. 1–21 (https://guillaumebucchioni.org/wp-content/uploads/2025/01/the-constitution-of-virtual-objects-3.pdf).

не привязано к месту жительства); экономическая свобода (использование криптовалют для создания независимой финансовой системы), новая система глобального управления (децентрализации сетевых блоков). Совокупным итогом всего перечисленного выступает имитация государственного суверенитета, способная создать технологическую основу управления в киберпространстве.

Виртуальные государства маргинальных субкультур

Особую группу виртуальных государств составляют те, которые специально создавались для продвижения протестных ценностей, ради эпатажа, с целью поддержки криминальных проектов — под лозунгами противостояния правовой системе существующих государств. Одним из факторов их появления стало недовольство маргинальных сообществ нарушением их «естественных» прав и свобод со стороны правительств существующих государств.

Идеологически такой протест может быть левым или правым. Первый тип реализуется анархическими квазигосударствами, исторически выраставшими на базе различных коммун, появление которых сопровождало религиозные расколы или революционные дестабилизации. Так, Княжество Силенд стало формой протеста против ограничения информационной свободы. Другим примером служит Вольный Город Христиания — социалистическая коммуна, образованная в 1971 году после захвата старых казарм в центре Копенгагена группой анархистов-хиппи. В манифесте этой федерации, состоящей из полутора десятков общин, декларировались создание «самоуправляемого общества, где каждый индивид несет ответственность за благополучие всех», введение коллективной собственности, справедливое распределение доходов между общинами. Примерно в тот же период в Великобритании появилась Свободная и Независимая Республика Фрестония (Free and Independent Republic of Frestonia, 1977), принявшая свой билль о правах и направившая заявку на признание в ООН; ее создатели тем самым выразили несогласие со сносом ветхих строений в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Образчики второго типа представлены реставрационно-ностальгическими проектами, ориентированными на восстановление прекративших свое существование государств — скажем, Германской империи или Советского Союза. Движения рейхсбюргеров в Германии и признанных в России экстремистскими «суверенных граждан СССР» на постсоветском пространстве пытаются

доказать, что современные политические режимы в этих локациях незаконны, поскольку государствообразующие документы прежних государств юридически не утратили своего действия.

Иной путь развития маргинальных виртуальных сообществ воплощен в феминистическом проекте, отстаивающем права женщин, но делающем это в гипертрофированной, а порой и абсурдной форме. В этом ряду представлены онлайн-государства, в которых руководящие позиции нарочито закреплены за женщинами. Среди них есть те, которые базируются на принципах матриархата; мужчины здесь лишены суверенных прав и находятся в подчиненном положении, а наследование имущества или власти осуществляется по женской линии. Таково, например, Королевство Иной Мир — виртуальное государство в форме абсолютной монархии, основанное на рабстве мужчин, по статусу приравненных к домашним животным. К проектам, пересматривающим традиционные гендерные роли, примыкают также виртуальные государства, которые отстаивают свободную сексуальность, в том числе и в нетрадиционных формах. Одним из наиболее известных образований такого рода, появившемся на волне возмущения запретом однополых браков в Австралии (и упраздненном после их легализации), стало Королевство геев и лесбиянок островов Кораллового моря (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands, 2004–2017)[38]. В Декларации независимости этого квазигосударства провозглашался его суверенитет в отношении некоторых островов Кораллового моря, а также содержалась претензия на признание со стороны ООН. Кроме того, в цифровом пространстве фигурируют микронации, которые, не претендуя на собственную территорию, разрабатывают свои конституции, гражданство и атрибутику исходя из признания самого широкого разнообразия гендерных идентичностей, насчитывающих, согласно их учредительным документам, более семидесяти видов.

Особая группа виртуальных образований конструируется исходя из криминальных целей — экономических или политических. Бóльшая ее доля приходится на «пиратские государства», существующие в виде виртуальных юрисдикций в метавселенных, крипто-анклавов, технологических хабов в «серых зонах» и действующие исключительно в цифровом пространстве. Они позиционируют себя как свободные экономические зоны, функционирующие вне международного правового поля, и используются для хостинга пиратских сервисов, проведения нелегальных аукционов, обучения киберпреступников. Последним в обмен на лояльность и финансовые взносы

38 В ноябре 2023 года Верховный Суд Российской Федерации признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. — *Примеч. ред.*

предоставляется «гражданство». Некоторые из подобных образований особо подчеркивают свою неподконтрольность какому бы то ни было законодательству физических государств и вырабатывают собственные своды правил («конституции» или «кодексы»). При этом они стараются полностью имитировать атрибутику реальных государств: помимо цифрового суверенитета, у них есть идеология («борьба с системой»), символика (набор уникальных логотипов), цифровой суверенитет, виртуальная территория (защищенный контур сетевого пространства, стабильность которого обеспечивается критической массой серверов, ботнетов и облачных хранилищ), гражданство с цифровыми паспортами, токенами доступа или иными идентификаторами. Их «конституции» предусматривают разделение ветвей цифровой власти и выделение силового блока, защищающего от кибервзломов; кроме того, они определяют параметры внутренней и внешней политики, которая нацелена на формирование альянсов с другими аналогичными структурами, делящими глобальные сферы экономического влияния. Определение этих сообществ Интерполом как «государств» подразумевает борьбу с ними как с преступными синдикатами со сложными цифровыми экосистемами, имитирующими функции суверенных государств в преступных целях[39]. Виртуальные образования активно создаются также международными террористическими организациями, среди которых «Исламское государство», «Аль-Каида» и множество других[40]. Занимаясь подобным конструированием, они формируют специфические образы собственных «воображаемых сообществ» и присущих им идентичностей[41], а также продвигают их в информационном поле, желая переформатировать представления населения об истории, территории и ее принадлежности[42], обосновать притязания на обретение международной легитимности.

Наконец, говоря о маргинальных сетевых культурах, нельзя не упомянуть виртуальных образований, приоритетно отстаи-

39 Формально Интерпол не ведет борьбу с виртуальными или «пиратскими государствами», поскольку не признает их юридического существования, пресекая исключительно преступную деятельность конкретных юридических и физических лиц. В борьбе же с преступными синдикатами, определяющими себя как государства, он опирается на международные соглашения, регулирующие борьбу с транснациональной преступностью (в том числе цифровым пиратством), и уголовные кодексы государств, на территории которых физически находятся пиратские серверы. Для координации этой деятельности разработана программа «INTERPOL Stop Piracy» (www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Projects/Project-I-SOP).

40 Деятельность перечисленных группировок запрещена в России решениями Верховного Суда Российской Федерации. — *Примеч. ред.*

41 Li I. *The Rise of the Information State: Imagined Communities and the Roots of Conflict in the Information Age* // Modern War Institute. 2023. December 19 (https://mwi.westpoint.edu/the-rise-of-the-information-state-imagined-communities-and-the-roots-of-conflict-in-the-information-age/).

42 Zelin A.Y., Cahn S. *The Jihadist Group Has Been Releasing Upbeat Online Briefs about Various Locales Under Its Control, Seemingly Aiming to Unite Residents in Northwest Syria and Soften Its Image Abroad* // The Washington Institute of Near East Policy. 2023. March 1 (www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hayat-tahrir-al-sham-and-imagined-communities-its-proto-state).

вающих свободу творчества. Здесь наиболее ярким примером считается Ужупис — художественно-артистическая республика в Вильнюсе, Конституция которой включает ряд нестандартных анархистских установок; среди них: право гражданина «на любую национальность»; право «забывать, что у гражданина есть обязанности»; право «лениться и ничего не делать», право «не иметь никаких прав»[43].

Реальное *vs* виртуальное: кооперация или «цифровая война»?

Размывание границ между физическим и виртуальным мирами порождает новую реальность, представляющую комбинацию трех измерений: дополненной реальности, виртуальной реальности, искусственного интеллекта. Их вклад в конструирование государственных порядков завтрашнего дня представляется фундаментальным. По мнению некоторых аналитиков, в скором времени «государственность не будет определяться исходя из традиционных критериев наличия территории и постоянного населения, а также способности управлять страной и вступать в международные отношения — она будет основываться на наличии постоянных пользователей или даже подписчиков, которые ежемесячно платят взносы (или налоги) за свое цифровое существование в рамках платформенной государственной системы»[44].

Исходя из этого предположения допустимо обсуждение гипотетических вариантов того, как в будущем могут складываться отношения между реальными и виртуальными государствами. Наиболее вероятными представляются следующие модусы:

1) *Нейтральность*. Виртуальные государства развиваются в качестве реальности, «параллельной» по отношению к традиционной системе территориальных государств; обе сферы существуют независимо друг от друга — как, собственно, и было до настоящего времени.

2) *Зависимость*. Виртуальные государства сохраняют внешнюю автономность, но при этом опираются на поддержку транснациональных акторов (например, глобальных корпораций или преступных сообществ) или реальных государств, продвигая повестку правовой глобализации.

3) *Соединение*. Появляется государственность нового типа — в виде гибридных моделей, сочетающих территориальные

43 См. Конституцию Республики Ужупис: https://narrative.team/uzupis_rights.

44 Park J. *Human Rights in the Future of Emerging Virtual States: Transitioning Traditional Structures to Online States* // Ideas for Peace. 2025. August 21 (https://ideasforpeace.org/content/human-rights-in-the-future-of-emerging-virtual-states/).

и виртуальные центры силы, а ведущим направлением конкуренции между ними становится соперничество в виртуальной сфере, искусственном интеллекте и связанных с ним ресурсах и технологиях. При этом виртуальные государства могут создаваться реальными государствами для формального или неформального продвижения своих интересов.

В описанном контексте вполне ожидаемы конфликты виртуальных государств с реальными центрами принятия политических решений — международными организациями, транснациональными корпорациями и традиционными государствами, — в процессе которых виртуальные государства будут добиваться полного или частичного признания автономии или суверенитета. Наиболее острые формы подобных конфликтов — цифровые войны, исходы которых способны переформатировать реальный баланс власти, причем в мировом масштабе. Снижение потенциала традиционных государств в условиях глобализации создает вакуум правовой легитимности на транснациональном уровне; при определенных условиях его могут заполнять виртуальные государства, способные воздействовать на экономику и политику в глобальном масштабе. Это актуализирует не раз обсуждавшиеся в социальных сетях сценарии киберконфронтаций между реальными и виртуальными государствами, среди которых: «цифровая осада» (блокирование и изоляция виртуальных государств реальными); «война за идентичность» (борьба за «граждан» в цифровом пространстве); «каскадный коллапс» (использование кибервойны, чтобы обеспечить признание суверенитета виртуальных государств); «прокси-война» (использование виртуальных государств реальными государствами против своих противников); «симбиоз» (проникновение виртуальных государств в структуры реальных государств с целью трансформировать их изнутри и обеспечить новую лояльность).

Выплескиваясь за рамки чисто экономических конфликтов, кибервойны могут также задавать параметры конструирования социальной реальности: когнитивные установки, паттерны идеологического и политического доминирования, а также легитимности власти. Результаты подобных противостояний будут определяться соотношением сильных и слабых сторон, присущих антагонистам. В то время как реальные государства опираются на международные право и систему финансовых институтов, фактическую мощь и принцип легитимного насилия, в активе виртуальных государств иной арсенал: они способны действовать в зонах, не урегулированных международным правом, или вообще не считаться с законами; использовать ресурсы параллельной экономики, опираться на анонимность и экстерриториальность, использовать мобильность

инфраструктуры и инновационную гибкость. Иначе говоря, «цифровое государственное строительство», преодолевая исторически сложившуюся связь между нацией, государством и территорией, может вестись по лекалам как существующих государств, так и «воображаемых сообществ» — в том числе тех, которые претендуют на статус самостоятельных государств. В перспективе же нельзя исключать официального признания статуса «виртуального суверенитета негосударственных образований».

Тувалу, островное государство в Полинезии, рискующее уйти под воду из-за глобального потепления, провозгласило себя первой цифровой нацией, заявив, что цифровая трансформация позволит республике сохранить свою идентичность даже после затопления ее земель мировым океаном.

В нынешней ситуации кибервойн между государствами, направленных на изменение глобального баланса сил[45], весьма реалистичен сценарий скрытого использования виртуальных государств (и страты «цифровых кочевников») реальными государствами для атаки на своих геополитических соперников. Такое развитие событий размывает границы между разведывательными структурами, хакерскими сообществами и «пиратскими государствами». В противостоянии нельзя исключать и неожиданного изменения соотношения сил в пользу виртуального государства из-за применения им инновационных технологий[46]. Кстати, новая диспозиция позволяет реальным государствам в случае утраты территории переходить в виртуальный статус: так, Тувалу, островное государство в Полинезии, рискующее уйти под воду из-за глобального потепления, провозгласило себя первой цифровой нацией, заявив, что цифровая трансформация позволит республике сохранить свою идентичность даже после затопления ее земель мировым океаном[47]. В целом же в результате гипотетического противостояния на свет могут появиться государства-гибриды,

45 *What Is Cyber Warfare?* // S&P Global. 2024. May 14 (www.spglobal.com/en/re search-insights/market-insights/geopolitical-risk/cyber-warfare).

46 Эта линия представлена в сатирическом романе американской писательницы Эмили Уибберли «Мышь, которая зарычала» (1955), в котором маленькое вымышленное государство Гранд Фанвик объявляет войну США и неожиданно выходит из нее победителем.

47 См.: *Tuvalu: The Digital Nation State Programme* // Global Forum on Migration & Development. 2024. March 25 (www.gfmd.org/pfp/ppd/19211).

в которых легальные правительства будут официально или тайно использовать инструменты виртуальных «серых зон» для преодоления международных ограничений.

Цели виртуальных государств в политическом ракурсе

В условиях глобализации возрастает значимость транснациональных институтов и укрепляется роль международных негосударственных акторов. Виртуальные государства могут обзавестись своей нишей в этой складывающейся системе отношений, предлагая собственные проекты конструирования социальной реальности. Классификация целей, ради которых создаются виртуальные государства, и сопоставление их с целями традиционных государств позволяют отличить декларации их создателей от подлинных мотивов.

Первая цель — интеллектуальное конструирование реальности в виде идеологизированных утопий разной направленности, формирующих картины идеального общества с позиций перспективного, ретроспективного или фантастического восприятия действительности. Рациональные и иррациональные элементы этих конструкций в виртуальном мире зачастую мирно уживаются друг с другом. На рынке идентичностей виртуальные государства становятся инструментом конструирования широкого спектра их типов и форм[48]. Среди таковых преобладают идеальные образы социальных утопий, оставленных сошедшими с исторической сцены народами, или же описания культурно-этнических идентичностей, находящихся под угрозой исчезновения[49] — в частности, навеянные мифами и легендами, а также постколониальной литературой[50]. С ними соседствуют попытки выработки новых идентичностей для сообществ и структур, ранее остававшихся за рамками исследовательского интереса. В обоих случаях целью виртуального творчества оказывается желание привлечь внимание общества и власти к спорным вопросам, а также запустить публичный диалог об идентичности — даже если стремление к полноценной государственности отсутствует.

Вторая цель сближает мотивы учредителей виртуальных государств с устремлениями основателей реальных государств:

48 Кирчанов М.В. *Виртуальные государства и символические рынки идентичности* // Обсерватория культуры. 2020. Т. 17. № 2. С. 116–121.

49 Подробнее см.: Giudice L.D., Porter G. (Eds.). *Imagined States: Nationalism, Utopia, and Longing in Oral Cultures*. Louisville: University Press of Colorado, 2001.

50 Baxter K.I. *Imagined States: Law and Literature in Nigeria, 1900–1966*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. P. 21.

они сводятся к обретению власти на базе религиозных, социальных, технократических учений. Окончательная реализация указанной цели означает получение виртуальным государством территории, суверенитета и международного признания со стороны ООН или ряда других государств. Сказанному способствует обзаведение важнейшими атрибутами государственности — среди них: нация, территория, население, институты, а также создание альтернативных исторических нарративов, географических карт спорных территорий, символическая фиксация границ, предоставление гражданства и паспортов. В ходе достижения этой цели могут удовлетворяться сепаратистские чаяния тех или иных религиозных, идеологических, этнических групп, в том числе — ориентация на создание собственного государственного образования как на «способ обойти конституционные структуры и ограничения существующего государства»[51].

Третьей целью выступает внедрение новых принципов экономической деятельности и управления на транснациональном уровне. Еще на заре глобализации констатировалось, что экономические процессы вышли за пределы традиционных территориальных государств с их вечной борьбой за землю и ресурсы, а в экономике все бóльшую роль начинают играть универсальные электронные биржи, определяющие стоимость товаров и услуг[52]. Как предполагают многие, этот процесс завершится созданием квазигосударств: транснациональных центров принятия экономических решений (виртуальных хабов), действующих на базе новых информационных технологий. Виртуальная государственность с присущей ей гибкостью создает идеальное пространство для преодоления правовых и социальных барьеров, которым может воспользоваться как реальное государство, так и различные транснациональные сообщества. Результатом становится формирование виртуальных миров (метавселенных): зон, которые могут функционировать как независимо, так и подконтрольно — «под зонтиком» легальных или криминальных структур. Эти процессы гипотетически способны взять на себя виртуальные государства, представляющие интересы больших международных цифровых сообществ, транснациональных компаний и элит. Если дело пойдет так, то они превратятся в реальных конкурентов национальных государств, в перспективе способных подавить их своей экономической мощью.

51 Hobbs H., Williams G. *Micronations and Statehood: Why Pretend to be a State?* // AICL-AIDC blog. 2021. December 16 (https://blog-iacl-aidc.org/2021-posts/2021/12/16/micronations-and-statehood-why-pretend-to-be-a-state).

52 Rosecrance R. *The Rise of the Virtual State: Wealth and Power in the Coming Century*. New York: Basic Books, 1999.

Четвертая цель предполагает виртуальное объединение реальных сообществ вокруг значимых социальных приоритетов: интеграционных инициатив поверх политических границ, укрепления идентичности и солидарности дискриминируемых групп, продвижения определенных социальных программ (или, напротив, их блокирования), организации и финансирования совместной деятельности (краудсорсинга). Виртуальные государства в указанном разрезе предстают формой мобилизации сообществ для коллективного продвижения социальных альтернатив, по большей части протестных; здесь показательны виртуальные государства, опирающиеся на коммунистические, либертарианские, анархические, феминистские и прочие своды ценностей. Их ориентиры, объединяющие акторов, могут вписываться в стандарты международного права, конституционализма и прав человека; что касается методов их достижения, то они могут оставаться в рамках правовой легитимности или же, напротив, быть нелегитимными.

Виртуальная реальность квазигосударственных образований, действующих в метавселенных цифрового мира, делает их идеальными площадками для выработки и трансляции разнообразных конструктов глобализации — от космополитизма и пацифизма до новых форм конституционализма и фундаментальных общественных институтов.

Пятая цель связана с восприятием виртуального государства как зоны социального (технологического) эксперимента. Виртуальная реальность квазигосударственных образований, действующих в метавселенных цифрового мира, делает их идеальными площадками для выработки и трансляции разнообразных конструктов глобализации — от космополитизма и пацифизма до новых форм конституционализма и фундаментальных общественных институтов, включая семью, собственность и государство[53]. В ряду наиболее значимых установок виртуальных государств находится достижение «виртуального суверенитета», «цифрового гражданства» поверх существующих границ и «цифрового бессмертия» личности — в виде создания цифрового двойника (аватара) человека, способного существовать и даже вступать в правоотношения с другими лицами в виртуальном пространстве после его физической смерти.

53 Переслегин С.Б. *О концепции «виртуального государства»* (www.igstab.ru/materials/black/Per_Virtu.htm).

Шестая цель подразумевает стимулирование дискуссии, касающейся природы государства и права[54]. Приоритетными вопросами здесь выступает выяснение того, является ли исторически сложившаяся конструкция государства и права вечной или, напротив, преходящей; возможно ли в будущем общество без государства, способны ли виртуальные государства конкурировать с реальными или даже вытеснить их в обозримом времени. Из попыток ответить на эти вопросы вырисовываются три принципиально различных сценария: автономное существование виртуальной государственности параллельно с реальной; использование первой для реформирования второй (своего рода конвергенция двух моделей) в виде государств-гибридов; позиционирование виртуальных государств как альтернативы реальным. Последний из упомянутых вариантов подразумевает вывод о последовательном вытеснении старых форм новыми, если потребуется — в ходе всемирной цифровой революции. Не исключено, что завершением процесса может стать глобальное виртуальное государство, имеющее антиутопический облик тоталитарной цифровой диктатуры.

Наконец, седьмая цель связана со стремлением основателей виртуальных государств удовлетворить свои личные амбиции. Кто не мечтал в детстве создать свое царство, чтобы стать в нем неограниченным властителем? Если предположить, что этот мотив свойствен природе человека, то различные проекты виртуальных государств направлены на достижение именно этой мечты. Среди индивидуальных мотивов тех, кто учреждает виртуальные государства, фигурируют жажда власти и признания, обретение привилегированного статуса или обогащение, стремление к славе, страсть к игре, реализация арт-проектов и просто развлечение. При этом мотивы тех, кто учреждает виртуальные государства, и тех, кто основывает реальные государства, удивительно схожи. Тот факт, что некоторая часть виртуальных проектов представляет больший интерес для психоаналитика, чем социолога, не отменяет их значения для понимания политики будущего.

Заключение

На сегодняшний день виртуальные государства эволюционировали от утопических интеллектуальных разработок до значимого компонента политической культуры. Виртуальная реальность создала новый тип цифровых коммуникаций, функционирующих вне географии, за рамками территориальных

54 Park J. *Op. cit.*

и правовых границ, создавая основу глобальной сферы сотрудничества, конкуренции, экономики и управления, а виртуальные государства, возможно, выступают первопроходцами в этой области. Отталкиваясь от концепции новой (цифровой, дополненной, измененной) реальности, виртуальные государства формируют альтернативный взгляд на конституционное устройство, отражающийся в различных моделях взаимоотношений общества и власти, прав и свобод, а также их гарантий в цифровой сфере. По мере размывания границ между реальным и виртуальным пространствами все эти категории обретают автономное существование и экстерриториальный статус.

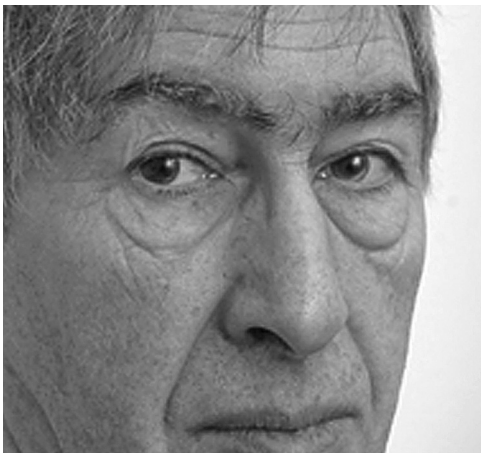
Самим фактом своего существования виртуальные государства бросают вызов классической доктрине суверенитета, ставя под сомнение ее суть — неразрывную взаимосвязь власти, территории, гражданства и международного признания.

Самим фактом своего существования виртуальные государства бросают вызов классической доктрине суверенитета, ставя под сомнение ее суть — неразрывную взаимосвязь власти, территории, гражданства и международного признания. Виртуальная государственность оспаривает как отдельные компоненты этой формулы, так и природу их взаимодействия, перенося механизм власти и господства в сферу информационных коммуникаций, регулируемых в большей степени алгоритмами, нежели традиционными конституционными нормами. На этой основе формируется новый тип конфликта между традиционными и виртуальными государствами. Причем последние предлагают решение правовых проблем инновационными методами — в цифровой сфере экономики и управления на экстерриториальной основе.

Указанный конфликт способен развиваться в разных формах в зависимости от места, целей и возможностей виртуальных государств, а также от отношения к ним традиционных государств в глобальном правовом регулировании. Его прогнозируемыми следствиями могут стать системные изменения существующего порядка: пересмотр международного права, сопровождаемый признанием «цифрового суверенитета негосударственных субъектов»; определение правового статуса особого типа конституционализма в лице «виртуальных конституций» децентрализованных автономных квазигосударственных образований; формирование новых центров глобального управления и политики, с высокой вероятностью представляющих собой гибрид традиционного и виртуального государства.

Алексей
Левинсон

К генеалогии российского бизнеса



В наши дни завершается процесс утверждения российского бизнеса как социального института, а с ним и репертуара статусов и ролей российских предпринимателей. О некоторых крупных бизнесменах («олигархах») публика что-то знает из массмедиа. О других не знает ничего. Крупным, в общем, неважно, что люди о них думают.

Мелкие и средние предприниматели вышли из народа, и этот выход был для них в большинстве случаев драматичным. Консистентной, признанной, внятной ролевой модели предпринимателя, делового человека, бизнесмена в советском и постсоветском обществе не существовало. Присутствовала только созданная советской пропагандой серия

g

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА

антимоделей — «капиталистов», «буржуев», — а также малорелевантных современным российским условиям образов деловых людей из зарубежной литературы и кинематографа или же образы дореволюционных купцов и капиталистов.

Ниже представлены несколько источников, которые помогли общественному сознанию сформировать для себя образ отечественного делового человека — или представить бизнесмена как социальный тип. Существенной частью этого процесса является становление представлений предпринимателей о самих себе, о том, как им надлежит выглядеть в глазах таких же, как они, в глазах других, как вести себя, как вести дела. Вопрос о ресурсах социальной памяти, которые уже были использованы для этого и которые еще могут быть при необходимости отмобилизованы, имеет, как кажется, не только академический характер[1].

За короткое (исторически — ничтожное) время на российской общественной сцене появилось несколько новых социальных типов. Откуда начинать? Возможно, кому-то из нынешних российских деловых людей импонируют образы Павла Третьякова, Саввы Мамонтова, Ивана Сытина или Саввы Морозова, и они пытаются им подражать. Но в массовом сознании нынешний образ предпринимателя с фигурой российского купца или фабриканта не связывается.

То же можно сказать и про образ нэпмана: он присутствует как театральный или книжный — и при этом малосимпатичный — персонаж, с нынешними предпринимателями никак не соотносимый. Нэпман забыт, нэп забыт, но именно с тех времен в городской бытовой культуре сохранилось важное разделение на *государственное* и *частное* по отношению к предприятию, к месту работы, к сфере жизни. Удел частника незавидный — «Меня, несчастную, торговку частную, ты пожалей», — но его товар, как правило, лучше, чем в госторговле (об этом, например, у Маяковского в «Клопе»); считалось, что частник был «при деньгах» — совслужащие и рабочий класс ему завидовали.

Далее нэп свернули, нэпманов посадили или распугали, но «частник» как социальный субъект продолжил свое существование — в основном в торговле и сфере услуг. Частниками были крестьяне/колхозники, продававшие продовольствие на Тишинском, Палашевском, Усачевском, Центральном и других рынках. Они были частными торговцами, но при этом законными, легальными. Их товар был более свежим и качественным, чем магазинный, но и существенно более дорогим. Такое могли себе позволить только зажиточные семьи.

Колхозники торговали выращенным на «приусадебных» участках — прежде всего картошкой, а также курятиной, свининой, говядиной, молоком и всем, что из него. Эти участки и дворы, где люди по своей воле растили, что могли или хотели, а потом продавали, не давали покоя тем, кто в СССР (как и в Народном

1 Укажем на недавний эпизод из истории российского бизнеса. Санкции и другие обстоятельства, так или иначе связанные с началом специальной военной операции, резко осложнили функционирование российской экономики, включая те ее сегменты, которые обслуживали нужды СВО. Руководство страны приняло тогда решение, по смелости сопоставимое с введением нэпа сто лет тому назад: фактически был реализован призыв президента Дмитрия Медведева, озвученный им в 2008 году: «Перестаньте кошмарить бизнес!». Число уголовных дел против «хозяйствующих субъектов» резко сократилось, что было сигналом: дела можно вести так, как считаете нужным, — был бы результат. И он не заставил себя ждать: необходимые ресурсы, товары, услуги вернулись. Почему? Потому что бизнес воспользовался теми навыками, знаниями и возможностями, которыми овладел еще в годы своего советского подпольного и полуподпольного, а также раннего постсоветского существования (в те самые «лихие 1990-е»).

Китае, Камбодже и так далее) называл себя «коммунистами», а под социализмом понимал систему, при которой «государство», то есть они и только они, распоряжаются всеми ресурсами. Участки отнимали, яблони рубили, скот уводили. Результат был всегда один — голод и дефицит.

И ведь эти борцы с частной собственностью знали, что если разрешить частную инициативу на земле, то население себя прокормит — чего они со своими госпроизводством и госраспределением сделать не могли. Примеры тому и нэп, и согласие властей во время Великой Отечественной войны на выращивание картошки на свободных участках в черте города, и более поздние «шесть соток». При этом ставилось условие: использовать землю городским можно только для собственного пропитания, но «не для наживы».

След от тех времен в народной памяти очень глубокий. В постперестроечные годы большинство опрошенных выступали за возможность иметь в частной собственности небольшие участки земли. Можно видеть здесь пережитки аграрного общества, но мы полагаем, что стойкость этим взглядам придал опыт (ранне) городского существования, когда картошка со своего огородика спасала семью от голода. Да, излишками овощей, фруктов, ягод со своих участков (и домашними консервами из них) понемногу торговали, но значимого вклада в благосостояние это не имело — дорога от «шести соток» к фермерству, к аграрному капитализму была далека. Не похожи на фермеров были и колхозники, торговавшие на рынках творогом-сметаной, картошкой-морковкой-луком, а также метлами и вениками.

Иными были люди с юга. У них — мандарины, лавровый лист, виноград: рента субтропиков, очень высокие доходы и интенсивное накопление средств в малых локусах на периферии большой державы. Заработанное шло в дело: появились первые (после нэпа) ростки частного предпринимательства — цеха и их хозяева-цеховики. Они использовали государственные предприятия легкой промышленности, вне плана и отчетности производя там товары высокого спроса, далее распространявшиеся через госторговлю и по иным каналам.

В республиках Закавказья и в прилегающих к ним регионах стала формироваться подпольная капиталистическая среда, которая — формально будучи незаконной — срасталась с «обычным» криминалом. Но также она была и своего рода инкубатором капитализма, позже распространившегося на всю страну. В отдельных колхозах то и дело появлялись оборотистые председатели, добавлявшие к своему хозяйству какие-нибудь мастерские или артели, производившие на немудрящем оборудовании что-либо из потребного селянам. Такие колхозы быстро богатели, слава председателей росла, затем прокуратура возбуждала дела о «незаконном предпринимательстве», мастерские разорялись, а председатель получал срок. Богатеть таким способом не разрешалось.

В больших городах центральной России частное предпринимательство в послевоенные годы имело иные формы, в чем-то повторявшие дореволюционную жизнь — только теперь прикрыто или потаенно. Частниками — поставщиками бытовых услуг — были мужики, ходившие по дворам с протяжными криками «Вставляяяятьстёкла!», «Точитьножиножницыбритвыправиить!», «Старьеберёёёём!». От государственной сферы услуг их отличал индивидуальный подход и оказание услуг на дому. Они действовали легально, от артелей, но ходили именно по дворам, а не по улицам.

Были совсем частники. На дом ранним утром приходили молочницы с бидоном и мерной литровой кружкой, иногда зеленщицы с укропом, огурцами. К нам приходил полотер, молча исполнявший сложный танец на паркете. Приходили маникюрша и парикмахер-еврей, стригший-бривший многих знаменитостей, о которых не сплетничал, но мимоходом упоминал громкие имена. Стоматолог-немка лечила соседям зубы, пряча инструменты под подушку от незнакомых. Деду выходной костюм шил портной-поляк, выходные туфли для матери заказывали у немца-сапожника. Всех этих людей называли по имени, без фамилий. О них говорили, чуть понизив голос и с известным уважением. Их ценили. Да и сейчас в сфере услуг некоторым хочется иметь «своего». За персонализацию готовы приплачивать.

Далее, существовали «спекулянты», торговавшие тем, чего нельзя было «достать» в магазинах. Это был «дефицит», «импорт» — в основном одежда и обувь (появившиеся позже «фарцовщики» шли той же дорогой). Они иногда приходили на дом, иногда назначали особое место для встречи, и все участники трансакции — кто рекомендовал, ручался, продавал и покупал — знали, что за спекуляцию была статья. Но среди формально незаконных действий люди различали преступное и непреступное, по человеческим нормам, — во второй сфере в основном и происходила такая жизнь; во многом из этой части социального спектра вышел современный российский бизнес.

Информация о всех перечисленных выше услугах распространялась исключительно по сетям знакомств, мастеров «передавали» от «своих» к «своим», сами эти услуги были обстоятельствами сугубо частной жизни. «Достать по знакомству» означало, что трансакции совершаются в сфере частного, то есть на основе иных норм и конвенций, нежели в сфере государственного. Покупки же в «Гастрономе» или в «Галантерее» были частью жизни публичной, и «своих» в таком смысле там не было[2]. Работники советской госторговли, вероятно, ближе всех стояли к тем ролям, которые пришлось осваивать пионерам частного предпринимательства, и имели сложный образ. С одной стороны, они были зажиточнее обычных трудящихся, что уважалось; с ними стремились поддерживать знакомства, они помогали «доставать дефицит»[3]. С другой стороны, существовало широчайше распространенное мнение, что в торговле «все воруют» — «даже кто приходит честный, принуждают воровать, чтобы был замазан и никого не сдал», — что продавцы обвешивали, обсчитывали, были махинаторами, что, наконец, они все мерили на деньги. А советских людей от этого отучили, они этим брезговали — не при капитализме же живем!

Практики российского постсоветского капитализма в силу исторических обстоятельств его появления поначалу

2 Впрочем, знакомства работали и здесь: у некоторых был знакомый мясник в гастрономе, «откладывавший» им необходимое. Также была категория алкоголиков-инвалидов, с утра толкавшихся у продмага, — для них продавщица винно-водочного отдела была «своей».

3 Янош Корнаи самым убедительным образом показал, как госсоциализм с неизбежностью порождает дефицит любого ресурса, который является значимым в этой системе (Корнаи Я. *Дефицит*. М.: Наука, 1990). Юрий Левада и автор этих строк еще до знакомства с трудами Корнаи пришли к тем же выводам, но на основе не политэкономического, а социологического анализа (Левада Ю.А., Левинсон А.Г. *«Похвальное слово» дефициту* // Горизонт. 1989. № 10). Впрочем, первенство в освоении данной темы принадлежит Михаилу Жванецкому, чей скетч «Дефицит» (1969; www.litres.ru/book/mihail-zhvaneckiy/izbrannoe-8707222/), известный советской аудитории в исполнении Аркадия Райкина, показывал, как дефицитарная экономика формирует социальную систему планового хозяйства, а именно — встраивание неформальных отношений (то есть частного) в отношения формальные, «государственные».

основывались на смеси правил поведения «буржуя» или «капиталиста», известных понаслышке или почерпнутых из критики капитализма, в том числе в журнале «Крокодил», с одной стороны, и описанных выше порядков городской частной жизни, с другой. Советское «это вам не частная лавочка!» подчеркивало приоритет государственного и принижало частное — собственность, инициативу, жизнь. И только удивительная живучесть всех этих полуподпольных, полунелегальных взаимодействий с их собственными законами честности, выгоды и справедливой цены на первых порах могла ценностно поддерживать предпринимательскую активность.

Это применимо и к капитализму «снизу», который рос из среды повседневности, начинался как дела между «своими» с постепенным выходом ко «всем», и к капитализму «сверху», когда огромные предприятия, а то и отрасли вдруг попадали в частные руки: отношения между крупными предпринимателями, «олигархами», их взаимодействия с высшим политическим корпусом строились по тем же схемам — эти «свои», а те нет; здесь есть «знакомства», «связи», «отношения», а там нет. В перестройку структуры частных неформальных отношений стали социальной основой нарождающегося капитализма.

Но принять складывавшуюся ценностно-нормативную систему людям, выросшим на советском культурном ресурсе, было тяжело. Для многих советских людей начать бизнес значило переступить моральную границу, ведь работать на ткацкой фабрике, быть учительницей — это точно хорошо, а завести ларек и торговать в нем — и рискованно, и вообще что-то в этом не то, пусть и денег, возможно, больше. Нынешний бизнесмен — одиночка, он сам за себя в ответе, а «мы», большинство, у государства за пазухой. Опросы показывают, что люди, готовые на риск ради успеха, в России постоянно в меньшинстве; преобладают же те, кто предпочтет не очень высокий, но стабильный доход.

Особенно тяжело приходилось тому, кто становился бизнесменом вынужденно. Это были или квалифицированные рабочие, оставшиеся без заработка, поскольку их предприятия остановились, а иного применения своей профессии они найти не могли[4], или бывшие руководители, которых партийная организация или коллектив «назначили в собственники», когда их предприятие пошло на приватизацию. Последняя категория и более редкая, и исследовательски более интересная: эти люди вовсе не чаяли стать хозяевами своего родного завода, а состоявшаяся перемена роли воспринималась ими в качестве временной, вынужденной и неприятной меры до тех пор, пока все не вернется на свои места.

Вообще же исторически первыми появились «кооператоры», поскольку частное предпринимательство поначалу было разрешено в формах, уже существовавших, но «спавших». Желающие могли создавать негосударственные, но и не совсем уж частные предприятия — кооперативы. Эти первые капиталисты зачастую исповедовали социалистическую — советскую, а то и досоветскую, народническую — мораль, они хотели налаживать производство и служить народу. В ходе интервью некоторые из них вспоминали про купцов-староверов, торговавших и прибыльно, и честно.

Другая часть новых людей пошла иным путем: они поехали в Польшу, Турцию,

4 «И вот когда я понял, что не могу дочери ботиночки купить…» — так обычно начинались рассказы о том, как он, рабочий человек, «попал в торгаши», пустился торговать «каким-то китайским барахлом». «Сначала просто помогал жене эти сумки клетчатые возить, потом сам встал на рынке».

Китай, накупили там самого дешевого дефицита — колготок и обуви, жвачки и конфет, шариков и ленточек — и вывалили этот сверкающий фольгой парадиз на прилавки вещевых рынков, картонки на перекрестках, витрины ларьков. Их цены — невысокие для столь ярко выглядящих товаров — сделали продукцию кооператоров-капиталистов неконкурентоспособной. Последние не выдержали конкуренции, да и не считали ее честной: мы свой товар создавали собственным трудом, а те купили сделанное чужими руками и перепродали по завышенной цене; мы предприниматели, а те просто спекулянты, и барыш их нечестный, жаловались они в интервью.

Первых кооператоров нынешняя публика не помнит, их порыв делать «честный бизнес» ушел вместе с ними. А вот «челноков», привозивших в огромных клетчатых сумках китайское барахло, помнят. Их тяжелый, в буквальном смысле ручной труд спас страну от товарного голода, как некогда труд «мешочников» спас ее (увы, не всю) от голода продовольственного. Но в коллективной памяти сохранилась некая, пусть не злая, но ирония по поводу этого раннего/детского капитализма[5], ставшего тем не менее если не фундаментом, то одним из важных оснований для становления образа предпринимателя.

Исследования первых постсоветских лет, которые проводил ВЦИОМ, показывали, что у россиян устойчивая «мелкобуржуазная» ориентация, а вот быстро разбогатевших «новых русских» не уважали, их без труда обретенному богатству не завидовали. Далеко не все, выросшие при «совке», были против любой частной собственности. Обычные россияне приветствовали переход в частные руки небольших предприятий и участков земли, а вот крупную собственность в те годы хотели бы видеть в собственности государства.

Данные опросов за последние полтора десятилетия свидетельствуют, что со временем отношение к крупному бизнесу стало меняться. Начиная с 2009 года «Левада-центр»[6] задает вопрос, заслуживает ли доверия бизнес — крупный и малый/средний. Вначале доверие было на минимальном уровне, а показатели в отношении некрупного бизнеса были выше в два раза, чем для крупного. За последующий период доверие выросло: к малому/среднему бизнесу втрое, к крупному — вчетверо, но разрыв, пусть и не такой большой, сохранился.

Опрос 2025 года позволяет увидеть различие в отношении к бизнесу со стороны разных социально-профессиональных групп (рассматриваются только ответы о полном доверии). На краях шкалы находятся две категории респондентов, различающиеся по возрасту и в силу этого — вероятностью стать предпринимателями в будущем: это студенты и пенсионеры. Над первыми в наименьшей, а над вторыми в наибольшей степени тяготеет остаточная советская «классовая ненависть» к капиталистам, превратившаяся в бытовые недоверие и неприязнь. Среди студенчества максимум приятия бизнеса как достойных поприща и места в обществе: три четверти студентов говорят

5 Как и куда более резкая ирония или даже злость в адрес «китайского», ставшего на долгое время синонимом дрянного, дешевого, поддельного. Далеко не сразу пришло понимание, что в Китае не все такое. Сперва явилось «китайское, но фабричное», потом — осознание, что «теперь всё — китайское!». Первые китайские автомобили считались хуже отечественных, к ним перешел лихой образ «ведра с гайками». Но мало-помалу они не просто завоевали рынок в коммерческом смысле, но и смогли заработать себе статус. Нынешнему бизнесмену не зазорно сесть в китайский лимузин премиум-класса.

6 АНО «Левада-центр» внесена Министерством юстиции Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. — *Примеч. ред.*

о полном доверии малому/среднему предпринимательству, две трети — о полном доверии крупному бизнесу. Среди пенсионеров малому/среднему бизнесу доверяет треть, а крупному — менее четверти.

Среди людей среднего возраста наиболее прохладным отношением к крупному бизнесу отличаются руководящие работники: лишь около трети из них полностью ему доверяют; к малому/среднему бизнесу благосклонны 50% из них. В наиболее массовых категориях населения, которые в советском политическом обиходе назывались словом «трудящиеся» (рабочие, служащие, инженерно-технические работники), крупному бизнесу доверяют около 40%, малому/среднему — 50% среди рабочих и почти 60% среди ИТР.

Если говорить о самих предпринимателях, то среди них полностью доверяет крупному бизнесу лишь половина, а малому/среднему — более чем две трети. Но тут следует учитывать, что в опросе, который проводился по месту жительства респондентов, не участвовали представители крупного бизнеса: в их имения и особняки интервьюерам попасть практически невозможно.

Революционные перемены в сфере информационных технологий, роботизация промышленного производства влекут за собой огромные перемены на рынке труда. Многие частные предприятия потерпят крах, но следует ожидать, что многие люди будут пробовать карьеру предпринимателя. Эти процессы имеют массовый характер, значит, ими будут управлять структуры массового сознания. А в них значительная роль принадлежит памяти и накопленному социальному опыту, в том числе и описанному выше.

	2009	2010	2011	2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Малый/ средний бизнес	17	17	19	22	22	29	30	26	38	33	42	47	45	50
Крупный бизнес	9	12	11	14	11	18	16	16	23	18	28	32	31	38

Доля опрошенных, которые, отвечая на вопрос о доверии бизнесу, считают, что тот «вполне заслуживает доверия», в %, 2009–2025 годы (в 2013–2015 годах вопрос не задавался).

К столетию Мишеля Фуко. История «гувернаментальностей» в России: от Иосифа Волоцкого до «развитого социализма»

Дискуссия «НЗ». Часть II[1]



Игорь Кобылин: Уважаемые коллеги, обсудив гувернаментальность по-русски, я предлагаю перейти к гувернаментальности по-советски — и шире — к проблеме социалистической гувернаментальности. Фуко здесь вновь нам не слишком большой помощник: в курсе «Рождение биополитики», который посвящен не столько биополитике, сколько разновидностям либерализма и его гувернаментальных техник, он фактически отказывает социализму в управленческой рациональности. Фуко говорит об этом так — позвольте, я процитирую:

> «Я же скажу лишь, чего не хватает социализму, так это не столько теории государства, сколько гувернаментального мышления (*raison gouvernemental*) […]. Историческая, экономическая,

1 Начало дискуссии см. в предыдущем номере «НЗ» (2026. № 3(167). С. 65–83). — *Примеч. ред.*

административная рациональность — все эти рациональности отличают социализм; во всяком случае проблема эта спорная и устранить единым жестом все эти формы рациональности невозможно. Однако я полагаю, что никакой самостоятельной социалистической гувернаментальности (*gouvernementalité socialiste*) не существует. Не существует гувернаментальной рациональности социализма (*rationalité gouvernementale du socialisme*)»[2].

Далее Фуко поясняет, что социализм подключается к уже сложившимся типам гувернаментальности — либеральному или полицейско-административному. Выработать собственную гувернаментальную стратегию ему мешает постоянная озабоченность верностью доктринальным текстам основоположников — насколько истинен тот социализм, который у нас получился? Насколько он соответствует теоретическим построениям Маркса или Ленина? Эта невротическая зацикленность парализует собственную гувернаментальную рефлексию.

Отсюда следует целая серия вопросов: возможна ли все-таки социалистическая гувернаментальность и если возможна, то была ли она (или какие-то ее элементы) в СССР? Если нет, то обладала ли гибридная (то есть определяемая системой «подключений») советская гувернаментальность нередуцируемой спецификой? Ведь даже если вслед за Фуко представить ее в качестве композита, то получившееся целое должно обладать рядом новых свойств, несводимых к свойствам составных частей.

Я хотел бы предоставить слово Игорю Стасю как специалисту по советской ведомственности — этому важнейшему фактору всей системы управления в СССР. Тем более, насколько я понял, вы положительно отвечаете на вопрос о возможности социалистической гувернаментальности.

Игорь Игоревич Кобылин (р. 1973) — философ, историк культуры, доцент исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге.



Игорь Николаевич Стась (р. 1989) — историк, урбанист, старший научный сотрудник Центра урбанистики Тюменского государственного университета, руководитель магистратуры «Концептуальная урбанистика».

Игорь Стась: Спасибо большое. Я не слишком уверен в полностью положительном ответе. В книге о советской ведомственности, где оптика гувернаментальности применялась мною наиболее полно, я скорее соглашался с Фуко. Но последние дискуссии — вокруг этой книги и не только — отчасти изменили мои взгляды на гувернаментальность в СССР, и сегодня какие-то отдельные сюжеты я описал бы по-другому.

Что можно принять за точку отсчета в рассуждениях о социалистической гувернаментальности? У Фуко, как уже сказал Игорь, есть только небольшой экскурс в эту область в курсе лекций «Рождение биополитики», и речь там идет не только об озабоченности социализма своим соответствием доктринальным

2 Фуко М. *Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году*. СПб.: Наука, 2010. С. 119–120. Перевод изменен. — *Примеч. ред.*

текстам и догматам — важно, что сами эти тексты вводили ограничения или предоставляли определенные возможности социалистическим управленцам. Больше у Фуко на эту тему практически ничего нет, так что, двигаясь дальше, мы вступаем в область сплошных догадок и интерпретаций. Я думаю, что тезис Фуко применительно к СССР можно истолковать так: советское общество — это общество тотальной текстуальности, порожденной административными институтами и административными отношениями. В СССР гувернаментализация государства (воспроизводящаяся через государственные интересы) сращивалась с бюрократизацией — отсюда и тотальная текстуальность, и господство административной рациональности, мешающие появлению социалистической гувернаментальности. Но стоит напомнить, что Фуко не закрыл окончательно вопрос о возможности существования последней — он отмечал, что нам еще только предстоит выяснить, с какими типами гувернаментальных практик связан социализм[3]. И этот открытый вопрос дает нам хороший повод поискать разные гувернаментальности в СССР — в том числе и социалистические.

В СССР гувернаментализация государства сращивалась с бюрократизацией — отсюда и тотальная текстуальность, и господство административной рациональности, мешающие появлению социалистической гувернаментальности.

Тем более, как уже отмечалось выше, Фуко говорит о подключениях социализма к уже исторически реализовавшимся гувернаментальным режимам — полицейскому и либеральному. Кроме того, он ставит вопрос о суверенитете в СССР, и мне кажется, что это особенно важно в контексте проблемы соотношения суверенитета и пастырской власти. Что касается подключения к либеральным техникам управления, то оно неплохо изучено. Если мы посмотрим на довольно обширную библиографию вопроса, то обнаружим, что практически все работы, в нее входящие, написаны в духе первой волны *governmentality studies* — а там гувернаментальность

3 Ср.: «Давайте поставим более общий вопрос, в большей степени обращенный к будущему, который звучит так: какой могла бы быть адекватная социализму гувернаментальность? Существует ли адекватная социализму гувернаментальность? Какая гувернаментальность может быть гувернаментальностью строго, внутренне, самостоятельно социалистической? Во всяком случае давайте иметь в виду лишь то, что если и существует подлинно социалистическая гувернаментальность, то она не скрывается внутри социализма и его текстов. Ее нельзя вывести из социализма. Ее нужно изобрести» (Там же. С. 121–122. Перевод изменен. — *Примеч. ред.*).

понималась преимущественно в качестве либерально-экономической технологии. Отсюда исследования советской кибернетики, методологов, госсобственности, журналистики, предпринимательства, городского хозяйства — последним занимался, например, антрополог Стивен Колье[4]. Все эти исследования исходят из либерализации практик управления в позднесоветскую эпоху, и такая либерализация и рассматривается в качестве гувернаментальной.

Но сегодня мы уже не можем ограничивать гувернаментальность вообще — и в СССР в частности — либеральной составляющей. Соответственно, нужно менять и исследовательскую оптику. Необходимо вновь и всерьез задаться вопросом о социалистической гувернаментальности и каких-то ее формах в системе советского (у)правления. Какие практики (у)правления, кроме партийных, существовали в СССР, как (и кем) они осмыслялись и рационализировались? Здесь требуется ввести существенное уточнение: можно ли обнаружить какие-то попытки воспроизводства этих практик в реальности, а не только на уровне инструктивных идеологических текстов? Ряд ученых дают положительные ответы на подобные вопросы. Например Доминик Кола в статье «Фуко и Советский Союз» писал, что с точки зрения Фуко отношения власти в СССР принципиально не отличались от аналогичных отношений в капиталистических странах[5]. Сергей Прозоров, изучавший биополитику в эпоху сталинизма, полагает, что Фуко ошибался и социалистическая гувернаментальность в СССР была[6]. По его мнению, ее следует искать в моделях и практиках производства нового человека, в процессах превращения социалистических идей в реальную форму жизни. Стоит еще упомянуть работу хорватских политических исследователей Даниелы Доленец и Мислава Житко[7]. Они рассматривают югославский эксперимент по социалистическому самоуправлению именно как вариант социалистической гувернаментальности. В СССР же,

4 См.: Collier S. *Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

5 Ср.: «История Советского Союза показала, что трансформация производственных отношений и политических институтов не повлекла за собой никаких изменений в “микроотношениях власти” в семье и на советском заводе; эти отношения не отличаются от аналогичных отношений в странах, называемых капиталистическими» (Кола Д. *Фуко и Советский Союз* / Перев. с фр. В. Каплуна // *Мишель Фуко и Россия: сборник статей* / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербург; Летний сад, 2001. С. 226–227). Речь, вероятно, идет о недопустимости экзотизации советского опыта, характерной для старой — «тоталитарной» — советологии. Вместе с тем Кола подчеркивает, что Фуко всегда призывал к осторожности: анализируя власть в СССР, — как и во всех модерных государствах одновременно тотализирующую и индивидуализирующую, — важно не растворить специфику ее конкретно-исторической констелляции в общемодерных паттернах. — *Примеч. ред*.

6 См.: Prozorov S. *The Biopolitics of Stalinism. Ideology and Life in Soviet Socialism*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.

7 Dolenec D., Žitko M. *Exploring Commons Theory for Principles of a Socialist Governmentality* // Review of Radical Political Economics. 2015. Vol. 48. № 1. P. 1–15.

с их точки зрения, этатизм и господство бюрократии не позволили ей состояться.

Во время работы над «Советской ведомственностью» я скорее солидаризировался со скепсисом Фуко, но в ходе одной из дискуссий после выхода книги антрополог Николай Ссорин-Чайков предложил мне рассматривать ведомственность как советский вариант гувернаментальности. Олег Хархордин в недавней статье о гувернаментальности по-русски обратил наше внимание на те понятия и термины в русском языке, по которым мы можем проследить, как менялись практики (у)правления в России и как изменялись их смысловые контексты[8]. Для меня такими понятиями были «ведомство» и «ведомственность», которые я описывал через отношения власти и знания. Однако я сильно сомневаюсь, что о ведомственности мы можем говорить как о форме социалистической гувернаментальности. Ведомственность всегда шла рука об руку с рациональностью государства и бюрократического аппарата — ни о какой независимой от государственной бюрократии социалистической рациональности говорить не приходится. Другое дело, что я смотрел скорее на дискурс *о* ведомственности, а не на саму ведомственную риторику, исходившую от различных министерств, заводов, главных управлений, промышленных предприятий и так далее. Вот они вполне были способны осмыслять свою деятельность как социалистическую. И это перспективное поле для дальнейших исследований социалистической гувернаментальности в СССР.

Однако в поисках социалистической гувернаментальности нужно не воспроизводить советские пропагандистские штампы, а обратить внимание на реальные эксперименты в области социальной организации и управления. Так, например, историк Михаил Пискунов пишет об эксперименте по созданию «трудового коллектива», первоначально появившегося в дискурсе в качестве понятия, а затем реализовавшегося на практике[9]. На страницах журнала «Ab Imperio» историки Константин Гудков и Александр Дуднев предлагают посмотреть на иные социалистические альтернативы ведомственности[10]. В частности, они говорят о «муниципальности» и о возрастающей роли горсоветов как субъектов социалистического управления; а также о «кооперативности», акцентируя внимание на жилищных кооперативах 1920–1930-х. Я бы еще добавил такие

8 Хархордин О. *Gouvernementalité по-русски* // Philosophy Journal of the Higher School of Economics. 2026. Vol. 10. № 1. С. 13–69.

9 Пискунов М. *Глава 4. Культура производства коллективов и советский завод на рабочем месте* // *Советская ведомственность* / Под ред. И.Н. Стася. М.: Новое литературное обозрение, 2025. С. 218–249.

10 Гудков К., Дуднев А. *В поисках «соцгорода здорового человека» и альтернатив ведомственности* // Ab Imperio. 2025. № 4. С. 119–135.

более поздние формы, как МЖК — молодежные жилые кооперативы, — и кооперативную неформальную практику, которая в советской пропаганде получила название «метод горьковчан» или «метод народной стройки». Но осмысливались ли эти практики как социалистические и были ли они таковыми по сути? Это еще только предстоит выяснить. Кроме того, Гудков и Дуднев пишут о «сообщественности», отмечая, что в СССР все-таки существовали деятельные сообщества, стремившиеся к социализму. Историки приводят в пример Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и Общество современных архитекторов. Но для меня это не столько социалистические альтернативы ведомственности, сколько социалистические альтернативы модерности, варианты переплетенных или гибридных модерностей, о которых говорил социолог Йоран Терборн.

Социалистическую гувернаментальность мы должны искать не только за пределами официального и авторитетного партийного дискурса, но также и в нем самом. Ее, как мне кажется, можно увидеть во многих советских инициативах, которые формулировали новые подходы к социализму. В частности, архитекторы из движения «Новый элемент расселения», о которых писала историк архитектуры Дарья Бочарникова[11], осмысляли и создавали образ нового социалистического и коммунистического общества — но мог ли этот проект воплотиться в жизнь? Примечательны недавние работы антрополога Сергея Алымова о советских социальных философах и социологах — Юрие Леваде, Мерабе Мамардашвили, Александре Зиновьеве и других, предлагавших новые теории марксистского гуманизма и социалистической личности в СССР[12]. Я бы отнес сюда и большие дискуссии по поводу социалистической урбанизации и развития агломераций в СССР. Но здесь историкам еще предстоит разобраться. Не стоит забывать и о движении методологов. Правда, исследователям нужно будет выяснить, насколько их «мыследеятельность» или просто деятельность понималась самими методологами как социалистическая. Еще мы должны помирить и совместить социалистическую современность и историзм. Фуко упоминал, что у социализма есть исторический тип рациональности. Последняя моя статья о модернистской ретротопии — это в том числе попытка выяснить,

11 Бочарникова Д. *Место личности в коммунистическом обществе: разработки группы НЭР на излете политической оттепели // После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985)* / Под ред. А. Пинского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. С. 283–312.

12 См., например: Алымов С. *Интеллектуалы застоя: между официальным коллективизмом и выстраданной элитарностью // Это было навсегда* / Под ред. Т. Карповой, К. Светлякова. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. С. 18–23. Он же. *О личностях и элементалах: позднесоветская социальная философия от марксистского гуманизма к идее Homo sovieticus* // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 11–52.

как социалистическая модерность и историзм совмещались на практике[13].

В завершение я хочу сказать о советском городе как еще одном локусе, где можно найти социалистическую гувернаментальность. В своих исследованиях я часто использую понятие «городской дискурс», с помощью которого показываю, каким образом в СССР воспроизводилась риторика различных общественных и властных элит о развитии городов, о подлинно социалистическом городе, о настоящих горожанах и гражданах. В контексте этого дискурса город в СССР позиционировался как общее благо и общее достояние. Также и упомянутые мной хорватские исследователи Даниела Доленец и Мислав Житко связывали социалистическую гувернаментальность с *commons theory*, то есть с теорией общественного достояния. В этом смысле поиски социалистической гувернаментальности приводят к концептуализации социалистического города — не только его физических и социальных атрибутов, но и городских практик (у)правления и их рационализации. Социалистический город требовал социалистической практики управления. При этом проблематика общего достояния отсылает нас к дискуссии между Олегом Хархординым и историком Константином Бугровым о том, существовал ли реальный республиканизм в СССР. Можно ли интерпретировать советскую форму республики как пространство общего дела? Я усматриваю в этой дискуссии о республиканизме в СССР интеллектуальный потенциал для лучшего понимания устройства советского общества и дальнейших поисков социалистической гувернаментальности.



Олег Валерьевич Хархордин (р. 1964) — профессор политической теории, директор исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Олег Хархордин: Когда мы обсуждали формат этого разговора и Игорь Кобылин упомянул вашу книгу, я вспомнил один курьезный факт. Я приехал в аспирантуру в Москву в 1987 году. И в Институте экономики АН СССР при академике Абалкине была сформирована группа по борьбе с ведомственностью и местничеством, которые рассматривались в качестве главных врагов нормально функционирующей плановой системы. Перестройка тогда еще не развернулась как следует, все работали в старой парадигме. Поэтому кажется, что Фуко отчасти прав: социалистической гувернаментальности действительно не было. Он пишет о гувернаментальности партии, но раз с ведомственностью и местничеством боролись как с издержками социалистической системы, то это означает, что партия не справлялась со своей гувернаментальной функцией. Были еще два вида распространяющихся практик — как местных партийных

13 Стась И. *Модернистская ретротопия: городская власть, архитекторы, краеведы, проект историко-этнографической зоны и разрушение Старого Сургута (конец 1960-х — 1990-е)* // Антропологический форум. 2026. № 68. С. 147–192.

и государственных органов, так и министерских — которые восполняли то, что центральные партийные органы делать не могли или не хотели. Восполняли, так сказать, оставленные партией гувернаментальные лакуны. Вопрос в том, действительно ли эти практики являются элементами особой социалистической гувернаментальности, как вы говорите, или это обычная попытка справиться с циркулирующим населением?

Раз с ведомственностью и местничеством боролись как с издержками социалистической системы, то это означает, что партия не справлялась со своей гувернаментальной функцией.

Ответом для меня было бы прояснение двух вопросов. Первое — это исследование техники безопасности, производственного травматизма и методов борьбы с ним. Слово «безопасность» для Фуко центральное — этим стоит заняться. Все интересуются межстрановой безопасностью, военной безопасностью, но и техника безопасности — чрезвычайно важная вещь: ведь если это была министерская задача, то явно люди понимали, что с массовым производственным травматизмом нужно что-то делать. Второе — это циркуляция населения, текучка кадров: не менее важная задача для министерства, которое теряет кадры на каком-то предприятии, поскольку люди переезжают в другую область, где больше платят, например. Но тогда вряд ли это можно квалифицировать в качестве социалистической гувернаментальности, скорее это попытка решить через профильное учреждение проблему мобильности населения и того, что называлось административными рынками в позднесоветскую эпоху.

Сталкивались ли вы с этими вопросами и если сталкивались, то как на них отвечаете?

И.С.: Спасибо большое, это хороший вопрос. Сейчас я скорее согласен с вашей интерпретацией. В книге ведомственность описывалась не как отдельная форма гувернаментальности, а скорее как часть гувернаментализированного государства, как паллиатив, как некое временное решение. Именно это я нахожу в источниках, которые отражают то, что я назвал дискурсом *о* ведомственности.

Но здесь есть проблема. Дело в том, что, когда я говорю: «ведомственность не является гувернаментальностью, не является социалистической практикой, или советской исконной практикой (у)правления», я опираюсь на тексты критиков

ведомственности, авторов, которых условно можно назвать «государственниками». Однако среди них нет директоров предприятий, например, или агентов, которых они нанимали, — это могли быть писатели или даже философы. Стоит внимательно изучить то, что они говорят — эту реальную ведомственную риторику. Может быть, мы увидим там действительно нечто социалистическое — в этих заботах о технике безопасности или о предотвращении утечки кадров. Но, поскольку я не изучал ведомственных текстов подробно, я не могу дать ответ на поставленный вами вопрос. Это перспектива для будущих исследований. И в этом направлении движутся уже упоминавшийся мной Михаил Пискунов с работой о понятии «трудового коллектива» и Константин Бугров и его ученики, занимающиеся производственной историей СССР.

И.К.: Спасибо. Две короткие реплики по поводу сказанного. Первая: я интересуюсь не столько практиками позднесоветского управления, сколько разного рода управленческими теориями и предложениями — в диапазоне от академика Виктора Глушкова до академика Николая Амосова, и мне тоже часто приходится читать у почтенных советских академиков жалобы на ведомственный партикуляризм, мешающий немедленной и повсеместной реализации предлагаемой ими управленческой реформы.



Александр Александрович Писарев (р. 1988) — исследователь, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник Института философии РАН.

Вторая реплика по поводу гувернаментального измерения советского историзма, о котором коротко упомянул Игорь Стась. Мне кажется, что историческая рациональность социализма, о которой говорил Фуко в «Рождении биополитики», есть одновременно и управленческая или гувернаментальная рациональность. История тут понимается как своего рода «улаживающе-слаживающая» машина, если воспользоваться словами Хайдеггера, сказанными им, правда, по другому поводу. Она и сама управляет, и становится управляемой по мере постижения революционным субъектом диалектических законов исторического развития. Я немного писал об этом[14], но надеюсь, в каком-то обозримом будущем заняться этим более предметно.

Александр Писарев: У меня два вопроса. Первый во многом совпадает с вопросом Олега Хархордина: по какому критерию мы объединяем разные практики под общим титулом советской, социалистической или коммунистической гувернаментальности? И не заводит ли нас употребление термина «гувернаментальность» в ложный холизм: возникает иллюзия, что есть цельные

14 Кобылин И. *История в чрезвычайном положении: эссе о современном историческом сознании и практиках историописания*. М.: Новое литературное обозрение, 2025.

и относительно замкнутые миры или режимы управления, которые более-менее однородны. Но ведь это именно то представление о политическом, которого Фуко стремился избежать. Гувернаментальность как исторически и произвольно складывающийся ансамбль техник и рациональностей разнородна, поскольку эти техники и рациональности могут переноситься из одного ансамбля в другой или изобретаться внутри. В чем-то гувернаментальность похожа на генотип, в составе которого в ходе эволюции накапливаются участки, унаследованные от предшествующих биологических видов (суверенной и дисциплинарной властей) и полученные горизонтальным переносом от соседствующих видов.

Гувернаментальность как исторически и произвольно складывающийся ансамбль техник и рациональностей разнородна, поскольку эти техники и рациональности могут переноситься из одного ансамбля в другой или изобретаться внутри.

Митчелл Дин подчеркивает эту гетерогенность в своей обзорной книге[15] и, например, много внимания уделяет обсуждению элементов либерального управления в авторитарной власти нацистской Германии и, наоборот, авторитарных, нелиберальных элементов в странах либеральной гувернаментальности. Или ближе к советскому случаю: говоря о позднесоветской гувернаментальности, Александр Бикбов отталкивается от ее разнородности: с конца 1950-х в разных сферах она обнаруживает значимые техники производства и мышления субъектов не как послушных, а как свободных. Да и в целом международный перенос либеральных техник и рациональностей, отмечает он, характерен для многих послевоенных гувернаментальностей[16]. Словом, анализировать ту или иную гувернаментальность значит анализировать ее разнородность, не производя холизмы.

Второй вопрос в большей степени нацелен на прояснение подхода к исследованию гувернаментальности. Уже несколько раз было сказано, что его предметность задается формулой «ведение поведения», или «руководство поведением». Это можно понимать как формирование набора или поля возможностей и ограничений поведения, мышления, чувствования индивидов

15 Дин М. *Правительность: власть и правление в современных обществах* / Перев. с англ. А.А. Писарева; науч. ред. С.М. Гавриленко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 325–360.

16 Бикбов А. *За порогом новой эры правления* // Дин М. *Указ. соч*. С. 7–32.

в качестве субъектов. Мы постоянно говорим об анализе нормативных документов, которые задают определенные формы управления и субъективации. И здесь, вероятно, имеет смысл различать претензию формировать эти поля возможностей и то, что получается в реальности, в которой пересекаются разнородные процессы, воли и интересы. В тех рамках, которые очерчиваются нормативными документами, возможны разные формы поведения и контрповедения.

Можно вспомнить в качестве своеобразного исторического свидетельства ранние романы Александра Зиновьева[17]. Не зная ничего о Фуко и его идее управления, он схожим образом описывал советскую действительность, почти не затрагивая государство, но зато подробно останавливаясь на практиках формирования субъектов в этой действительности, на анализе способов ведения и исправления их поведения[18]. К примеру, один из таких способов можно назвать делегированным замалчиванием, при котором индивид, особым образом помеченный властью, подвергается цензурированию и ограничениям другими индивидами без усилий со стороны власти. Его аналог есть и сегодня: в случае со статусом иноагента государство не говорит напрямую, что его носителя нельзя цитировать, — оно говорит, что, цитируя, нужно ставить плашку. Но дальше вступает в силу сформированная самой нашей действительностью, как выразился бы Зиновьев, логика самоцензуры. Она не прописана в нормативных документах, но от того не менее действенна.

Нет ли риска, что, глядя на гувернаментальность «сверху», со стороны текстов и нормативностей, мы упускаем такие практики из виду, ведь они фиксируются скорее свидетельствами «снизу»?

И.С.: Александр, большое спасибо за вопросы. Они представляются мне очень важными. Сначала об объединяющем титуле. Говоря о социалистической гувернаментальности, важно понимать, что подразумевается под словом «социалистическая». С моей точки зрения, социализм означает способность самостоятельно организовывать какое-то устойчивое управление ресурсами за пределами государства или рынка. Социализм не равен ни государственной собственности, ни этатизму. Он включает различные формы самоуправления, ни одна из которых не воспроизводят классового контроля и классовой структуры вообще. Это такая полицентричная система, где есть сообщества, кооперативы, муниципалитеты и иные — не только управленческие, но и моральные — институты. Давайте

17 Прежде всего см.: Зиновьев А. *Зияющие высоты*. Lausanne: L'Age d'Homme, 1976.

18 Писарев А. *Не только советское: «Зияющие высоты» Александра Зиновьева в оптике исследований правительности* // Логос. 2022. Т. 32. № 6. С. 53–90.

вспомним тезис Виктора Каплуна о гувернаментализации государства как об инсталляции моральных практик направления поведения. Были ли они в СССР? Это и есть исследовательская проблема. Если мы однозначно говорим, что этого не было, то меня этот ответ не устраивает. Советское государство было устроено более сложно и требует соответствующего взгляда. Конечно, существовал и колпак партийного контроля, но, кроме него, было и что-то еще — и это «что-то» требует внимания и изучения.

И здесь актуален второй вопрос. Да, изучая СССР, мы, к сожалению, становимся заложниками источников — в первую очередь текстуальных. Однако в не меньшей степени мы заложники и стереотипов об СССР. Когда я учился в университете, мне все время говорили: «Не читайте советских газет». Считалось, что советские газеты — это последний источник, на который нужно обращать внимание. Когда я закончил диссертацию (а там и правда газеты мною почти не использовались), я начал перечитывать советскую прессу и понял, что игнорировать ее было большой ошибкой. Сейчас, читая самые разные газеты — федеральные, региональные, городские и даже газеты каких-то предприятий, — я понимаю, насколько сложным и многоуровневым был публичный дискурс в Советском Союзе. Как дискурсивное поле возможностей он где-то был шире, а где-то сужался. Ближе к центру, ближе к власти, к Москве это дискурсивное горлышко было, видимо, более узким, а в регионах более широким. И благодаря этому неоднородному полю исследователи способны увидеть реальные практики, о которых, Александр, вы говорите, поскольку так или иначе, но они все-таки попадали в публичный дискурс. Параллельно нужно смотреть другие источники, менее идеологически нагруженные: воспоминания, устную историю, какие-то видеосюжеты, художественную литературу, наконец. И если сравнивать, сопоставлять их, то шанс поймать и объемно описать реальные практики существенно возрастает. Мы все равно остаемся в ловушке текстуальных источников, однако на них не следует смотреть стереотипно.

И.К.: Спасибо. По поводу советских газет: на эту тему есть замечательное исследование американского антрополога Натальи Рудаковой «Утраченная правда: этика и пресса в России эпохи постправды», я когда-то писал на него рецензию[19]. На примере горьковской газеты «Ленинская смена» (региональный аналог «Комсомольской правды») она показывает социальные функции

19 Roudakova N. *Losing Pravda: Ethics and the Press in Post-Truth Russia*. New York: Cambridge University Press, 2017; рецензия: Кобылин И. *«Правда», «Время» и кибернетика: непростая история позднесоветских медиа* // Новое литературное обозрение. 2019. № 4(158).

советской журналистики. Поскольку реальных политических механизмов — электоральных например — влияния советских граждан на решения партии и правительства не было, газеты и журналы играли роль каналов связи между властью и народом. Угроза «написать в газету» была довольна действенной: граждане активно сигнализировали о всякого рода бюрократических или хозяйственных злоупотреблениях, и журналисты были обязаны реагировать. Существовали четкие внутренние регламенты: в какой срок каким категориям граждан газета должна была ответить. На письма военнослужащих, кажется, нужно было реагировать быстрее. Журналисты иногда выполняли функции социальных работников: помогали людям решить какой-то вопрос, даже не планируя писать об этом случае статью. Рудакова не оспаривает пропагандистского характера советской печати, но убедительно демонстрирует, что это не исключало стремления многих журналистов искать истину, справедливость и даже стать настоящими «парресиастами» — она ссылается в книге на работы Фуко о парресии. А совсем недавно греческий философ Панайотис Сотирис попытался представить парресию как вариант подлинно коммунистической гувернаментальности[20].



Виктор Львович Каплун — философ, доцент исследовательского центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель магистерской программы «Современная политическая теория: язык, знание, власть, современность» ЕУСПб, переводчик работ Фуко.

Виктор Каплун: Игорь Стась упомянул гувернаментализацию государства, и я хотел бы сказать несколько слов об этом. Только, если позволите, я отвлекусь от советского контекста.

Фуко, как мне кажется, полагает, что дело не только в способах рационализации дискурсивных практик управления. Он все-таки не отделяет эту рационализацию, то есть дискурс о практиках, от самих практик. Говоря схематично, вместе эти дискурсы и практики складываются в то, что можно было бы назвать формой опыта, свойственной субъектам данной культуры. И эта форма опыта в определенном смысле и есть реальность того мира, в котором эти люди живут, мира в феноменологическом смысле слова. Практики и их рационализация воспринимаются субъектами как аспекты реальности, данные в опыте. Поэтому не стоит, наверное, отрывать рационализацию, которую мы находим в разного рода текстах, как теоретических, так и, скажем, прескриптивных (различная морально-дидактическая и педагогическая литература), от реальных практик управления — это единый комплекс.

Под гувернаментализацией государства Фуко имеет в виду, что эти комплексы — связанные между собой способы мыслить, рационализировать и действовать практически — как бы

20 См.: Sotiris P. *Is a Communist Governmentality Possible? Parrhēsia, Care of the Self, and the Possibility of Another Life* // South Atlantic Quarterly. 2022. Vol. 121. № 4. P. 815–831.

воплощаются, оплотняются в государственных институтах. Посредством определенного типа мышления одни группы, стремящиеся управлять индивидами или другими группами, отсылая к некоей мистической сущности под названием государство, это управление и осуществляют. То есть гувернаментализация государства происходит тогда, когда государство, или точнее, те группы, которые говорят от имени этого мифического Левиафана, начинает интересоваться моральным обликом людей, их душами, их представлениями о самих себе, чтобы эффективнее ими управлять. Такая гувернаментализация означает, что в государство как централизованную иерархическую бюрократическую структуру, возникшую примерно в XVII веке, начинают встраиваться техники управления моральным обликом индивидов, их душами, их пониманием самих себя — техники и практики, которые являются *до*государственными, *пред*государственными, *вне*государственными. Техники, присутствовавшие например в патриархальной семье, в приютах для бездомных или больных — или безумных, которые в эпоху раннего Нового времени еще не были медикализированы и больными не считались. И так далее. Именно это Фуко имеет в виду, когда говорит о гувернаментализации.

Гувернаментализация государства происходит тогда, когда государство начинает интересоваться моральным обликом людей, их душами, их представлениями о самих себе, чтобы эффективнее ими управлять.

Галина привела прекрасный пример с Карамзиным[21], который в 1800-е критикует среди прочего и реформы Сперанского. Эти реформы были направлены на укрепление бюрократического государства, строившегося Петром и затем Екатериной II на основе *Polizeiwissenschaft* — по рецептам, взятым из немецких и в меньшей степени французских камералистских текстов. А Карамзин воспитан в другой культуре, аристократической, где в соответствии с античными примерами культивируется своего рода «забота о себе»: индивид, если говорить предельно схематично об этосе образованного дворянства этой эпохи, должен управлять собой на основе неких представлений о личностном совершенстве.

21 «[…] “Общее учреждение министерств” и критика его Карамзиным за то, что вместо настоящих государственных дел теперь все внимание достается мелочам канцелярским — сколько бумаг в день следует изготавливать» (Неприкосновенный запас. 2026. № 3(167). С. 82). — *Примеч. ред.*

И для Карамзина новая политико-государственная культура является опасностью. В чем заключается его главный тезис? Если мы хотим построить республику, где целью будет общее благо и самореализация человека, то реальность должны определять не нейтральные институты, а субъекты, люди. Карамзин видит опасность превращения государства — а он уже мыслит через государство — в бюрократическую машину, где люди окажутся просто винтиками. Эта машина начинает работать безличным, нейтральным образом. Исчезает субъектность, свойственная прежней аристократической культуре, ориентированной на классические античные образцы. И, в конечном счете, как мне кажется, та опасность, которую Карамзин предчувствует, позже реализуется в фигуре Акакия Акакиевича — примере человека, который считает высшим долгом педантичное исполнение бюрократической функции в своем департаменте или присутствии. Он бесконечно ей предан. В каком-то смысле он является символом новой культуры, появившейся в николаевскую эпоху, в которой государство становится высшей мистической сущностью: все должны ей служить — каждый на своем месте. Такой способ мысли будет набирать в русской культуре все больший и больший вес, будет становиться все авторитетнее в силу ряда исторических обстоятельств.

Необходимость служить мистическому целому на любом посту и видеть высший долг в том, чтобы исполнять свои служебные обязанности с максимально возможной отдачей, — такое представление, такой способ мыслить во многом и приведет к катастрофам.

Я думаю, это одно из самых трагических явлений и в истории русской мысли, и в нашей политической истории. Необходимость служить мистическому целому на любом посту и видеть высший долг в том, чтобы исполнять свои служебные обязанности с максимально возможной отдачей, — такое представление, такой способ мыслить во многом и приведет к катастрофам. В какой-то момент российское государство начинает состоять из Акакий Акакиевичей разного масштаба — от совсем маленьких до совсем больших, на высших государственных постах. Этот мир Акакиев Акакиевичей, если поискать аналогии в других культурах, можно сопоставить с тем, о чем пишет Ханна Арендт в «Банальности зла». Тут возникает тема банальности зла в русской культуре. Я говорю об этом в фор-

ме гипотезы, но мне кажется, что эта перспектива позволяет обнаружить одну из причин трагических поворотов в русской истории и культуре.

И.К.: Спасибо большое за эти важные уточнения.

Давайте теперь вернемся к советской и социалистической гувернаментальностям. Вопрос действительно сложный. На доктринальном уровне со времен «Критики Готской программы» считалось, что социализм — это не отдельная формация, а переход к коммунизму. При коммунизме же управлять людьми нет никакой надобности, нам останется только управление вещами. Но гувернаментальность, как здесь уже неоднократно говорилось, — это направление именно человеческого поведения.

Но еще есть то, что называется «реальным социализмом»: в разных странах социалистического блока практиковались свои специфические варианты управления. Игорь Стась упоминал концептуализацию югославского самоуправления в качестве гувернаментальной технологии социализма. Джоанна Бокман в книге «Рынки во имя социализма» пишет не только о Югославии, но и о «гуляш-коммунизме» в Венгрии[22]. Существует довольно большая литература об экономико-управленческих экспериментах в СССР. В общем, странные, идеологически «незаконные» переплетения конкретных практик, однозначно неопределяемых в терминах формационного противостояния капитализм *vs* социализм, уже активно изучаются, и результаты исследований существенно усложняют картину.

Галина, что вы думаете о советской гувернаментальности — тем более, что вас как исследователя интересуют как раз не столько спекулятивные построения, сколько практически работающие гувернаментальные техники?



Галина Анатольевна Орлова (р. 1974) — социальный исследователь, доцент Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва).

Галина Орлова: Спасибо, Игорь. Я бы остановилась на двух моментах — технологиях и институтах в их связи с расширением области (у)правления и ее спецификацией. И, быть может, здесь получится ухватить советскую, а то и социалистическую специфику гувернаментализации.

Я благодарна Виктору Каплуну за показательный пример с Акакием Акакиевичем, включение которого в рефлексию о русской бюрократии позволяет оттенить неполноту видимости «мелочей канцелярских»[23], положенных в основу более

22 См.: Bockman J. *Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism*. Stanford, 2011.

23 Степень этой неразличимости для истории и антропологии управления стала одним из моих удивлений еще во времена работы над диссертацией, см.: Орлова Г. *Бюрократическое письмо как механизм господства* // Полис. 1999. № 5. С. 76–82; Она же. *Изобретая документ: бумажная траектория российской канцелярии // Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство* / Под ред. И. Каспэ. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 19–52.

рациональной формы администрирования (против чего, собственно, и выступал Карамзин[24]). И если антропология бюрократии уже сделала бумажные практики управляющего документирования видимыми и интересными для исследования[25], то сложные ансамбли управленческих тактик и процедур, обеспечивающих качественно новое согласование людей и вещей в социальных мирах модерности — то самое преобладание (у)правления над суверенитетом и дисциплинами, — могут быть описаны в своем своеобразии через гувернаментальность.

Отказ Фуко оперировать готовыми объектами и его стремление выявлять отношения власти не только за отдельным институтом, но и за государством, «чтобы проанализировать их с точки зрения технологий» и вывести «из подчинения объекту, чтобы переместить в пространство образования полей, областей и объектов знания»[26], и полвека спустя вдохновляет, сохраняя эмансипаторный потенциал и эвристический импульс. Однако для меня он означает готовность действовать за пределами четко очерченной триады гувернаментальности и без редукции ее к заранее известному репертуару технологий. В случае, когда речь идет об анализе других модерностей, распаковка «черных ящиков» (у)правления и переход уровнем, а то и двумя ниже — к изучению переплетения управленческих практик, — как кажется, приобретает критическую значимость, поскольку становится условием видимости управленческого разнообразия[27].

Что можно увидеть, спускаясь, в советских управленческих мирах? Продуктивность несовпадения. Выступая в 1961 году на Всесоюзном совещании научных работников в Кремле, директор Института ядерной энергии, академик Анатолий Александров, заявлял, что «быстрое развитие отрасли», где ему посчастливилось работать, обеспечила «строгая координация»[28]. Разработку ядерного оружия легко вписать в периметр поновому понимаемой безопасности[29], а в изменении масштаба реализации крупных научно-технических программ, которое

24 Карамзин Н.М. *Слезы катятся при мысли о бедствиях России* // Источник. 1998. № 1. С. 3–31.

25 Hull M. *Government of Paper: The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan*. Oakland, 2012; Verdery K. *Secrets and Truth. Ethnography in the Archive of Romania's Secret Police*. Budapest, 2014; Hull M., Nellen S., Rohringer Th. *Towards a History of Files* // Administory. 2020. Vol. 4. № 1. P. 3–9.

26 Фуко М. *Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году*. СПб.: Наука, 2011. С. 175.

27 Скажем, из этой перспективы конфликт бюрократии и интеллигенции в России выглядит конкуренцией за право авторитетного и управленческого использования письменных технологий в литературоцентричном обществе. См.: Шкуратов В. *Интеллигенция в проекте современности* // Логос. 2005. № 6. С. 243–252.

28 Российский государственный архив экономики. Ф. 9480. Оп. 7. Ед. 21. Л. 79–84.

29 Об изобретении и трансфере режимности, обеспечивающей безопасность на первых ядерных объектах, см.: Brown K. *Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

сопровождалось мобилизацией и перемещением десятков тысяч людей, решение этой задачи обеспечивающих, различить практики управления населением[30]. Но, если ограничиться «закрытым списком» приоритетов и технологий гувернаментальности, можно не увидеть координацию — недирективную технологию управления сложными объектами и множествами через рефигурацию их связности в ситуации высокой неопределенности, на которую делается управленческая ставка в советском обществе после Сталина[31].

В начале 1960-х центральный орган, ответственный за выработку научно-технической политики в СССР, становится Госкомитетом по координации научно-исследовательской деятельности, по стране путешествуют экспертные команды отладчиков координации, а головные институты переосмысливаются в качестве очагов координации, которая предполагает и более плоский формат, и этос взаимодействия. Этот — по сути, гувернаментальный — сдвиг, в котором советские техники,

Если антропология бюрократии уже сделала бумажные практики управляющего документирования видимыми, то сложные ансамбли управленческих тактик и процедур, обеспечивающих качественно новое согласование людей и вещей в социальных мирах модерности, могут быть описаны через гувернаментальность.

ситуации и моральные порядки управления раскрываются в конкретно-исторической специфичности, и его судьба остаются в значительной степени нераспознанными не только в силу доктринерской трактовки гувернаментальности. Однако ее нераспакованность сильно ухудшает и без того слабую эпистемологическую видимость тактических форм осуществления управленческой власти в (позднем) СССР. Без внимания к ансамблям и динамическим конфигурациям управленческих тактик и их концептуализаций, как мне представляется, едва ли удастся привести гувернаментальность в контекстуально ответственное аналитическое действие.

30 Во внимание принимается управление если и не населением, то кадрами. См.: Мельникова Н. *Советский атомный проект: опыт кадрового обеспечения*. М.: РОССПЭН, 2022.

31 Оттепельным метаморфозам координации в советской научно-технической политике посвящен тематический блок статей «Машины координации: управление наукой и техникой при позднем социализме», который мы с Романом Абрамовым, Алексеем Сафроновым, Еленой Кочетковой, Алексеем Поповым и Михаилом Зимиревым подготовили для «Социологии науки и технологий» (2023. № 1. С. 24–134).

Если мой первый тезис был о технологиях, то второй касается институтов. Несколько лет назад мы с коллегами затевали проект о пси-социализме, затрагивающий специфику психополитик и диффузию морального руководства в позднем СССР. В этом ключе выдержана диссертация Михаила Кулагина о борьбе с одиночеством и рождении советской службы знакомств. Специфику руководства поведением и психологическим состоянием советского человека — технологии, в той или иной степени соотносимой с пастырской властью, — Михаил обнаруживает в институциональной оснастке психополитик. В условиях, когда психологические инстанции, поддерживающие существование индивида в мирах поздней современности, ослаблены, замещены или отсутствуют, а запрос на использование психологических технологий и психологизацию

Без внимания к ансамблям и динамическим конфигурациям управленческих тактик и их концептуализаций едва ли удастся привести гувернаментальность в контекстуально ответственное аналитическое действие.

формируется снизу, газета и дом быта выступают в качестве институциональных ниш, где выращивание советизированных форм управления знакомствами или размещение служб семьи становится возможно. В конце 1960-х «Литературная газета» с помощью своих читателей распознает в одиночестве социальную проблему, запускает процесс ее психологизации и рекрутирует экспертов[32]. Реакция партии и правительства, их переключение на новый язык и новые тактики управления жизнью и деятельностью советского человека через достижение частного счастья и благополучия сильно запаздывает. А сам случай позволяет наблюдать и фиксировать тот самый выход за пределы государства в изучении технологий и тактик управления, о необходимости которого писал Фуко.

Подводя итог: если мой первый тезис был про технологии, невидимость, локализацию и социалистические спецификации, то второй — про институты, институциональные лакуны, ниши, компенсации, протезы разного рода. Развернув разговор о гувернаментальности от государства, центральных ведомств к более широким группам, публикам, (не)оформленным экспертным сообществам, мы начинаем видеть (поздне)советское

32 См.: Кулагин М.С. *Изобретение одиночества в позднем СССР: к истории одной дискуссии* // Вестник Пермского университета. История. 2024. № 4(67). С. 183–195.

(у)правление в его специфике и попытках адаптироваться к вызовам поздней модерности, и кое-что проясняется.

И.С.: Галина, большое спасибо! Я в целом согласен с вами, но вижу два аспекта, которые стоит обсудить.

Первое: когда вы говорите о технологиях и институтах и приводите примеры — в частности, процедуры стандартизации, — вы так или иначе вновь возвращаетесь к государству. Гувернаментальность становится равнозначна биополитике, причем в модусе «политики населения» в духе Зигмунта Баумана или Питера Холквиста[33]. А ведь политика населения — это политика абсолютно государственная. Я думаю, что нужно более четко разделять гувернаментальность и биополитику.

И второе: я все же слышу у вас отождествление советского и социалистического. Но это не одно и то же. Я предполагаю, что советские практики — это практики гувернаментализации советского государства. Как говорил Виктор, это когда догосударственные практики внедряются в государство и рационализируются в качестве государственных интересов. Здесь нет ничего социалистического. Технологии и институты, о которых вы говорите, скорее советские, чем социалистические. Я же призываю к поискам в СССР социалистических форм управления, которые рефлексивно определяют себя в качестве таковых.

Г.О.: Если отвечать коротко, то советское не совпадает с социалистическим, но область пересечения у них есть. Александра Коллонтай видела в координации «новый прицел», появляющийся с переходом к «царству внеклассовой солидарности»[34], Януш Корнаи определял социалистическую систему в политэкономическом ключе через координацию, которую обеспечивает тотальная бюрократия[35], но для того, чтобы ухватить специфику ансамблей координации в оттепельном СССР, политэкономическую оптику хорошо бы дополнять прагматикой и антропологией власти, а социалистическую доктрину — позднесоветскими управленческими стилями ее реализации.

Что касается биополитики, то в широком диапазоне случаев — от психологизированного управления бригадами коммунистического труда до технократических поисков инструментов для выявления совместимости и обеспечения счастливых (то есть непротиворечивых и взаимодополнительных)

33 См.: Бауман З. *Актуальность Холокоста*. М.: Европа, 2010; Холквист П. *Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая мировая война*. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 83–101.

34 Коллонтай А.М. *Дипломатические дневники*. М.: Academia, 2001. Т. 1. С. 233.

35 Корнаи Я. *Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма*. М.: Вопросы экономики, 2000, С. 117, 123.

взаимодействий в соционике, изобретенной Аушром Аугустинавичюте, экономистом из Вильнюса, в 1970-е, — она демонстрирует свою недостаточность. В пору говорить о психополитиках, принадлежащих порядку гувернаментальности. Речь идет об управлении множествами в сложных обстоятельствах, которые требуют операционализации, индивидуализации и рефлексии по поводу избираемых тактик управления. Была ли эта рефлексия в СССР? Была. Но тут у нас еще много работы. Спасибо!

В.К.: Я бы хотел откликнуться на несколько реплик.

Вначале на реплику Александра Писарева о том, что термин «гувернаментальность» предполагает холизм. Тут я согласен и согласился бы с тем, как это сформулировала сейчас Галина. Речь идет об ансамблях практик и формах рационализации, которые предполагают определенные формы знания, в том числе знания о человеческих отношениях, о человеке вообще, о том, что считается природой человека в данной культуре. Формы отношений власти и нормативности, предписывающие «правильные» формы поведения (хотя всегда есть люфт между формальными правилами и реальным поведением), предполагают и соответствующие типы субъективности акторов, и специфические практики субъективации, характерные для данной культуры, для данного гувернаментального ансамбля. Да, это холистический ансамбль. Другое дело, что эти формы и типы — или даже целые ансамбли, своего рода парадигмы управления, — могут накладываться друг на друга в определенные периоды исторического времени и в определенных сообществах — особенно в XX веке и, в частности, в СССР — вплетаться друг в друга, сложным образом пересекаться. И тут действительно имело бы смысл попытаться их вычленить на уровне конкретных повседневных практик или практик технологических, про которые говорила Галина.

Теперь о социалистической гувернаментальности. Здесь стоило бы предложить другую формулировку вопроса, что Фуко и делает. Стоит задаться вопросом не о том, была ли социалистическая гувернаментальность, а о том, что называли социалистической гувернаментальностью, практикуя те или иные вещи и считая это социалистической гувернаментальностью. То есть исходить не из некого провозглашаемого идеала, а из конкретной реальности, обозначаемой именем «социализм». И тут действительно обнаружатся разные ансамбли практик и их рационализации. 1920-е, потом сталинские 1930-е, далее (если не брать военных и послевоенных лет) «оттепель» — специфическая культура, бурлящая магма новых возможностей, которые пресекаются, к сожалению, —

затем брежневское время. Это совсем разные миры, хотя какая-то генеалогическая линия преемственности между ними есть.

Что называется социалистической гувернаментальностью? Важно посмотреть, что и как называли в реальности. И Фуко говорит: «Реальность (реальные практики), которую называли словом “социализм”, не обладает никакой особой спецификой». То, что называли социалистической гувернаментальностью, представляет собой сочетание разновременных гувернаментальностей, которые уже есть: элементы пастырской гувернаментальности, элементы неолиберальной и так далее. А что он имеет в виду, когда говорит, что в действительности социалистической гувернаментальности не существует — что пока ее не удалось создать? Это значит, что не удалось создать новый тип ансамбля — новый ансамбль форм знания, форм управления, типов нормативности и субъективации. Не удалось создать, если позволить себе выразиться несколько высокопарно, другого способа быть человеком, другой формы субъективности — свободной субъективности.

Все прежние нововременны́е формы гувернаментальности, апеллируя к «подлинной» человеческой природе или к традиционным ценностям, лишают субъективность свободы, атомизируют и стандартизируют людей, объединяя их затем в новые тотализирующие ансамбли. Не удалось изобрести и создать такой гувернаментальности, которая позволила бы участникам общей для них коллективной жизни выстраивать каждому свою субъективность по модели того, что Фуко называл «эстетикой существования». То есть такой гувернаментальности, в рамках которой человек среди прочего в своих действиях руководствуется целью превратить себя, свою жизнь, свою субъективность в произведение, достойное остаться в памяти. «Эстетика существования» — это понятие отсылает к практикам, предполагающим возможность творить себя на некоей арене совместности, или «*со*общительности», как сказал бы Кант. Фуко часто обвиняют (по крайней мере догматические «левые» теоретики) в том, что он в своих поздних работах якобы отказался от левых идей и превратился в апологета сугубо индивидуалистической морали и что он в этом смыкается с неолиберальной мыслью. Но Фуко, даже когда он анализирует практики «заботы о себе», всегда рассматривает их как разделяемые внутри сообщества и имеющие публичную значимость и всегда при этом апеллирует к разделяемому участниками данной культуры пространству сообщности или совместности, иными словами, к «реальности» — которая, впрочем, может коллективным усилием быть изменена. И индивидуальное самосовершенствование (как разделяемая практика) — одно из условий возможности этого изменения и прихода нового.

Так вот, такой тип гувернаментальности, который напоминал бы «заботу о себе» в классической античности (описанную Фуко в последних томах «Истории сексуальности» и, в частности, в «Использовании удовольствий»[36]) — с ее политикой, экономикой, этикой, эротикой, философскими упражнениями и так далее, — но который был бы возможен в нашу эпоху, в наших институциональных условиях и сочетался бы с гуманистическими идеалами социализма, так и не был найден. Хотя апелляции к классической античности в наших культурах (и в социалистической мысли) постоянно присутствуют. И в этом заключается упрек Фуко социализму.

Нововременны*е* формы гувернаментальности, апеллируя к «подлинной» человеческой природе или к традиционным ценностям, лишают субъективность свободы, атомизируют и стандартизируют людей, объединяя их затем в новые тотализирующие ансамбли.

И последняя реплика по поводу российской культурной традиции и ее преемственности в советское время. Я бы не сказал, что мы, как носители этой традиции, обречены нашей историей на то, чтобы неизбежно мыслить себя через государство и быть Акакиями Акакиевичами. Нет. В XVIII веке, когда рождается российский модерн, мы видим конкуренцию разных культурных форм, разных гувернаментальностей. Так, мы видим здесь попытки адаптировать в России *Polizeiwissenschaft* и практики полицейского управления, основанные на принципе *raison d'Etat*, видим также рождение элементов либеральной гувернаментальности, но в то же время видим и появление практик и способов мыслить, характерных для самоуправляющихся модерновых сообществ, с апелляцией к практикам себя и политическим формам, характерным для классической античности. Эти процессы в России являются частью идущих в этот период общеевропейских культурных процессов.

Во второй половине XVIII века в русской культуре интенсивно развиваются оригинальные элементы общеевропейского проекта Просвещения, рождается публичная сфера. А вместе с ней рождаются и практики публичной самореализации через явление себя на арене мира, если говорить возвышенным языком Ханны Арендт. Можно сказать, что в этот период в русской

36 См.: Фуко М. *История сексуальности 2. Использование удовольствий* / Перев. с фр. В. Каплуна. М.: Ад Маргинем Пресс, 2026.

культуре появляется арендтовская форма публичности и одновременно — соответствующий тип субъективности. Мы находим его в текстах российской образованной публики времен Екатерины II и Александра I. Эта культура параллельна культуре административной гувернаментальности — и часто конкурирует с ней. Отсюда и спор между Карамзиным и Сперанским, о котором я уже упоминал. Если спуститься на уровень ниже, как предлагает Галина, мы обнаружим там, кроме прочего, мир придворного общества с его практиками и, в частности, придворными интригами, в которые оказываются вовлечены Карамзин со Сперанским, — но это другая история.

Конкуренцию разных гувернаментальных парадигм, где каждая на протяжении российской истории временами отодвигается в тень, но не уходит окончательно, а дождавшись своего часа, вновь появляется на поверхности культуры, можно обнаружить не только в XVIII–XIX веках, но и позже — в советское время. Как это происходило в 1960-е, когда вдруг, казалось бы, из совершеннейшей культурной пустыни (в отношении свободной публичности прежде всего) рождается богатейшая, динамичная и невероятно энергетичная культура. Все эти споры физиков и лириков; огромные стадионы бесконечно заинтересованной публики, которые собирают поэты; публичные дебаты, в которых, как людям кажется, они мыслью и научным знанием могут решать свою судьбу и судьбу мира здесь и сейчас, на этой арене. И формируют в этих дебатах себя как творцов — одновременно и мира, и самих себя.

Эта публичность вновь заявляет о себе в перестройку — вместе с новым воздухом свободы — и затем уже в 1990-х и в начале 2000-х, когда этот воздух свободы станет важным культурным фактором, несмотря на экономические трудности и социальную аномию. Эта новая-старая гувернаментальность в итоге проиграет тому, что можно назвать «силовой гувернаментальностью», но на уровне бэкграунда важные элементы конкурирующих друг с другом гувернаментальностей по-прежнему присутствуют и будут присутствовать в русской культуре.

А.П.: Я хотел бы кратко пояснить, из какой перспективы я заинтересован в подходе гувернаментальности в целом. Мне интересен чисто философский аспект проблематики. Я занимался темой конечности начиная с ее исходной формы в «Критике чистого разума» Канта (или, точнее, прочитанного Хайдеггером Канта) — через самого Хайдеггера и совершенную им онтологизацию конечности — к Фуко «Слов и вещей». В этой книге Фуко связывает конечность с модерной эпистемой: то, что мы называем человеком, формируется в области научного знания и опыта. После археологического периода Фуко

соединил в своей предметности знание о человеке с властными механизмами реализации этого знания, продолжив, на мой взгляд, двигаться в границах проблематики конечности. Поэтому для меня из всех аспектов гувернаментальности ближе всего вопрос об управленческом производстве или исполнении субъекта. Это проблематика этики и ее структуры (по крайней мере в том виде, в каком мы можем обнаружить ее в «Истории сексуальности»), техник управления, которые позволяют предлагаемые модели субъектов исполнять, и множественности этих моделей. Тут для меня важной является фраза Пола Рабиноу о том, что человек — это существо, которое страдает от обилия дискурсов о себе. Учитывая это, гувернаментальность мне интересна не только историческим разнообразием ее конкретных типов — алгоритмическая, кибернетическая, либеральная и так далее, — но и тем, что она позволяет понять, как знания используются в процессах субъективации. Словом, как конечность познания смыкается с конечностью существования. Я ищу эту смычку между «Словами и вещами», тем, как там понимается модерная эпистема, и более поздними работами Фуко о практиках субъективации. Гувернаментальный подход хорош тем, что здесь позволяет что-то прояснить и понять, прорабатывая философскую проблематику с опорой на эмпирический материал. Спасибо.

И.К.: Серьезный разговор о гувернаментальности только начинается, и я надеюсь, что мы к нему еще не раз вернемся. Всем огромное спасибо за участие!

Июнь 2026 года

Подготовка к публикации Светланы Липатовой

Распад классики, или Забытое искусство Цирцеи

Владислав Дегтярев

Памяти Константина Богданова



Владислав Дегтярев (р. 1974) — культуролог, историк искусства, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств.

Если пойти на поводу свойственной человеку склонности сочинять простые схемы и придавать форму тому, что в принципе ее не имеет — своего рода историко-философской парейдолии, поиску ласточек и китов в облаках, — то историю архитектуры между серединой XVII и серединой XIX века можно рассматривать как процесс распада единой классической антропоморфной формы и реалистически изображенной тектоники. Это простое и логичное утверждение, на основе которого можно выстроить столь же простую и логичную, а главное — однонаправленную, схему развития зодчества. Однако, сказав это, мы тем самым постулируем, что такое единство после античности когда-то существовало — допустим, в архитектуре Возрождения, — и тогда первыми кандидатами на воплощение этого единства оказываются Темпьетто Донато Браманте (Рим, 1502) и Вилла Ротонда Андреа Палладио (Виченца, 1567).

Впрочем, та же логика рассуждения заставляет задать и другой вопрос: если всякое разрушение есть одновременно и созидание чего-то нового, то что же создается при разрушении

этого «простого и целого» мира? И каковы те невысказанные принципы восприятия и воспроизведения телесности, которые ложатся в основание новой архитектуры и, возможно, нового понимания мироздания — того понимания, которое обыкновенно отождествляется с модернизмом?

Для начала выделим примерный набор оппозиций, позволяющих рассматривать архитектурные произведения с точки зрения близости к классической модели телесности, а именно: статика / динамика, человеческий / сверхчеловеческий масштаб, тектоника / атектоничность.

Ренессанс, как и античность, как и разнообразные формы (нео)классицизма, видит в ордерных элементах нечто покоящееся. Антитезу статичному ордеру можно обнаружить в барокко, началом которого считают архитектурные работы Микеланджело. По мнению Вячеслава Локтева, суть революции Микеланджело заключалась в том, что он ввел в архитектурные композиции принцип контрапоста, то есть динамического равновесия, более сложного, чем обычная симметрия. Большая советская энциклопедия определяет контрапост так:

> «Прием изображения фигуры, при котором положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой части (например верхняя часть корпуса показана в повороте, нижняя — фронтально). К. динамизирует ритм фигуры, позволяет передать ее движение или напряжение, не нарушая общего равновесия форм, усиливает трехмерность изображения»[1].

Сказанное не отменяет того, что для Микеланджело соотнесение архитектуры и телесности (даже если контрапост всегда подразумевает диалог между «Я» и «не-Я»)[2] все равно было само собой разумеющимся. Согласно Локтеву, Микеланджело стремился сблизить архитектуру и скульптуру еще сильнее, чем это считали возможным его предшественники, зодчие ренессанса, повышая тем самым степень антропоморфизма архитектурного сооружения[3]. Из этого можно сделать вывод, что даже в архитектуре, создающей разумные и упорядоченные пространственные формы, барокко показывает отношения человека и мира как постоянный конфликт. Барочный ордер — это образ человека, осознавшего свою индивидуальность и вступающего в диалог с мирозданием один на один. Если это и не бесконечный бунт, подобный борьбе Иакова с ангелом (Быт. 32: 24–27), то во всяком случае постоянное самоопределение, постоянный поиск себя и своего места в мире,

1 *Контрапост // Большая советская энциклопедия*. М., 1973. Т. 13. С. 66.
2 Локтев В.И. *Барокко от Микеланджело до Гварини*. М., 2004. С. 15.
3 «Особенность антропоморфизма Микеланджело в том, что он воспринимает и архитектурные формы, и фигуру человека как характерную комбинацию контрапостов» (Там же. С. 32).

успех которого не гарантирован ничем, даже искренностью и талантом.

Конфликт выражается в движении тела, в покое же конфликта нет. Но содержание классики составляет именно покой, если принять за чистую монету высказывание Винкельмана о благородной простоте и спокойном величии древнегреческого искусства. Классическая архитектура конструируется по образу и подобию *статичного* человеческого тела и соразмерна ему, то есть привязана к человеческому масштабу и строится как органическое единство (поэтому применительно к определенным эпохам можно говорить о «теле» здания). Рассуждая об этом, мы привычно ссылаемся на Витрувия, который говорит о колоннах так:

> «Ионийцы при изобретении двух различных видов колонн… подражали в одном из них неукрашенной и голой мужской красоте, а в другом — утонченности женщин, их украшениям и соразмерности»[4].

Даже в архитектуре, создающей разумные и упорядоченные пространственные формы, барокко показывает отношения человека и мира как постоянный конфликт.

Дорическая колонна, как следует из этого свидетельства, подражает героической наготе воина и атлета, а ионическая — нарядной женщине, искусно причесанной и надушенной:

> «На капители [они] поместили волюты, свисающие справа и слева наподобие завитых локонов, и, словно прической, украсили передние части их киматиями и плодовыми гирляндами, а по всему стволу провели каннелюры, спускающиеся подобно складкам на платье замужних женщин»[5].

То есть первая имитирует тело как таковое, а вторая (что оценил бы иронически настроенный эстет и денди, подобный Максу Бирбому)[6] — костюм и прическу. Но для греческой культуры человек, по умолчанию, это мужчина и тело «вообще» — мужское тело. Поэтому обнаженные женщины, даже если это богини, в греческой скульптуре появились довольно поздно.

Если мы попытаемся определить, каковы особенности женского тела с точки зрения мифологического сознания, то придем

4 Витрувий. *Десять книг об архитектуре*. М., 2006. Кн. IV. Гл. 1. С. 75.
5 Там же.
6 Макс Бирбом (1872–1956) — английский писатель (роман «Зулейка Добсон», 1911) и художник-карикатурист. Автор эссе о дендизме и моде.

к выводу, что оно проницаемое и полое (сравнение его с сосудом — общее место), и поэтому, наверное, одежда ему нужнее. Из колонны же как одетого тела легко получается колонна как одежда, надетая на человекоподобный манекен или попросту висящая на вешалке. До определенного момента вопрос о том, что находится внутри этой одежды, не задается: ведь ни классических архитекторов, ни зрителей не смущает, что трофеи, представляющие собой собрание частей доспехов, — это, по сути дела, куски пустых оболочек. Но одежда всегда вызывает другой вопрос — насколько она уместна (что бы под этой уместностью ни понимать — соответствие рангу или ситуации), поэтому самим фактом своего существования она порождает переодевание, маскарад и травестию. В любом случае понять, что скрывается под одеждой, всегда трудно.

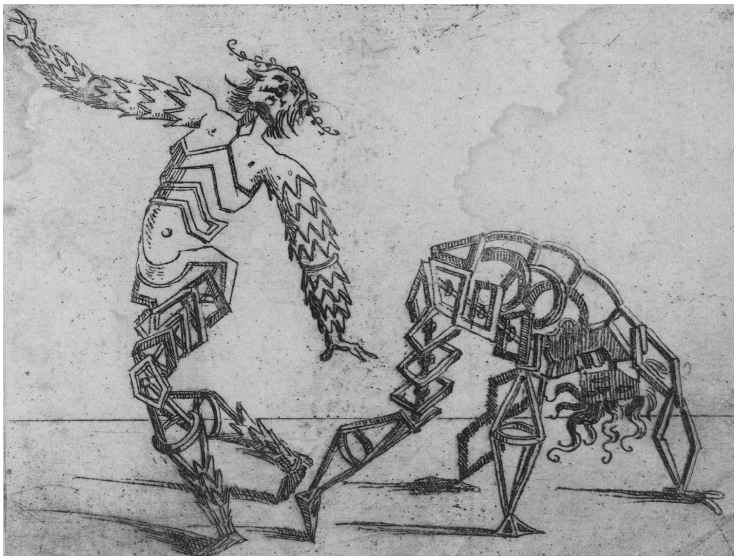
Срывание же одежд (даже метафорическое) — действие, в высшем смысле амбивалентное, парадоксально сочетающее в себе не только эротическое желание и жажду истины, но и стремление прояснить вопрос, ответ на который пугает. Под одеждой можно обнаружить нечто неожиданное — шрамы, протезы или признаки не совсем человеческого происхождения. Так Баудолино, герой одноименного романа Умберто Эко, рассказывая о встрече с обитательницей далеких стран, вспоминал:

> «От живота и до низу Гипатия имела козье тело, ноги оканчивались копытцами цвета слоновой кости. В тот миг я осознал, почему, завешенная юбкой, она ходила не так, как те, кто переставляет ступни, а проплывала, почти почвы не касаясь»[7].

Но и это еще не все, ведь одежда может скрывать не только живую плоть, но и тело манекена или, что еще страшнее, механическое тело автоматона. Это сюжет новеллы Гофмана «Песочный человек», заканчивающейся безумием и самоубийством главного героя. Не исключено и то, что под одеждой скрываются простые геометрические тела, подобные тем, из которых сложены персонажи рисунков флорентийского маньериста Джованни Баттиста Брачелли (1584–1650) (*илл. 1*)[8].

Геометризация человека идет рука об руку с геометризацией архитектуры. Ханс Зедльмайр в «Утрате середины» называет деятельность французских архитекторов-визионеров конца XVIII века — Клода-Николя Леду и Этьена Булле — революцией, сравнимой по своему воздействию на умы с тем, что сделало в архитектуре Современное движение[9]. О «говорящей»

7 Эко У. *Баудолино*. М., 2012. С. 521–522.
8 Иллюстрация из: Bracelli G.B. *Bizzarie di varie Figure*. Livorno, 1624; см. также: Брачелли Д.Б. *Причуды из различных фигур*. М., 2025.
9 Зедльмайр Х. *Утрата середины*. М., 2008. С. 97–98.



Илл. 1. Персонажи Джованни Баттиста Брачелли (1624).

архитектуре Леду и Булле написано много, причем пишущие, как правило, следуют в русле концепции Эмиля Кауфмана, связавшего геометризм французских архитекторов конца *ancien régime* с гладкими плоскостями и простыми формами в работах архитекторов первой половины XX века (прежде всего Ле Корбюзье[10]). Однако деятели Современного движения обосновывали свое пристрастие к «чистым формам» и неприязнь к декору (прежде всего — историзирующему) какими угодно соображениями — экономическими, технологическими, психологическими, — только не эстетическими. Эстетика в их рассуждениях была лишь приложением к технологии или к *Zeitgeist*. У французских же визионеров новые формы были чистой эстетикой, создающейся независимо от практических нужд и свидетельствующей об изменившемся мировоззрении.

Зедльмайр замечает, что Леду и Булле разрывают связь архитектуры с человеческой телесностью (и вообще с природой), превращая здания в абстрактные геометрические фигуры: «Архитектура и органическая природа, которые в барочном гезамткунстверке были полностью сплавлены друг с другом, становятся теперь [в конце XVIII века. — В.Д.] совершенно противоположными друг другу»[11]. Связь и взаимопроникновение архитектуры и природы, установившиеся в пейзажном парке, в проектах французских архитекторов-утопистов конца XVIII века были намеренно разрушены, но не столько через

10 О чем свидетельствует само название книги Кауфмана «От Леду до Корбюзье» (Kaufmann E. *Von Ledoux bis Le Corbusier*. Wien, 1932).

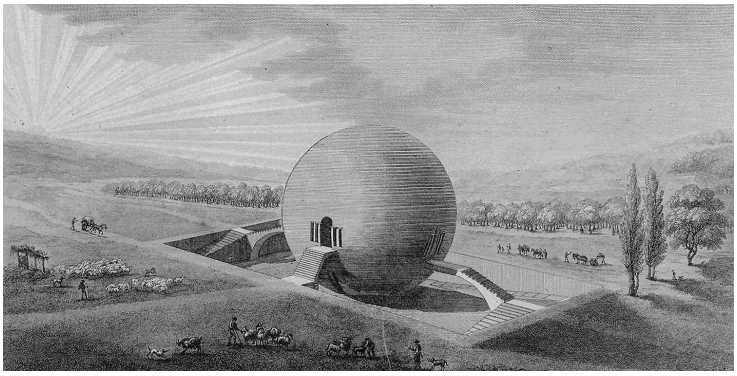
11 Зедльмайр Х. *Указ. соч*. С. 47.

монументализацию архитектурных форм (то есть нарушение масштаба, адресующееся уже не к человеческой телесности, но к телесности великанов, титанов или чудовищ), сколько через подмену телесности элементарной геометрией. Зедльмайр описывает борьбу архитекторов-утопистов с антропоморфной телесностью так:

> «Из архитектуры исчезают “профили”, которые барокко воспринимало по аналогии с органическими образованиями и даже время от времени соотносила с человеческим профилем. Окна и двери без обрамления врезаны прямо в стену. […] Даже если где и удерживаются колонны, то они лишаются органического начала и не соотносятся с человеческим телом. Теперь невозможно, чтобы колонны были представлены пластическими человеческими образами»[12].

Когда тело здания становится геометрическим объемом, ограниченным плоскостями, ордер, сохраняя в архитектуре роль пропорциональной линейки, утрачивает свойства системы. Но системность утрачивает и архитектура в целом. Обычно считают, что элементы ордера к середине XIX века вырождаются во что-то вроде декорации. Но стоило бы сказать, что они деградируют до изображения: как гипсовые пилястры изображают работу конструкции, будучи наложенными на безразличную к ним стену доходного дома XIX века, точно так же, например, на поверхности сферического дома Леду ордерные столбы входной группы, представляющей собой некое подобие серлианы, по-видимому, изображают сохраняющуюся связь с традицией (*илл. 2*). Однако опоры при этом изгибаются: связь с традицией предстает парадоксом.

Леду не предпринимает следующих шагов в этом направлении, но мы, вооружившись зрительным опытом постмодернистских фантазий, можем представить себе все ордерные



Илл. 2. Клод-Николя Леду. Проект дома лесников в парке замка Мопертюи (1780-е).

12 Там же. С. 98.

элементы наложенными на сферу — и так же можем представить себе искажения этих элементов. Такая задача аналогична наложению плоской карты на глобус (для чего ее разрезают в виде лепестков) или, наоборот, преобразованию сферической поверхности земного шара в плоский лист карты.

Ордер моделируется по пропорциям человеческого тела, и сообразно этим пропорциям рассчитываются размеры и пропорции всего здания, а также форма и расположение дверных и оконных проемов, высота потолков и прочее. Будучи совмещенными со сферической поверхностью, все ордерные элементы превращаются в свою противоположность: это уже не утверждение связи с человеческим телом и с человеческим миром, а карикатура на него. Помимо того, что сферическая форма традиционно воспринимается как самая совершенная и как символ мироздания в целом, шар — еще и форма первых человеческих существ в легенде из «Пира» Платона. Изрядно подвыпивший Аристофан рассказывает:

> «Тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост — так же, как мы теперь, — но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед»[13].

Согласно этой легенде, люди, изначально шарообразные, были разделены пополам — и получилось то, что мы собой представляем. Любопытно даже не то, что мы оказались частями первоначального целого, но что первоначальная совершенная человеческая форма с точки зрения греческой эстетики оказывается уродством. У этих людей-шаров с четырьмя ногами, четырьмя руками и двумя головами части тела, помимо конечностей, оказываются неартикулированными. Представить этих людей можно с большим трудом, а задача изобразить их была бы для греческого художника совершенно непосильной.

Сфера совершеннее всех остальных фигур, поэтому любые ее части оказываются намного менее совершенными. Однако геометризованные упорядоченные формы тел греческих статуй совершенно невозможно вообразить достроенными до сферы. Если же ограничиться сугубо архитектурным анализом, то в качестве возможной формы для жилища и вообще для

13 Платон. *Пир*. 189e–190a.

какого-то практически используемого объема сфера оказывается максимально нерациональным решением. Мало того, что сферическое здание исключительно сложно построить, изогнутые поверхности стен даже в сочетании с плоскими горизонтальными перекрытиями исключают какое бы то ни было их функциональное использование. Вспомним эпизод из романа Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот», где главный герой, видимо, из чистого садизма, разрушает семью своего недавно женившегося приятеля, поддерживая его идею снять квартиру в доме с эркером, представляющим собой цилиндрическую башню. Молодожены заказывают мебель, ковры и карнизы для круглого помещения, и это становится началом конца семейной жизни:

> «Все было сделано на заказ и стоило втридорога. Денег жене на наряды уже не хватало, и апартаменты ей разонравились. Супруги сняли обычную, недорогую, с прямоугольными комнатами, квартиру, но круглая мебель к ней не подошла, стала раздражать и оказалась причиной раздоров»[14].

Ордерные элементы, наложенные на сферу, — это сочетание двух различных в своей основе геометрических систем, потому что друг к другу они никак не сводятся. Ордер невозможно редуцировать к правильной элементарной геометрии. Даже если вообразить здание не в виде сферы, а в виде правильного куба, все равно его внутреннее членение, расположение перекрытий, расположение стен, разделяющих помещения каждого этажа, будут подчиняться не пропорциональным соображениям, а чисто функциональным, то есть чисто прагматическим, не учитывающим никакой отвлеченной пропорциональной системы. Куб можно нарезать как угодно и пробить в нем оконные проемы тоже можно как угодно, сообразуясь исключительно с нашим удобством. Примерно так строил свой дом советник Креспель из одноименной новеллы Гофмана:

> «— Расступись! — скомандовал Креспель, поспешил трусцою в дальний конец сада и медленно зашагал оттуда в направлении четырехугольной своей усыпальницы; у самых стен ее он недовольно покачал головою, потрусил в другой конец сада, снова зашагал назад и остановился у стен с тою же недовольною миною. Сия игра повторялась несколько раз в неизменной последовательности, пока он наконец, разогнавшись, не уткнулся заостренным своим носом прямо в стену и не возгласил торжествующе:
>
> — А ну, молодцы, пробивайте дверь, вот тут прямо и пробивайте!
>
> Высоту и ширину двери он задал с точностью самою тщательной, и все было сделано согласно его указаниям. Вошедши наконец

14 Гюисманс Ж.-К. *Наоборот // Три символистских романа*. М., 1995. С. 53.

> в свои хоромы, он с самодовольной усмешкою выслушал мастера, когда тот заметил, что стены вышиною получились в самый раз для добротного двухэтажного дома. Креспель с деловитой раздумчивостью расхаживал вдоль стен, мастер неотступно следовал за ним с молотом и киркой, и стоило Креспелю молвить: "Вот тут окно, шесть на четыре! — А вон там окошечко три на два!" — как тут же кирка и молот шли в ход»[15].

С ордерной архитектурой такое строительство никак не сочетается, зато очень хорошо сочетается с принципом проектирования «изнутри — наружу», унаследованным модернизмом от некоторых версий историзма XIX века.

Психологический механизм, которым пользуется Креспель в своем безумном строительстве, можно назвать «вчувствованием», отождествив его с немецким понятием *Einfuhlung*. В отличие от эмпатии, вчувствование однонаправленно, то есть не предполагает диалогических отношений. Генрих Вёльфлин в «Ренессансе и барокко» (1888) говорит о восприятии архитектурных форм как одушевленных, однако на момент написания книги у него перед глазами была только домодернистская архитектура[16]. Можно ли видеть живые организмы в геометрических фигурах? Вряд ли «Супрематический сказ про два квадрата»[17] способен убедить нас в том, что на этот вопрос возможен утвердительный ответ.

Элементарная геометрия проще, чем геометрия, основанная на человеческом теле, и поэтому она ближе к первоначальному хаосу или по крайней мере к тому не до конца проработанному и оформленному состоянию мира, которое предшествовало нынешнему. В греческой мифологии эта предыдущая эпоха называлось «эрой титанов», и сочетанием бесцельной игры мускулов и странного надрыва она предвосхищала титанизм *art déco*; но если мир под властью титанов, которых сменили олимпийские боги, классические авторы описывали мало и скупо, то воплощения титанизма XX века в литературе и искусстве были весьма разнообразны, вплоть до самого гротескного его проявления — древних богов Лавкрафта. Они, а не мы истинные хозяева этого мира, и геометрия это подчеркивает.

Подробнее о титанизме будет сказано ниже, пока же замечу, что геометризация человеческого тела в скульптуре *art déco* осуществляется *ad hoc*, без какой-то разработанной пропорциональной системы. Эта геометризация приближает человека к его окружению, то есть нивелирует различие между

15 Гофман Э.Т.А. *Советник Креспель* // Он же. *Новеллы*. Л., 1990. С. 216–218.
16 Вёльфлин Г. *Ренессанс и барокко*. СПб., 2004. С. 140–141.
17 Лисицкий Э. *Супрематический сказ про два квадрата*. Берлин, 1922 (второе издание: М., 2018).

человеком и окружающим миром, стирает между ними границу. Согласно Николаю Бердяеву, таков мир «Петербурга» Андрея Белого[18]. И не сходный ли импульс лежит в основе парадоксального стремления архитекторов XX века устранить границы между внутренним пространством здания и внешней средой?

Если выстраивать эволюционную линию в скульптуре от геометризации человеческого тела у Аристида Майоля через Константина Бранкузи с его головами, еще сохраняющими антропоморфные черты, но стремящимися к чистой геометрии, к Генри Муру, в работах которого творящая сила материи вбирает все существующее в круговорот своих форм, получится, что гениальные скульпторы устраняют различие между человеческим и нечеловеческим, то есть природным. Мандельштамовское «останься пеной, Афродита» («Silentium», 1910) говорит о том же: о редукции человека, о растворении личности в безличной стихии, которую — в стремлении ее возвысить — можно называть по-разному (например «первоосновой жизни»), но которая тем не менее остается первичным бульоном и хаосом, полным невоплощенных возможностей.

Но вернемся к архитектуре. Геометрия *par excellence* в какой-то момент начинает осознаваться как противоречащая натуралистическим формам — то есть это не бионика, подражающая структурам живого, а Платоновы тела, простые многогранники, непохожие на сложносоставные тела живых организмов. Это можно связать с научной революцией, с появлением идеализированных (или, что то же самое, редукционистских) моделей природных процессов, приходящих на смену описательности. Такая идеализация была бы невозможна без платонической философии и представления о мире идей, населенном идеальными архетипами всех предметов и сущностей. Каким-то образом этот аналитический подход распространяется и на архитектуру, так что парадигма аббата Марка-Антуана Ложье, согласно которой ордер прямо происходит из обтесанных древесных стволов, срубленных в лесу, сменяется парадигмой Леду, где сообщения передаются на языке простых тел.

В один прекрасный день (возможно, в XVII веке, возможно, чуть раньше) разум европейского человека перестает описывать окружающий мир и начинает конструировать, создавая новые реальности, на чем основывается новоевропейская наука. Галилео Галилей не описывал падение камня с высоты, а создавал абстракцию, не учитывавшую ни форму, ни материал, ни историю падающего тела. Однако об идеальной архитектуре как нематериальной заговорили несколько раньше: так, Джон Ди

18 Бердяев Н.А. *Астральный роман. Размышления по поводу романа Андрея Белого «Петербург» // Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников*. СПб., 2004. С. 411–418.

в предисловии к английскому изданию «Начал» Евклида (1596) связывает это мнение с именем Леона Баттиста Альберти, словно классическая традиция была нематериальной с самого начала, а не только от «Истории архитектуры» Огюста Шуази (1899), где разрезы и фрагменты зданий были изображены в странных ракурсах, словно они парят в воздухе. Фрагмент текста Ди об архитектуре стоит привести полностью, поскольку там прямо говорится о воображаемой геометрии:

> «Все искусство архитектуры заключается в создании плана и в постройке. Сила и смысл плана сводятся к указанию прямого и совершенного пути, как сочетать и соединять линии и углы, которые окаймляют и замыкают лицо здания. Назначение плана состоит в том, чтобы определять зданию и каждой его части точное место и размер, достойный вид и правильный порядок, чтобы на нем основывался весь образ и вид здания. Разумом и воображением мы можем определить всю конструкцию и весь его материальный облик, что мы и делаем, когда намечаем и вычерчиваем углы и линии, определяя их направление и связь. Если это так, то базовый план есть некое выполненное ученым умом определенное и постоянное предписание, задуманное разумом и образованное углами и линиями. Мы благодарим вас, господин Баттиста, за то, что вы так точно представили и описали математическое совершенство вашего искусства, состоящее в определенном умозрительном порядке, размерах, форме, облике и симметрии, отделенных от всех природных, осязаемых вещей»[19].

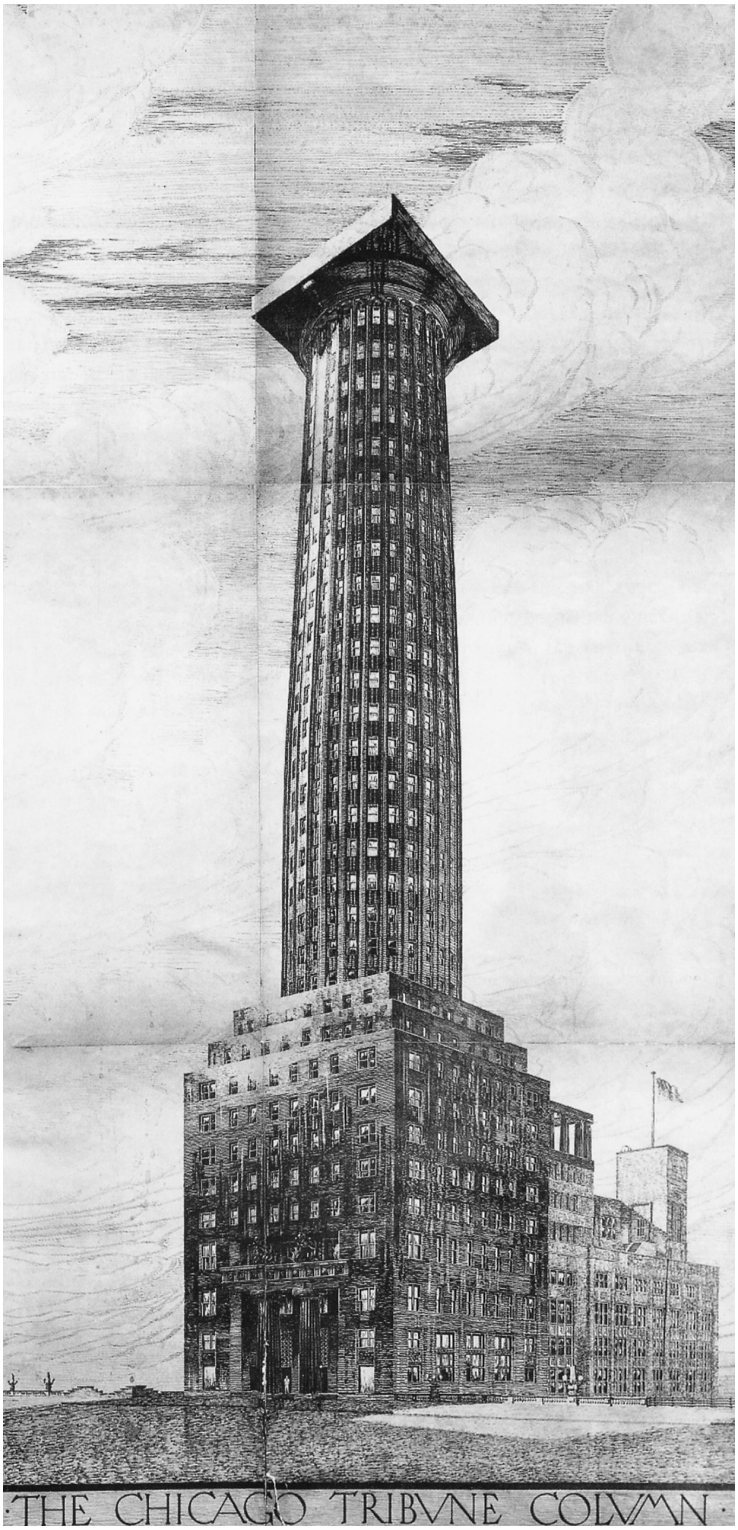
Геометрия начинает осознаваться как противоречащая натуралистическим формам — это не бионика, подражающая структурам живого, а Платоновы тела, непохожие на сложносоставные тела живых организмов.

И все же о том, что вселенная перестала быть антропоморфной, архитектура заявила только через проекты Леду и Булле конца XVIII века. Лаплас устранил бога из естествознания, тем самым отняв у человека право считать себя целью сотворения мира и его мерой. Как здание, так и вселенная в целом строятся по законам геометрии, подразумевающим простоту и схематичность. Колонны, приставленные к кубическим объемам, показывают, что человек перестает быть актором и превращается сперва в пассивного наблюдателя, а затем — в материал истории, в глину в руках скульптора.

19 *Выдержка об архитектуре из математического предисловия Джона Ди к английскому переводу «Начал» Евклида* // Йейтс Ф. *Театр Мира*. М., 2019. С. 412–413.

ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ

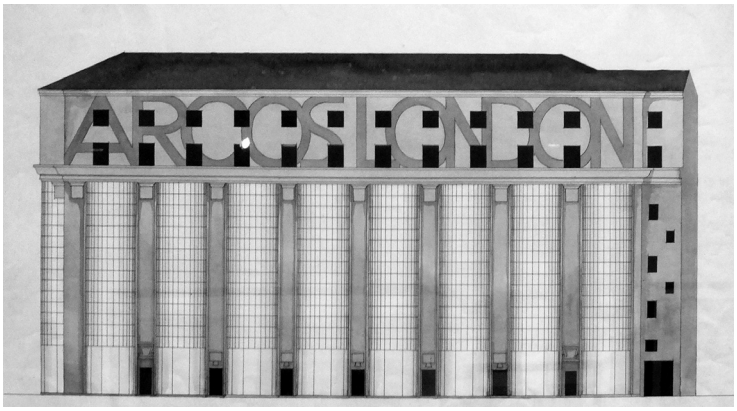
РАСПАД КЛАССИКИ,
ИЛИ ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО
ЦИРЦЕИ



Илл. 3. Адольф Лоос. Конкурсный проект здания редакции газеты «Chicago Tribune» (1922).

Колонны, теряющие свою роль как опоры, становятся ненужной декорацией, бутафорией. Если их можно обыграть, вернув им функциональность и символическую значимость, то в первую очередь так, как это делают Адольф Лоос в проекте здания редакции газеты «Chicago Tribune» (1922, *илл. 3*) и Александр Гегелло в проекте московской штаб-квартиры компании «Аркос» (1924, *илл. 4*): превратив колонну из сплошной опоры в полую фигуру, обладающую функциональным (и легко доступным) объемом. В некоторых случаях, как у Гегелло, этот объем даже делается прозрачным. Другая сторона того же распада колонны как опоры — сквозной для *art déco* мотив каннелированной плоскости, который встречается даже у Константина Мельникова в гараже Госплана (1936, *илл. 5*).

Каннелюры можно снять с колонны и наложить на что угодно, если представить себе эту колонну цилиндром, свернутым из бумаги, словно рулон обоев или ватмана. (Любопытно, что мир в конце XIX века все больше становится миром поверхностей, оболочек — и даже станковая картина перестает быть классическим окном в трехмерную реальность и воспринимается как раскрашенная плоскость). Остается понять, что же



Илл. 4. Александр Гегелло. Конкурсный проект здания штаб-квартиры компании «Аркос» (1924).



Илл. 5. Константин Мельников. Гараж Госплана (1936) (Dmitralex. CC BY-SA 4.0).

каннелированная плоскость представляет собой в метафорическом плане — кожу, содранную с Марсия (или апостола Варфоломея), или платье на вешалке?

Но, если колонна становится полым телом, что означает такое полое тело? В фольклоре скандинавских стран присутствуют соблазнительные лесные существа — хюльдры, выглядящие как прекрасные девушки, но с коровьим хвостом и иногда с дырой в спине, напоминающей дупло в дереве. Полым становится тело, подвергшееся разложению, также функционально полым можно считать анатомируемое тело и его интерпретации — такие, как разборные восковые модели, известные под именем «анатомических Венер», или иллюстрации старинных анатомических трактатов. Наконец, полым телом обладают андроиды и автоматоны (Олимпия в «Песочном человеке» Гофмана). Что же касается метафоры тела как здания, она прошла большой путь от тела — храма духа до «Индустриального дворца» на плакатах Фрица Кана середины 1920-х (*илл. 6*) и сюжетов о путешествии внутри тела[20].

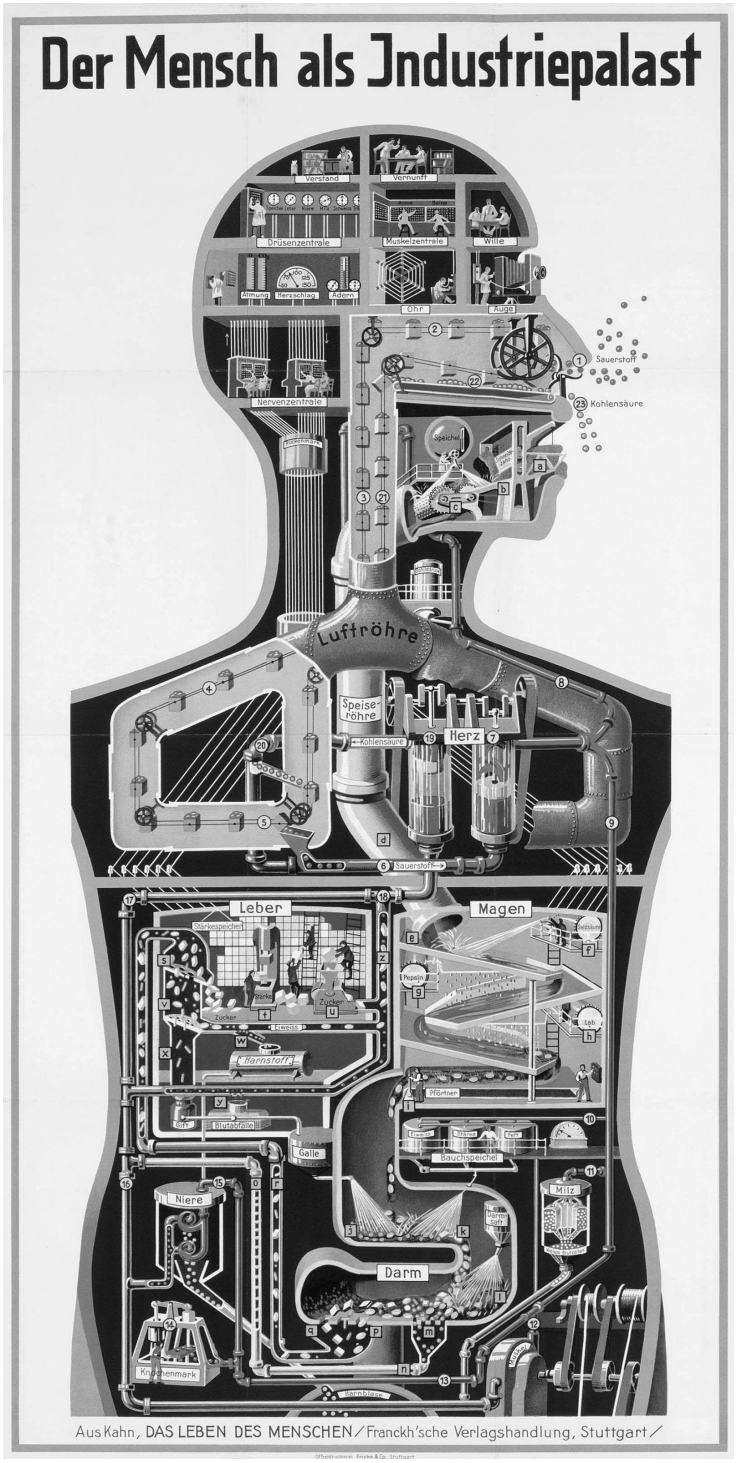
Возвращаясь к Витрувию, будет уместно вспомнить, что он рассказывает историю о Динократе, спроектировавшем статую, уравнивающую в масштабе тело правителя и мироздание[21]. По словам Витрувия, этот греческий архитектор представил Александру Македонскому проект, в котором предлагал «сделать из горы Афон изваяние в виде мужа, в левой руке которого [...он] изобразил большой укрепленный город, а в правой — чашу, вбирающую воду всех находящихся на горе потоков, чтобы из нее она вытекала в море»[22]. Смысл этого проекта и самого поступка архитектора кроется в нарушении масштаба при сохранении внешней антропоморфности.

Динократ в одиночку осуществляет культурную революцию, порывая с отношением к человеку как к мере всех вещей. Он единолично придумал эллинизм, смешав Грецию с Египтом и едва ли не с Индией. Колоссальная статуя Зевса, исполненная Фидием, изображала бога, Динократ же не просто переносит на правителя божественные атрибуты, но делает этого правителя титаном, способным двигать горы. Согласно «Википедии», высота горы Афон — 2033 метра, высота сидящей фигуры Александра, насколько можно судить по гравюре из книги Фишера фон Эрлаха, немногим меньше (*илл. 7*). Эта иллюстрация по смыслу противоположна росписи Зала гигантов из Палаццо Тэ: если у Джулио Романо титаны — олицетворение грубой силы,

20 Ямпольский М. *О близком*. М., 2001. С. 27–44.

21 Обзор и толкование различных вариантов этой истории см.: Oechslin W. *Dinocrates and the Myth of the Megalomaniacal Institution of Architecture* // Farmer B., Louw H. (Eds.). *Companion to Contemporary Architectural Thought. London*; New York, 1993. P. 468–476.

22 Витрувий. *Указ. соч.* С. 36.



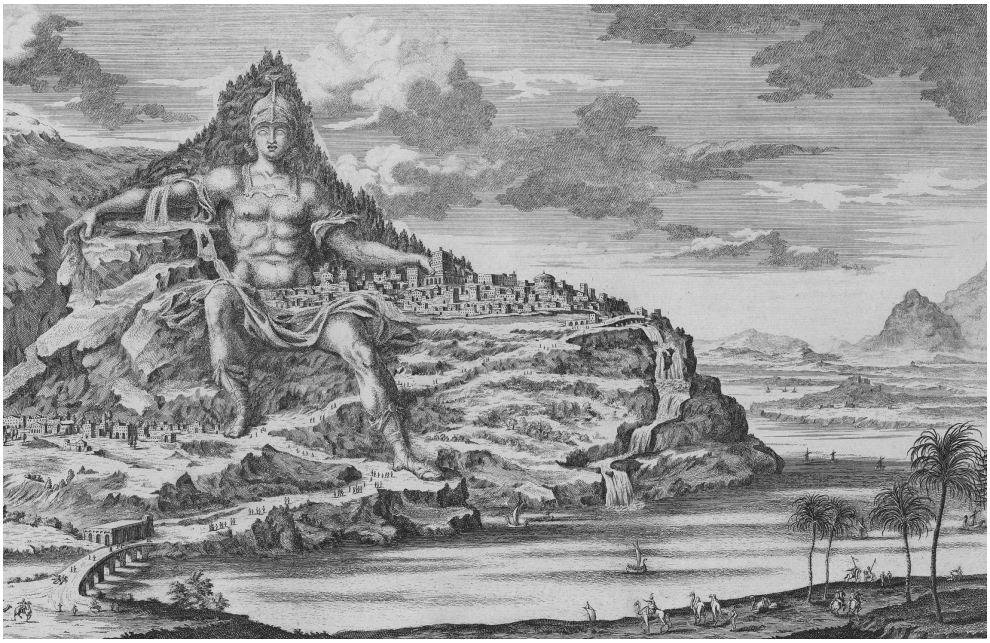
ВЛАДИСЛАВ ДЕГТЯРЕВ

РАСПАД КЛАССИКИ,
ИЛИ ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО
ЦИРЦЕИ

Илл. 6. Фриц Кан.
Человек
как индустриальный
дворец (1926).

то у Динократа (по крайней мере в интерпретации Фишера) Александр становится благим титаном, демиургом, в буквальном смысле создающим город из себя, ведь здания в этом городе, судя по всему, пришлось бы строить, дробя на части ту же гору, из которой предполагалось изваять статую.

Мир словно возникает из разъятого на части тела первочеловека (ср. барочные антропоморфные пейзажи). При этом надо учесть, что европейская (христианская) традиция устанавливает другое соотношение между человеком и миром: микро- и макрокосм, подобные друг другу, но не тождественные, скорее аналогичные. В христианстве человек творится из материала мира, а не наоборот: «И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2:7).



Илл. 7. Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Статуя Александра Великого на горе Афон (1721)[23].

Демиург не только находится вне своего творения, но и должен превышать его по размеру. Город, изображенный Динократом (и Фишером), зависит не только от поставок продовольствия, но и (на символическом уровне) от благосклонности гиганта, который его держит. Город на коленях Александра существует лишь до тех пор, пока Александр находится в покое. Мир живет лишь до тех пор, пока не наскучит своему творцу. Так и город Динократа живет лишь по милости монарха, который в любой момент может встать на ноги и стряхнуть все постройки с колен, словно хлебные крошки. Отчасти сходный

23 Иллюстрация из: Fischer von Erlach J.B. *Entwurff einer historischen Architectur*. Wien, 1721.

топос рыбы (или кита) как острова может существовать лишь потому, что у этой рыбы нет человеческих рук, она может лишь погрузиться в воду, но не убрать непрошеных гостей со своей спины.

Пафос созидания, точнее — переустройства мира, закономерно сопровождается его повторной хаотизацией. Если сотворение мира не завершилось, то законы мироздания установлены не навечно и граница *неправильного* — той части мира, где возможно все, в том числе и чудеса, — все время приближается, поэтому *art déco* ориентируется на пример греческих титанов.

Александр у Динократа как раз и оказывается одним из таких титанов, с видимой легкостью перекраивающих карту мира и весь облик реальности. Но пафос переустройства мира — вещь амбивалентная, заставляющая видеть в монархе воплощение стихии, не ведающей добра и зла, а не мудрого правителя. Так что здесь готова и матрица для романтических сюжетов. Динократ моделирует ситуацию, когда нет разницы между центром и периферией. В традиционном мире правильная жизнь означала повторение одних и тех же действий и все изменения были количественными, а не качественными. Старший сын (хозяин, царь) быстро исчерпывал все превратности судьбы и возвращался домой, чтобы заниматься приращением имущества[24]. Модернизация означает прежде всего непредсказуемость судьбы для всех, но это есть одновременно и отложенная на неопределенный срок инициация. И точно так же стирается граница между правильным и неправильным миром, между «домом и храмом» и диким полем, где возможно и поведение, осуждаемое в приличном обществе, и чудеса.

Если сотворение мира не завершилось, то законы мироздания установлены не навечно и граница той части мира, где возможно все, в том числе и чудеса, все время приближается.

Выразительное описание титанизма, примером которого в Ветхом завете служит история Вавилонской башни, приводит Фридрих Георг Юнгер в «Греческих мифах». Согласно Юнгеру, титанизм представляет собой гибельное перенапряжение всех сил, происходящее от потери человеческого масштаба (то есть меры) или сознательного пренебрежения им и ведущее к мучительному крушению всех замыслов.

24 См.: Михайлин В. *Тропа звериных слов*. М., 2005.

«Человек приобретает титаническую сущность, утрачивая меру в своем волеизъявлении. В титаническом становлении действует могущественная воля. Человек, который пытается путем подражания отобразить в себе эту волю, выходит за собственные пределы; он стремится достичь недостижимого и изнемогает от собственного усилия».

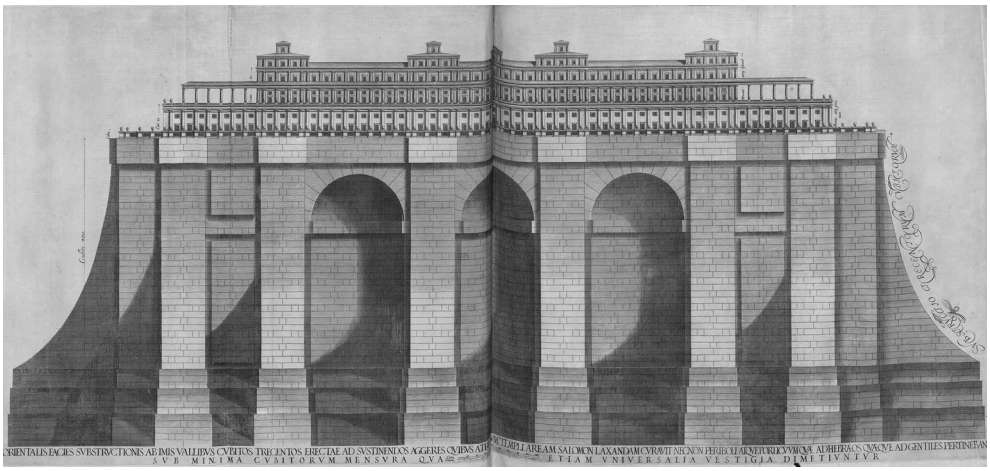
«Титанизм человека заявляет о себе там, где жизнь понимается как только трудовая, а мир — как мир труда; титанизм проявляется в громадных замыслах и усилиях, которые превосходят всякую меру и терпят крах самым жалким образом, когда иссякают последние силы»[25].

В таком случае Динократа можно считать пророком — ведь Александра Великого постигла смерть от перенапряжения, а наследники разделили его державу после долгих междоусобных войн.

Что же касается масштаба, не связанного с масштабом единичного человеческого тела, то здесь важен сюжет, не связанный с Витрувием. Американский историк архитектуры Джозеф Рикверт в книге «О доме Адама в раю»[26] рассуждает о традиции реконструкции храма Соломона как боговдохновенного здания, представляющего собой архетип ордерной постройки, возможно, даже идеальное произведение архитектуры, к которому восходит все то, что было позже — и храм Артемиды в Эфесе, и Парфенон, и Колизей. Основал эту интеллектуальную традицию иезуит Хуан Баттиста Виллалпанда (1552–1608), математик и архитектор, опубликовавший книгу комментариев к пророку Иезекиилю[27]. Можно предположить, что людям того времени ордерная архитектура представлялась столь совершенной, что они если и не отождествляли ее с положениями веры, то во всяком случае надеялись, что древние получили ее непосредственно из рук бога, как Моисей — скрижали. Как пишет Рикверт, «древность евреев, их достоинство как Божьего народа, обширная империя, которую Писание, кажется, им приписывало, большое международное влияние царя Соломона — все это казалось Виллалпанде подтверждающим предположение о том, что классическая архитектура происходила от еврейских образцов, и от Иерусалимского храма в частности»[28]. Однако Рикверт не объясняет, почему реконструкции, следующие в русле этой традиции, показывают Первый храм грандиозным, соразмерным скорее всему мирозданию, нежели отдельному человеку

25 Юнгер Ф.Г. *Греческие мифы*. СПб., 2006. С. 122.
26 Rykwert J. *On Adam's House in Paradise; The Idea of the Primitive Hut in Architectural History*. New York: The Museum of Modern Art, 1972.
27 Реконструкция храма приведена в: Pradus H., Villalpandus I.B. *In Ezechielem explanationes et apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani*. Romae: Illefonsi Ciacconij, 1604. Vol. 2.
28 Rykwert J. *Op. cit*. P. 123.

(*илл. 8*). Конечно, с точки зрения носителя мифологического сознания все изначальное больше и лучше современных аналогов, поскольку находится ближе к источнику всякого творения. Однако мне кажется, что здесь скрыто что-то еще. Остается понять, что именно.



Илл. 8. Хуан Баттиста Виллалпанда. Иерусалимский храм (1604)[29].

Другим примером подобной архитектуры, но таким, которому традиционно приписывается отрицательный смысл, может служить Вавилонская башня. Судя по тому, что никто (кроме средневековых миниатюристов, наверное) не пытался изобразить ее в готических формах, ее тоже нужно отнести к ордерной архитектуре. Она связывает человеческий масштаб с масштабом мироздания: человеческое — это ярусы, а само тело башни — тело божественного правителя. Гравюра из книги Кирхера со стройной Вавилонской башней аналогична по смыслу титульному листу к «Левиафану» Гоббса: политическое тело правителя представляет собой сумму тел его подданных. У Динократа масштаб тел подданных задает город: благодетельный тиран изображен настолько большим, что может передвигать здания, как шахматные фигуры. Вавилонская же башня возносит тело правителя буквально до небес. Аналогия с проектом Адольфа Лооса для здания редакции газеты «Chicago Tribune» очевидна: гигантская дорическая колонна, разбитая на множество этажей, буквально состоит из человеческих тел, которые помещения этих этажей заполняют, то есть тело высшего порядка складывается из других тел как из элементов более низких порядков, которых тоже может быть больше, чем один. Непонятно, впрочем, чье именно тело изображает Лоос — разве что тело газетного магната вроде гражданина Кейна.

29 Иллюстрация из: Pradus H., Villalpandus I.B. *Op. cit.*

Стоит, однако, уточнить, что гигантская статуя, придуманная Динократом, изображает тело монарха складывающимся не из тел подданных, а буквально из их мира — из построек предполагаемого города и всего, что этот город окружает. Александр же, замечая, что городу будет не хватать полей, на которых выращивают хлеб, тем самым предполагает, что это тело окажется ущербным с точки зрения его репродуктивной способности.

Если же мы обратимся к проекту Дворца Советов, разработанному Борисом Иофаном, Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом (1934), то увидим, что он имеет откровенно коллажный характер и уже складывается из деталей и элементов зданий, превращаясь таким образом в метаздание. Этот прием обыгрывается в позднесоветской бумажной архитектуре, в частности, в работе Искандера Галимова «Город-храм» (1988), изображающей руинированный периптер, подобный Парфенону, но только составленный из миниатюрных макетов известных построек[30].

К XX веку любое единство понимается исключительно как механическая система: так ликторская связка, эмблема фашистской партии, представляет собой пучок прутьев, стянутых ремнями, то есть способных держаться вместе лишь за счет внешних конструкций. Таким же насильственным образом осуществляется и формообразование в проектах Леду, когда на шар накладывается ордерный элемент, и построение простых фигур из человеческих тел — традиция, не придуманная режиссерами парадов сталинского времени, но восходящая к празднествам времен Французской революции:

> «Во дни больших государственных праздников монументализация охватывает и человеческие массы. Вокруг алтарного куба собираются в могучие геометрические блоки безжизненно застывшие войска и народ: впервые именно в режиссуре этих государственных действ подчинение человека толпе становится непосредственно доступным взору»[31].

Эта геометризация человеческих масс только симулирует единый порыв и слияние в экстазе, которые на деле осуществляются через подчинение посторонней воле, заключающей толпу в некое подобие футляра. Так, в мире XX века появляется все больше поверхностей и оболочек — внешних скелетов, сдерживающих, стискивающих извне то, что само по себе готово распасться. Не потому ли в культуре *art déco* так много насекомых — от «Превращения» Франца Кафки (1912) до «ассирийских

30 См.: Иконников А.В. *Историзм в архитектуре*. М., 1997. С. 549, 551.
31 Зедльмайр Х. *Указ. соч*. С. 48.

крыльев стрекоз» Осипа Мандельштама («Ветер нам утешенье принес», 1922) и от бабочек Владимира Набокова до песенки о жуке[32] из фильма Надежды Кошеверовой «Золушка» (1947)? И не предвосхищает ли всех упомянутых насекомых (а также, возможно, и что-то еще) странный персонаж из «Этики пыли» Рёскина, являющийся во сне старому Профессору?

> «Вдруг в воздухе раздалось глухое жужжание, […] и рогатый жук со страшными когтями упал у моих ног на песок — удар от его падения был похож на удар молота. Затем жук приподнялся на задние лапы, вытянул когти передних, и они тут же превратились в сильные руки, из которых одна сжимала настоящие железные щипцы, а другая — большой молот. На голове у него был шлем, и не было на нем видно отверстий для глаз. Задние же лапы жука превратились в сильные искривленные ноги со ступнями, изогнутыми вовнутрь. Итак, передо мной, опираясь на молот, стоял карлик в блестящих черных доспехах, более всего напоминавших спинку жука. Я от удивления не мог вымолвить ни слова, он же заговорил, и голос его звучал как заунывный, замирающий вдали звон колокольчика. “Я хочу великую пирамиду Нейт сделать малой, — начал жук, — я низший Птах, я имею власть над огнем. Я могу обессилить все сильное и придать мощь всему слабому. Из большого могу сделать малое, а из малого — большое”»[33].

Шлем, лишенный отверстий для глаз, более всего напоминает символический образ «Dux'а» Муссолини, который создал (и тиражировал) итальянский футурист Эрнесто Микаэллес, работавший под псевдонимом Тайят. В частности, на картине «Великий кормчий» (1939) он изображает Дуче в виде то ли рыцаря в доспехах, то ли робота (*илл. 9*). Но это очень странный рыцарь или робот: его шлем, явно металлический, полностью закрыт, руки явно человеческие, из плоти, а на груди виден гребень кирасы.

Хотя доспехи, как бы хорошо они ни были подогнаны, могут скрывать внутри пустоту — о чем говорится в повести Итало Кальвино «Воображаемый рыцарь», — их форма все-таки указывает на функцию, на предполагаемое наполнение. Форма же сферы не структурирована, ее наполнение аморфно и удерживается вместе только благодаря оболочке. Но, помимо неструктурированных форм, есть еще и другие — те, что структурированы нелогичным или прямо абсурдным образом. Так, крепость на картине Андреа Мантеньи «Святой Себастьян», готовая рухнуть с обрыва, в XX веке превращается в зависший над пропастью дом шпиона Вандамма из фильма Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» (1959).

32 См.: Щебень В. *Орден жука, или О чем поет Золушка Евгения Шварца* (https://gorky.media/context/orden-zhuka-ili-o-chem-poet-zolushka-evgeniya-shvartsa).

33 Рёскин Д. *Этика пыли*. М., 2016. С. 30.



Илл. 9. Тайят. «Великий кормчий» (1939).

Геометризация, то есть отказ от антропоморфной формы в пользу простейших геометрических фигур, ведет к преобладанию оболочки над тем, что можно назвать плотью архитектуры — над массой и толщиной стены. Постройки Леду и в еще большей степени его проекты показывают, как можно упрощать классические формы, подчеркивая в них геометрическое начало. Тем самым колонны и архитравы уподобляются макету: в самом деле, объемные фигуры из учебника геометрии совершенно абстрактны, они по сути дела состоят

из одних поверхностей. Формы Леду в той же степени абстрагированы от материалов с их характеристиками, что и линейные рисунки из «Истории архитектуры» Огюста Шуази, изображающие элементы архитектурных конструкций словно парящими в воздухе. Но и Альберт Шпеер с его огрублением классических архитектурных форм — такой же бутафор, и его грандиозные сооружения, несмотря на их преувеличенные масштабы, производят впечатление театральных декораций из фанеры и холста.

Вместе с тем нарушение масштаба и тектоники приводит к чудовищности. Чудовища же всегда заставляют задуматься о границах и о принципах соединения частей, которые у них (в отличие от нас) всегда оказываются пригнаны друг к другу не слишком плотно, как протез к живому телу. Можно сравнить два определения чудовища — у писательницы XVII века Маргарет Кавендиш и современного культуролога Закии Ханафи, — которые в равной степени вторичны, но почти дословно совпадают.

> «И те существа должны называться чудовищами, у которых больше или меньше частей, чем должно быть; или когда их части не находятся на надлежащем месте. Например, если у человека две головы или четыре ноги, или больше рук, или ступней, или пальцев, или глаз, или носов, или ушей и т. п.; если глаза помещены на груди, на шее или во рту; или уши расположены на груди, или на животе, или на затылке; или если руки находятся там, где ноги, или ноги там, где должны быть руки; или когда рука или нога растут из головы; или если человек в некотором роде подобен зверю»[34].
>
> «Чудовище есть “не человек”, и оно явным образом сигнализирует об этом посредством своего тела: тела с избытком членов или с недостаточным их числом, с членами в неправильных местах. Чудовища уродливы, поскольку де-формированы (*de-formed*), буквально находятся “вне формы”, отклоняясь от красоты обыкновенного телесного устройства. Я знаю, что я человек, потому что я не это. Чудовище служит для того, чтобы утвердить границы человеческого сразу на “нижнем” и на “верхнем” их пределе: полуживотное или полубог, все прочее — чудовищно»[35].

Чудовище — наш посол в неведомом, поскольку оно хотя бы частично понятно, то есть некоторые его части опознаются как известные, как «наши». Остается неясным, насколько принципиально для чудовищ умножение частей тела или недостаточное их количество также делает живое существо чудовищем. И можно ли считать чудовищем, допустим, Океан Соляриса,

34 *Заметка М. Кавендиш «О монстрах» из сборника «Олио мира»* // Шпак Г.В. *Воображаемые миры Маргарет Кавендиш. Наука и утопия в Англии XVII века*. М., 2023. С. 197.

35 Hanafi Z. *The Monster in the Machine: Magic, Medicine and the Marvelous in the Time of Scientific Revolution*. Durham; London, 2000. P. 2.

представляющийся нам нерасчлененной массой, устройство которой мы не знаем?

Чудовище — это то, что подстерегает нас на любых границах, как пространственных, так и метафорических, и, возможно, на метафизических границах тоже. Больше всего чудовищ водится на границах познания. Если географ XVI века, осмыслявший реальность великих географических открытий, рисовал за пределами ойкумены драконов, то мы сейчас воображаем зеленых человечков в далеком космосе. И это не выражение страха и не констатация вполне простительного неведения, а трезвое и разумное указание на то, чего нам следует ожидать от неизведанных областей нашего мира. Назначение чудовищ не в том, чтобы пугать или вызывать отвращение — они показывают нам (и тут можно вспомнить средневековую ложную этимологию, производившую слово *monstrum* как раз от глагола *monstrare* — показывать), что играют по другим правилам. И мы вынуждены узнавать эти правила, чтобы двигаться дальше. Новое и неизвестное страшит, но мы всегда приручаем своих драконов.

Назначение чудовищ не в том, чтобы пугать или вызывать отвращение — они показывают нам, что играют по другим правилам.

Мы создаем чудовищ везде, куда направлено наше познание.

Но чем тогда остров Цирцеи, населенный чудовищами, отличается от острова доктора Моро из одновременного романа Герберта Уэллса? Точнее, когда первое переходит во второе? Мы все знаем, или, точнее, интуитивно чувствуем, что на границах обитаемого мира творение еще не завершилось, поэтому за пределами известных там областей можно найти места, населенные странными существами, нарушающими правила, которые мы считаем обязательными для себя — не только обязательными к исполнению, но и соответствующими устройству известного нам мира. Так что Гюстав Флобер был не совсем точен, когда в «Лексиконе прописных истин» утверждал, будто чудовищ более не существует[36].

Они существуют, сохранились до сих пор, но только в особых местах — на границах обитаемого мира, на далекой периферии, в неизвестных странах, где все неправильно. Драконы, которые там обитают, это не обязательно опасные чудовища, но в любом случае — существа, устроенные непривычным образом и неправильно. Хаос еще не успокоился, части мира еще не заняли

36 Флобер Г. *Лексикон прописных истин* // Он же. *Собрание сочинений*: *В 5 т.* М., 1956. Т. 1. С. 339.

единственно отведенного им места, поэтому, путешествуя в далекие края, мы перемещаемся не только в пространстве, но и во времени, оказываясь там, где творение еще не завершилось (или, в позитивистской трактовке, — там, где Современность еще не наступила). Мы видим то, что когда-то давным-давно происходило в той правильной и успокоившейся сердцевине мира, из которой мы начали свое путешествие (*илл. 10*).



Илл. 10. Гюстав Доре. Спутники Улисса, 1868 год.

Аполлоний Родосский в «Аргонавтике» описывает остров Цирцеи (Кирки), как настоящий «затерянный мир», населенный существами, которые в местах, приближенных к центру мироздания, уже вымерли:

> Звери, нисколько на зверей не похожие хищных,
> Но по общему виду не люди, а странные смеси
> Самых различных тел, толпой шли, овцам подобно,
> Тем, что стадом идут за своим пастухом из загонов.
> Ибо такими впервые из тины земля сотворила
> Их сама и, разные части смешав, укрепила.

Та земля не была сухим еще воздухом сжата.
Влаги еще не лишилась в лучах палящего солнца —
Время одно навело порядок. Создания эти
Так небывалыми и остались[37].

Однако такие маргинальные пространства не капсулы времени, фиксирующие в неизменном виде прошлые ступени эволюции, а островки неупокоенного хаоса, где творение еще не завершилось.

Поэтому, если мы стремимся перестроить мир, если мы верим в прогресс и в свои демиургические способности, получается, что мы впускаем хаос буквально в себя, впускаем хаос в обитаемые области и нарушаем правильность их устройства. Та борьба с традицией, на которой были буквально помешаны все деятели первой половины XX века, ведется именно под знаменами хаоса. Это не только и не столько демиургические способности, сколько титанические силы, несоразмерные этому миру, крушащие все, что имеет неосторожность оказаться у них на пути. Закон и порядок сменяются тиранией и произволом, центр смешивается с периферией, старое с новым — и покой им всем только снится.

2025–2026

37 Аполлоний Родосский. *Аргонавтика*. М., 2021. Кн. IV. С. 165–166.

Невыученные уроки Хасавюрта[1]

Вадим Корольков

Народов малых и больших на свете нет,
А есть любовь к свободе и родной земле.
Тимур Муцураев. *Война*

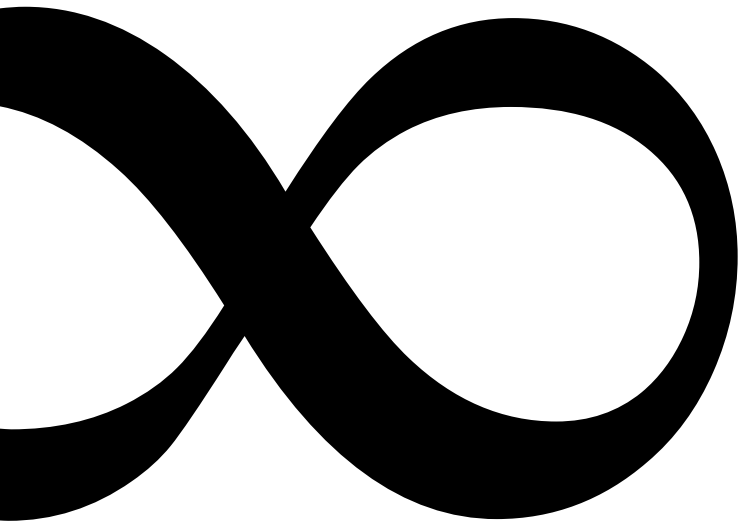


Вадим Владимирович Корольков (р. 1997) — ассистент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, глава Дискуссионного клуба федералистов.

На основании Указа Президента Российской Федерации 2026 год был объявлен Годом единства народов России[2]. В соответствии с этим актом проводится множество тематических мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей и сближение населяющих нашу страну этносов. Трудно переоценить значимость подобных акций для многонационального и многоконфессионального российского общества: ведь обсуждение «национального вопроса» издавна остается для него одним из привычных и трудных занятий. Это объясняется сложным, а подчас и противоречивым отношением россиян к собственной новейшей истории, которая в течение одного только XX столетия явила двойное крушение российской государственности. Причем оба раза линии разломов проходили по этническим границам, порождая ожесточенные межнациональные конфликты. Но если дело обстоит так, то благородная миссия сохранения и укрепления единства народов нашей страны должна включать в себя не только символическое воспроизведение деклараций о равенстве, дружбе и самоопределении, но

1 Автор выражает благодарность своим кавказским друзьям, коллегам и ученикам, без мудрости и гостеприимства которых настоящая статья не была бы написана.

2 См.: *Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 года № 962 «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России»*.



CASE STUDY 1

и обстоятельный разговор о негативных факторах и тенденциях, расшатывавших национальное единство в предшествующие исторические эпохи.

31 августа нынешнего года исполнилось тридцать лет со дня подписания Хасавюртовских соглашений, официально завершивших Первую чеченскую войну (1994–1996). В публицистической, исторической и юридической литературе эти соглашения оценивались как «унизительная капитуляция»[3] и «пропагандистский блеф»[4]. В значительной мере подобные интерпретации базируются на том факте, что с военной точки зрения соглашения предполагали отказ от стратегической инициативы федеральных войск и сдачу отвоеванных ими в тяжелых боях позиций в обмен на приостановление боевых действий, ведущихся против них ичкерийскими сепаратистами[5]. В дальнейшем конфликт предполагалось разрешить в политическом ключе, чего, однако, не случилось: в 1999-м попытка чеченских боевиков распространить свое влияние на Дагестан стала причиной возобновления вооруженного противостояния, которое было названо Второй чеченской войной и официально продлилось до 2009 года.

Имеющаяся историческая фактура позволяет взглянуть на Хасавюртовские соглашения как на проблему российского государственного строительства, причем не только в контексте самих по себе двух чеченских войн, но и в оптике продолжающихся ныне вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. Обращение к более широкому охвату позволит оценить это значимое историческое событие в контексте всей национальной политики постсоветской России, а саму эту политику протестировать на состоятельность и адекватность.

Кавказ в политической истории России

Кавказ принято считать уникальным регионом. Прежде всего особенным его делает географическое расположение между двумя морями, Черным и Каспийским, — это буквально стык Европы и Азии. Кавказский горный хребет, один из крупнейших горных массивов Европы, разделяет проживающие здесь многочисленные этносы глубокими ущельями и высокими скалами. Указанных характеристик вполне достаточно для того, чтобы

3 См.: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская: история вооруженного конфликта.* Минск: Современная школа, 2008. С. 670–671.

4 Трошев Г.Н. *Моя война. Чеченский дневник окопного генерала.* М.: Вагриус, 2004. С. 129.

5 Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании признано Верховным Судом Российской Федерации экстремистской и террористической организацией. См.: *Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2024 года № АКПИ24-898с*.

регион считался стратегически значимым всеми государствами, которые с ним соседствуют. В частности, для России обладание Кавказом означало контроль над естественной преградой, защищающей ее южные границы, а его геополитическая ценность оставалась непреходящей для всех политических режимов, сменявших друг друга в нашей стране в XX веке. Столь же верно и обратное: политические силы, враждебные российскому руководству разных эпох, неизменно были заинтересованы если не в отторжении, то как минимум в дестабилизации кавказской стратегической зоны.

Приступая к анализу, следует в общих чертах описать основные вехи развития кавказского региона в составе российского государства, а также выделить наиболее сложные проблемы межнациональных отношений, которые возникали здесь на различных этапах отечественной истории. Согласно последним исследованиям, на Кавказе проживают более 60 этнических групп; кроме того, здесь представлены многочисленные течения ислама, христианства, иудаизма и езидизма[6]. Подобные социальные характеристики в сочетании с географическими особенностями делают региональное сообщество одним из наиболее сложных в мире. Предельное разнообразие влечет за собой естественный разброс воззрений на одни и те же бытовые, социальные, политические и религиозные вопросы, что служит неизменным основанием для многочисленных конфликтов. Вековое отстаивание собственных интересов, в которое были вовлечены небольшие по численности народы, проживавшие в суровых климатических условиях, исторически предопределили формирование у них духа коллективизма, а также приверженности клановой и религиозной обособленности. Воплощениями последней стали *тейпы*[7] и *тарикаты*[8].

Формирование в подобном контексте более или менее объективной картины исторических или современных событий требует учета максимально широкого круга разнородных источников. Такая задача предполагает строгое размежевание реальности и фольклора, нередко приукрашивающего значимость отдельных личностей или событий или же, напротив,

6 См.: *Итоги изучения Западного Кавказа* (https://web.archive.org/web/20130517011624/http://genofond.ru/default2.aspx?s=0&p=237).

7 Тейп (тайп) представляет собой клановую общность, основой которой вопреки расхожему мнению может быть не только кровное родство, но и проживание на одной территории или общий тип экономической деятельности, традиционный для данного коллектива. Подробнее см.: Натаев С.А. *Чеченские тайпы. Проблемы изучения природы, структуры и исторической динамики социальных институтов чеченцев*. Махачкала: АЛЕФ, 2019.

8 Тарикат является распространенной формой организации приверженцев суфизма — мистического течения в исламе, распространенного на Кавказе. Этим понятием одновременно обозначаются и метод мистического познания, поддерживаемый строгим соблюдением религиозных правил, и собственно суфийское братство. Подробнее см.: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская*… С. 18–20.

оправдывающего действия, которые считаются аморальными. Подобные фольклорные вкрапления встречаются не только в кавказских, но и в русских источниках. Хотя главным мотивом таких искажений обычно выступает любовь к своему народу, они едва ли способствуют конструктивному диалогу, поскольку всегда наталкиваются на аналогичное мифотворчество других народов. Эту оговорку полезно иметь в виду, когда речь идет о любых экскурсах в историю Кавказа.

Горские народы, не имевшие централизованной публичной власти, нельзя было покорить раз и навсегда, как это делалось с иными народами, успевшими обзавестись государственными или протогосударственными институтами.

В отличие от народов Закавказья, этносы Большого Кавказа исторически не имели собственной государственности. Важно, однако, помнить, что у этого кажущегося проявления социально-политической отсталости было вполне логичное объяснение, отсылавшее к сложной географии и проживанию в местах массовых миграций и завоеваний. Кроме того, и это еще более существенно, у отсутствовавшей в кавказском контексте государственности имелась основательная и аутентичная клановая альтернатива. Исторически *племенная демократия* стала способом выживания в крайне враждебных социальных и географических условиях, а верность коллективу и его традициям превратилась в залог преуспевания не только отдельной личности, но и всего социума. Именно в силу сказанного присоединение территорий, отделяющих «основную» Россию от вошедших в ее состав в 1801–1811 годах двух грузинских царств, оказалось исключительно сложным вызовом. Горские народы, не имевшие централизованной публичной власти, нельзя было покорить раз и навсегда, как это делалось с иными народами, успевшими обзавестись государственными или протогосударственными институтами. Поэтому на процедуру их насильственного включения в состав Российской империи, сегодня называемую Кавказской войной, ушло почти полвека (1817–1864).

Средства, которыми располагала империя для разрешения вставшей перед ней проблемы, оказались не слишком адекватными кавказским реалиям, а для разработки новых идей и подходов требовалось время. Задача, однако, представлялась безотлагательной, и поэтому ее решали наиболее доступным и примитивным способом: применением против местного насе-

ления практически неограниченного насилия. Однако, хотя карательные акции 1816–1831 годов ощутимо помогли России укрепиться на Кавказе, они спровоцировали беспрецедентный рост антирусских настроений и возникновение в 1820-х *мюридизма* — исламского военно-религиозного движения суфийского толка, предполагающего беспрекословную покорность послушника (мюрида) духовному руководителю (шейху, имаму), который опирается на мистическую связь с высшими силами. В военном плане мюридизм позволил горцам эффективно перейти к тактике децентрализованной партизанской войны, в ходе которой мюриды соперничали друг с другом в воинской удали. Но в социально-политическом плане это ответвление суфизма вступало в противоречие с традиционным коллективистским укладом жизни местных народов, поскольку отдавало предпочтение нормам религиозного права (шариат) перед нормами обычного права (адаты).

Особую силу мюридизм приобрел в 1834–1859 годах под началом имама Шамиля, сначала возглавившего движение в Дагестане, а затем в Чечне и по всему Северному Кавказу. Имамат Шамиля, в котором радикально настроенная часть племенных элит видела единственный способ защититься от русского натиска, непосредственно угрожал интересам Российской империи: это образование, в частности, делом поддерживало Османскую империю в Крымскую войну (1854–1856). На покорение имамата императорской армией пришелся самый ожесточенный период в истории Кавказской войны. Его успешное завершение было обусловлено прежде всего грамотной военной организацией: русские войска действовали системно, следуя общему плану покорения Восточного Кавказа и слаженно наступая на нескольких направлениях сразу[9]. Горским формированиям нечего было противопоставить передовым достижениям военной науки.

Вместе с тем, завершив операцию, имперская администрация не предприняла тех мер, которые задним числом кажутся напрашивавшимися: не попытавшись модернизировать социально-политические структуры горских народов, она предпочла восстановить уничтоженные Шамилем племенные институты, гарантируя их неприкосновенность. Сохранение жизни самому имаму Шамилю, на десять лет отправленному в ссылку (1859–1869), и отказ от террора в пользу замирения вскоре позволили царским армиям взять под свой контроль и Западный Кавказ — Черкесию, — подведя в 1864 году черту под самой долгой войной в российской истории. Тем не менее значимых изменений в восприятии горских народов имперской

9 Подробнее см.: Фадеев Р.А. *Шестьдесят лет Кавказской войны*. Нижний Новгород: Черная сотня, 2015.

администрацией не произошло: они по-прежнему находились под подозрением, что, во-первых, подтолкнуло массовую миграцию мюридов и их семей в соседнюю Турцию, а во-вторых, регулярно провоцировало восстания в разных частях Кавказа.

Десятилетиями тлевшее недовольство имперской властью вскоре привело к тому, что большинство горских народов в ходе гражданской войны (1917–1922) встало на сторону большевиков. Показательна в этой связи реакция одного из чеченских религиозных деятелей на ультиматум, предъявленный горцам войсками генерала Антона Деникина весной 1919 года:

> «Большевики простые люди, они знают о наших заботах и чаяниях, с ними можно найти общий язык. Мы разделяем их цели, нам они близки. Это то, о чем мечтают простые люди во всех уголках земли. […] Вот уже больше ста лет ваш царь проливает нашу кровь, пытаясь отобрать у нас эту землю. Не им, царем, нам дарованную, а Всевышним для нас определенную! Не найдется, наверное, ни одного чеченца, в дом которого вы не принесли горе. Вам пора понять, что мы, чеченцы, и никто другой, хозяева этой земли. Не мы пришли на вашу землю, выжигая ваши села и разрушая святыни, это вы не даете нам спокойно жить на своей собственной земле»[10].

Кавказцы также задавались вопросами, на которые политическая программа белых генералов не могла дать конструктивного ответа: «Неужто им мало земли своей? Неужто не могут они прокормиться от ее даров? Ведь земли этой у них, говорят, без конца и края»[11].

Но, хотя курс большевиков на построение социализма и решение национального вопроса на руинах «тюрьмы народов» был близок горским социумам, вскоре между ними и новыми властителями обозначились заметные расхождения в том, как лучше достичь этих целей. Советская власть, руководствуясь марксистской догмой, критически воспринимала влияние религии на политические процессы, в то время как ислам, по мнению горцев, оставался единственным средством консолидации их разрозненных сообществ. С одной стороны, использование большевиками формирований мюридов в сражениях гражданской войны с последующим их подавлением в послевоенный период представлялось коммунистам политически резонной комбинацией, но в массовом сознании местных народов она не без оснований воспринималась как предательство. В итоге множественные восстания продолжились в регионе и после установления советской власти. С другой стороны, горские

10 Выступление алима Сугаип-муллы Гойсумова (1837–1932) на совете старейшин 5–8 апреля 1919 года в селе Гойты. Цит. по: Пашаев Н.М. *Кровь и цветы на берегах Хулло*. Грозный: Грозненский рабочий, 2024. С. 32.

11 Там же. С. 67.

народы, и прежде всего чеченцы, с энтузиазмом восприняли массовое изгнание с Северного Кавказа казаков, состоявшееся в 1918–1925 годах, поскольку «зачищенные» станицы передавались им самим[12]. Однако довольно скоро некоторые этнические группы, приветствовавшие репрессии в отношении «кулачества», сами оказались жертвами депортаций.

Сталинский подход к национально-государственному строительству предполагал наличие у этнических групп коллективной субъектности, что означало допущение коллективной ответственности.

В годы Великой Отечественной войны некоторые народы Советского Союза были депортированы советской властью с мест их исторического проживания на основании обвинений в массовом коллаборационизме. С особой жесткостью эти меры применялись в отношении северокавказских народов — карачаевцев, чеченцев, ингушей и балкарцев, — подвергшихся высылке в 1943–1944 годах. Сталинский подход к национально-государственному строительству предполагал наличие у этнических групп коллективной субъектности, что означало допущение коллективной ответственности. Смысл последней состоял в упразднении организованных национальных автономий (лишение политико-правовой субъектности в рамках советской федерации)[13], а также выселение всего «виновного» этноса с территории исторического проживания в районы Сибири и Средней Азии. Согласно некоторым современным оценкам, процесс депортации представлял собой как минимум гуманитарную катастрофу, а как максимум — геноцид[14]. Для репрессированных народов опыт депортации остался серьезной коллективной травмой и в силу этого превратился в неотъемлемую составляющую социальной и политической идентичности. Он не раз напоминал о себе в последующих событиях, а потому заслуживает отдельного внимания.

Прежде всего депортацию нельзя рассматривать как военную необходимость: карачаевцы и балкарцы были депортированы уже *после* освобождения соответствующих территорий от немецко-фашистских захватчиков, а зоны проживания чеченцев

12 Гродненский Н.Н. *Первая чеченская*… С. 65–91.
13 Подробнее см.: Левин И.Д. *Суверенитет*. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 338–340.
14 См.: Мамедов А.Э. *Депортация (высылка) народов Северного Кавказа и Юга РСФСР в 1943–1944 гг.: правовая оценка // Глобализация, цифровизация и правовая карта мира (сборник статей)* / Под ред. А.А. Бакаева, О.А. Глобенко, Т.В. Радченко, И.В. Титовец. Волгоград: Сириус, 2021. С. 133–140.

и ингушей и вовсе никогда не находились под немецкой оккупацией. Далее, такая мера не соответствовала требованию о соразмерности наказания степени общественной опасности преступления, предусмотренного нормами действовавшего на тот момент Уголовного кодекса РСФСР[15]. И, хотя советская правоприменительная практика допускала наказание без вины (так называемое «объективное вменение»), большинство правовых систем современности считают подобные действия незаконными. Более того, несмотря на формализацию, произведенную посредством указа Президиума Верховного Совета СССР, решение о депортации народов было принято лично Иосифом Сталиным по предложению Лаврентия Берии[16], что позволяет характеризовать данную меру как политическую репрессию, а не как уголовное преследование в установленной форме. Таким образом, депортация чеченцев и других народов Северного Кавказа: (а) не имела военной ценности; (б) была мотивирована личными политическими устремлениями ее инициаторов; (в) не соответствовала ни действовавшему уголовному законодательству, ни общеправовым принципам виновности и соразмерности наказания.

С одной стороны, любые, даже наиболее массовые случаи коллаборационизма должны были оцениваться по отдельности вне зависимости от организационной сложности такого рода уголовных процессов — поскольку применение коллективной вины к безвинным лицам напрямую ставит вопрос о справедливости публичной власти, допускающей подобные отклонения. В этой связи попытки некоторых историков — в частности, Николая Гродненского (Малишевского) — усмотреть в депортациях адекватную реакцию властей на массовый коллаборационизм и системный бандитизм, а также максимально снизить масштабы гуманитарной катастрофы, нельзя считать обоснованными[17]. Воспроизводя логику советских вождей, приписывавших достижения отдельным личностям, а ошибки целым народам, упомянутый автор начинает обсуждение оправдываемой им депортации с перечисления подвигов и заслуг отдельных чеченцев и ингушей в ходе Великой Отечественной войны[18]. Подобные пассажи не только сомнительны с этической стороны, но и явно не способствуют поддержанию единства народов современной России, о чем подробнее будет сказано далее.

15 Статья 18 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года гласила: «Меры социальной защиты судебно-исправительного характера определяются для каждого из соучастников в зависимости как от степени их участия в данном преступлении, так и от степени опасности этого преступления и участвовавшего в нем лица».

16 См. подробнее: *Сталинские депортации. 1928–1953* / Под общ. ред. А.Н. Яковлева. М.: МФД; Материк, 2005.

17 Некоторые чеченские деятели, напротив, чрезмерно завышают указанные масштабы.

18 Подробнее см.: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская*… С. 92–129.

С другой стороны, нельзя не подвергнуть критике нередко встречающегося среди представителей ранее репрессированных народов мнения о том, что сама советская власть, допустившая подобные деяния, была «преступной». Довольно скоро депортации были осуждены самой коммунистической партией: выступая на XX съезде КПСС, ее генеральный секретарь Никита Хрущев признал их «вопиющими действиями», которые «никак не диктовались военными соображениями» и представляли собой «грубое попрание основных ленинских принципов национальной политики Советского государства»[19]. С 1956 года началась массовая реабилитация репрессированных народов, в ходе которой произошло не только их возвращение на места прежнего проживания, но и состоялось восстановление Чечено-Ингушской автономной республики (1957). Этот процесс был непростым: помимо интересов репатриантов (собственно чеченцев и ингушей), нужно было учитывать интересы проживавших к тому моменту на территории Грозненской области русских переселенцев, которые с санкции союзного центра заняли места изгнанных сообществ[20]. И, хотя возвращение спецпереселенцев изрядно затянулось, трудно спорить с тем, что советская власть, прежде допустившая беззаконие, сама предприняла шаги, без которых реальное восстановление репрессированных в правах было бы невозможно. На излете советской эпохи в силу вступили законы, установившие порядок реабилитации жертв политических репрессий[21], что также подтверждает официальное осуждение российскими властями депортаций — одновременно исключая альтернативные оценки этих трагических событий.

Полураспад и подразумеваемые полномочия

Горестная история региона, наложившись на стагнацию СССР, сформировала питательную среду для крупнейшего в современной истории России внутреннего вооруженного конфликта. Многочисленные войны и карательные акции, включая массовую депортацию 1940-х, лишь усилили противопоставление «своих» «чужим» — причем в глазах не только вайнахов[22], еще

19 При этом первый секретарь иронично добавляет: «Украинцы избежали этой участи потому, что их слишком много и некуда было выселить. А то он бы и их выселил» (Хрущев Н.С. *О культе личности и его последствиях* [1956] // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 151–152).

20 Подробнее см.: *Восстановление Чечено-Ингушской АССР (1953–1962). Сборник документов и материалов: В 2 т.* Нальчик: Печатный двор, 2013–2016.

21 См.: *Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов»; Закон РСФСР от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий»*.

22 Примечательно, что эндоэтноним «вайнах» (самоназвание чеченцев и ингушей) в переводе на русский означает «свой народ», «свои люди».

крепче сплотившихся вокруг традиционных племенных институтов, но и других кавказских этносов. Прибытие спецпереселенцев на историческую родину сопровождалось эксцессами, наиболее заметными и массовыми из которых стали грозненские беспорядки 1958 года, а также митинг 1973-го, на котором ингуши впервые гласно потребовали вернуть Пригородный район, переданный после их депортации Южной Осетии. Между тем возвращение домой спровоцировало в вайнахских социумах взрывной рост рождаемости, на который советское плановое хозяйство не смогло ответить адекватно: в Чечено-Ингушской АССР не было ни социальной инфраструктуры, ни рабочих мест, посредством которых можно было бы удовлетворять потребности все более многочисленной молодежи, особенно сельской. В условиях системного кризиса советской власти, который был констатирован Михаилом Горбачевым в 1985 году, социальный взрыв в республике оставался лишь вопросом времени.

Последовательность событий, приведших к Первой чеченской войне, представлена с самых разных ракурсов в целом ряде фундаментальных трудов[23]. Поэтому здесь целесообразнее сосредоточиться на их общей логике, вписав в нее некоторые закономерности распада советской государственности. Отмена монополии КПСС на власть, состоявшаяся 14 марта 1990 года в условиях затяжного социально-экономического кризиса, привела к стремительному нарастанию в союзном целом центробежных тенденций. В рамках так называемого «парада суверенитетов» о своей независимости объявляли не только входившие в СССР союзные республики[24], но и автономные республики в их составе. Так, к моменту принятия Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской АССР 27 ноября 1990 года аналогичные акты уже были провозглашены в Северо-Осетинской, Карельской, Коми, Татарской, Удмуртской, Якутской-Саха, Бурятской, Башкирской, Калмыцкой, Марийской, Чувашской, Горно-Алтайской автономных республиках. Суверенизация повсеместно сопровождалась межнациональными столкновениями. Пытаясь справиться с ними, союзная власть неоднократно применяла силу (в 1989 году — в Тбилиси, а 1990-м — в Баку, Душанбе, Оше), после чего всячески пыталась снять с себя ответственность за это.

В начале 1991 года, когда по аналогичному сценарию начали развиваться события в Вильнюсе и Риге, командующий дисло-

23 См., в частности: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская…* С. 159–291; Норин Е.А. *Чеченская война: В 2 т.* Нижний Новгород: Черная сотня, 2025. Т. 1. С. 24–74.

24 К моменту принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР аналогичные документы уже были приняты Эстонией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. В течение последовавшего за этим года о суверенитете объявили все остальные союзные республики.

цированными в Прибалтике советскими частями дальней авиации в эфире эстонского радио заявил: если Кремль направит в регион войска для силового наведения порядка, он не пропустит их через вверенное ему воздушное пространство. Этим командиром был генерал-майор советских военно-воздушных сил Джохар Дудаев — первый этнический чеченец, дослужившийся до генеральского звания в Советской армии и накануне своего выхода в отставку избранный председателем исполнительного комитета Чеченского национального съезда. Пережив в детстве депортацию, Дудаев, который стал кадровым военным и получил боевой опыт в Афганистане, пользовался среди соплеменников внушительным авторитетом. Будучи политически неискушенным человеком, он предлагал если и не отделение Чечни от России или СССР, то во всяком случае предоставление ей привилегированного положения в составе обновленной федерации. В этих мечтаниях его вдохновлял опыт прибалтийских республик.

К тому времени уже четко обозначился конфликт между руководством Союза ССР и РСФСР. Желая привлечь на свою сторону национальные автономии, Михаил Горбачев и Борис Ельцин наперебой предлагали им все более обширные привилегии. Если первый — в надежде подточить легитимность российских властей — договаривался с автономиями о предоставлении им полномочий, аналогичных компетенциям союзных республик, то второй, рассчитывая на дополнительную поддержку и нарушая при этом союзное законодательство, одобрил переименование Чечено-Ингушской АССР в Чечено-Ингушскую ССР (24 мая 1991 года)[25]. Когда по инициативе Горбачева стартовал Новоогаревский процесс, призванный реорганизовать советскую федерацию на новых началах, Чечено-Ингушская Республика наряду с остальными автономиями в составе России стала полноправной его участницей. Августовский путч ГКЧП положил конец не только Новоогаревскому процессу, но и советской власти в Чечено-Ингушетии. Уже в сентябре 1991 года Чеченский национальный съезд, реорганизованный в Общенациональный конгресс чеченского народа во главе с Дудаевым, произвел в республике государственный переворот, силой распустив Верховный Совет Чечено-Ингушской ССР и захватив все стратегические объекты. 27 октября того же года прошел референдум о независимости Чеченской Республики — Нохчийчоь (ЧРН) — и прямые выборы ее президента,

25 Положительное отношение российского руководства к Дудаеву отражалось в том, что в Москве его называли «Ельциным в горах» (см.: Батурин Ю.М. и др. *Эпоха Ельцина: очерки политической истории*. М.: Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2011. С. 584). Эта фатальная политическая ошибка тридцать лет спустя звучит как остроумный постмодернистский каламбур, фактическую основу которого, однако, невозможно опровергнуть.

победителем на которых с внушительным перевесом оказался Дудаев. И, хотя плебисцит был признан российскими властями недействительным, а Президент РСФСР попытался ввести на территории Чечни чрезвычайное положение, эти меры были заблокированы союзным руководством. Именно с санкции Горбачева, прямой или косвенной, 1 ноября 1991 года Дудаев, реализуя решения, принятые на референдуме, издал указ, который провозглашал ЧРН суверенным государством.

Распад Союза ССР положил начало управленческой неразберихе, в которой многие должностные лица сплошь и рядом принимали решения, руководствуясь личными интересами, а не общим благом. Зимой 1991–1992 годов, пока в Вискулях и Алма-Ате констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности», а в Москве происходил передел власти, в Грозном и его окрестностях массово разворовывались армейские склады, где хранилось вооружение. Коррупция на всех уровнях, пронизавшая вооруженные силы уходящего СССР, вселила в сознание сторонников ЧРН ощущение полной безнаказанности. Их ядро составляла безработная, необразованная и малообеспеченная сельская молодежь. Руководствуясь примитивно-стереотипными представлениями о межнациональных отношениях и особой роли чеченского народа в мировой истории, а также упрощенно трактуемыми постулатами исламской религии, эти маргиналы начали консолидироваться в вооруженные группы. Политическая культура чеченского народа, подразумевающая верность коллегиальным формам принятия решений и мнению старейшин, исключает чинопочитание и единоначалие даже при наличии в сообществе чрезвычайно авторитетного лица. Поэтому, хотя Дудаев и стал главой республики, с усилением вооруженных групп его позиции делались все более номинальными. Тем не менее на первых этапах он пользовался невероятной популярностью, особенно после того, как заявил: «Если отделимся от России, у каждого в доме будет золотой краник с верблюжьим молоком!» — очевидно, не до конца понимая, как работает нефтяной рынок и каковы перспективы Чечни на нем[26].

31 марта 1992 года в Москве состоялось подписание Федеративного договора, которое властями ЧРН было проигнорировано. Примечательно, что именно в тот день в Грозном имела место попытка государственного переворота: антидудаевская оппозиция организовала митинг и захватила телецентр, однако никаких дальнейших действий по свержению нелегитимного

26 Цит. по: Брейнингер О. *Социотехническое воображаемое терпит крах: Чечня как «второй Кувейт»* // Неприкосновенный запас. 2019. № 4(126). С. 170.

режима предпринято не было. Подоплека этой акции до сих пор остается неясной (возможно, речь шла о провокации), но, как бы то ни было, она обострила политическую обстановку в республике. Вскоре под нажимом новых властей Чечню покинули остатки советских воинских формирований, которые оставили в республике все вооружение, включая тяжелое. Распад политических и силовых структур, интенсивно шедший в центре, развязал руки местным бандитским формированиям, которые стали фактическими хозяевами Чечни; именно совокупность совершенных ими злодеяний позволила характеризовать республику как «криминальный режим»[27]. В наиболее тяжелом положении оказались проживавшие здесь этнические русские, не имевшие ни институциональной, ни тейповой поддержки. Бесконечные нападения, которым подвергались славянские этнические меньшинства, привели к массовому отъезду из Чечни квалифицированных кадров, в результате чего довольно скоро большинство промышленных предприятий республики прекратило функционировать.

Федерация, от которой фактически отпала часть территории, долгое время не предпринимала реальных шагов, нацеленных на возвращение мятежной республики в свое политико-правовое пространство. Федеральный центр был более озабочен развернувшейся тогда приватизацией государственных предприятий и усугублявшимися на этом фоне противоречиями между исполнительной и законодательной властями: российскому руководству эти сюжеты казались важнее территориальной целостности. Кстати, нынешняя ельцинская апологетика подтверждает сказанное:

> «Сегодня, когда мы знаем о последствиях, можно сказать, что действия федерального Центра были абсолютно неэффективными. Но тогда чеченская проблема находилась на политической периферии, поскольку в самой Москве происходили более глобальные процессы — создание новой российской государственности, подготовка к экономическим и политическим реформам. Поэтому и средства решения чеченского кризиса были далеко не адекватными. Все свелось к фрагментарным контактам с руководством Чечни, что не сдвинуло с места ни одну из составлявших кризис проблем»[28].

К тому моменту все предприятия в Чечне уже были захвачены, но из-за кадрового голода управлялись из рук вон плохо, что подталкивало новую власть к поиску новаторских источников доходов. Вскоре таковые были найдены: ими стали

27 О преступлениях, совершенных в республике в то время, подробнее см.: *Криминальный режим. Чечня. 1991–1995 годы.* М.: Кодекс; Объединенная редакция МВД РФ, 1995.

28 *Эпоха Ельцина…* С. 591.

похищения людей ради получения выкупа, разбойные нападениях на железнодорожные составы, самовольные «врезки» в нефтепроводы, приобщение к международному наркотрафику. Существование бандитской вольницы в стратегической точке Северного Кавказа было выгодно и многим российским олигархам, напрямую сотрудничавшим с властными группировками ЧРН ради проведения сомнительных или незаконных сделок. В этой связи обращает на себя внимание по сей день сохраняющееся расхождение взглядов на одни и те же криминальные деяния той поры. Если, скажем, с российской точки зрения подложные банковские авизо 1990-х оставались сугубо чеченским изобретением[29], то в чеченской перспективе они виделись проявлением коррупционного загнивания федерального центра:

> «Московская, в большинстве случаев банковская, мафия использовала чеченцев как грубую рабочую силу. Им доставались крохи с барского стола. 90% похищенных из государственного бюджета средств с использованием фальшивых авизо переправлялись в западные банки, а большая часть — в Израиль»[30].

Аналогичным образом разнятся мнения и относительно того, получала ли отпавшая Чечня средства из федерального бюджета: русские источники утверждают, что деньги, необходимые для содержания разогнанных дудаевцами государственных органов, поступали чуть ли не до конца 1994 года, а чеченские наблюдатели, напротив, настаивают, что с самого провозглашения «независимости» Москва бросила республику на произвол судьбы, несмотря на то, что та всегда была дотационной и переживала глубочайший кризис. Не исключено, что взаимные и стереотипные обвинения, имеющие выраженный националистический подтекст, нужны были для отвлечения внимания от масштабных (и организуемых сразу с двух сторон) хищений, реальный ущерб от которых, по современным оценкам, варьируется от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов США[31]. При этом достоверно известно, что поставки сибирской нефти, направляемой для переработки Грозненскому нефтеперерабатывающему заводу, продолжались вплоть до начала Первой чеченской войны, а проходивший через республику трубопровод продолжительное время оставался важным источником финансирования ЧРН.

Вялым переговорам, шедшим между российским и чеченским руководством на протяжении всего рассматриваемого периода,

29 Норин Е.А. *Указ. соч.* Т. 1. С. 63.
30 Умалатов У.Б. *Чечня глазами чеченца.* М.: Единство, 2001. С. 28.
31 Норин Е.А. *Указ. соч.* Т. 1. С. 63–64.

было присуще отсутствие сколько-нибудь внятных планов урегулирования кризиса. Кроме того, диалогу мешали и личные обиды. 17 апреля 1993 года «Ельцин в горах» произвел государственный переворот, силой распустив республиканские кабинет министров, парламент и конституционный суд. Той же весной Ельцин в Москве вступил в жесткое противостояние с Верховным Советом и Съездом народных депутатов Российской Федерации, завершившееся через полгода применением силы — то есть тем же способом, какой ранее использовал Дудаев[32]. 7 октября чеченский руководитель направил в Кремль поздравительную телеграмму, в которой одобрил «действия по подавлению коммунистического фашистского режима в Москве»[33]. Не придававший особого значения предыдущим попыткам Дудаева выйти на контакт для решения накопившихся проблем[34], Ельцин почему-то почувствовал себя задетым именно этим посланием. Категорически отказавшись от личной встречи с мятежным чеченским лидером, он в своем послании к Федеральному Собранию 1994 года заявил, что основой для урегулирования отношений между Центром и Чечней «могут стать проведение в Чечне свободных демократических выборов и переговоры по разграничению полномочий с федеральной властью»[35]. Тем самым Дудаеву было однозначно отказано в легитимности, что не могло не способствовать дальнейшему обострению ситуации. Впрочем, высказывается также и мнение о том, что личные переговоры двух президентов навряд ли смогли бы изменить положение дел к лучшему, поскольку «стороны уже вошли в клинч»[36].

К 1994 году на территории Чечни уже более двенадцати месяцев происходили столкновения между сторонниками Дудаева и оппозицией, вооружившейся после разгона парламента. Дестабилизация смежных субъектов федерации и расползание сферы преступной активности чеченских бандформирований подталкивали федеральные власти к силовому выходу из кризиса. Правда, принимаемые в этой связи шаги оставались половинчатыми и непродуманными. Сначала было решено тайно укрепить антидудаевскую оппозицию российским воинским контингентом, оснащенным тяжелым вооружением, чтобы снести «криминальный режим» руками соплеменников. Когда же эта попытка в ноябре 1994 года с треском провалилась, то попавшие в плен российские солдаты и офицеры,

32 Подробнее об этом столкновении см. мою статью: Корольков В.В. *О родовой травме российской правовой системы* // Неприкосновенный запас. 2023. № 5(151). С. 6–18.
33 Гродненский Н.Н. *Первая чеченская*… С. 261.
34 См.: *Эпоха Ельцина*… С. 591–594.
35 Там же. С. 594.
36 Норин Е.А. *Указ. соч.* Т. 1. С. 78–79.

сражавшиеся в обмундировании без опознавательных знаков, были фактически брошены федеральной властью. Отрицая вмешательство федеральных сил во внутреннюю междоусобицу в Чечне, министр обороны Павел Грачев высказался афористично: «Если бы воевала российская армия, то по крайней мере одним парашютно-десантным полком можно было бы в течение двух часов решить все вопросы»[37]. К сожалению, за этими словами крылась катастрофическая недооценка противника и политической обстановки в целом. Наспех подготовленный штурм Грозного в конце декабря 1994 года оказался еще более провальными по той же причине.

Юридической основой этих военных мероприятий стали указы Президента Российской Федерации, направленные на «восстановление конституционной законности и правопорядка» и «пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований» на территории Чеченской Республики. Указы предусматривали мероприятия по разоружению незаконных вооруженных формирований при помощи «всех имеющихся у государства средств», включая бронетехнику и фронтовую авиацию, — причем без введения режима чрезвычайного или военного положения. В силовой спецоперации Кремлю виделась не реальная военная кампания, а скорее короткая акция психологического устрашения, которая, по мнению Ельцина, не требовала особых формальностей. Однако после начала ожесточенных боев многие начали задумываться о законности проводимых военных мероприятий. В частности, президентские указы стали предметом рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации в так называемом «чеченском деле», инициированном группой парламентариев[38]. Орган конституционного контроля не усмотрел в формулировке «все имеющиеся у государства средства» никакой неопределенности; кроме того, он признал за Президентом России право издавать подобные акты в целях защиты суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности в соответствии с частью 2 статьи 80 Конституции страны. Неоправданно отождествляя функции органа власти и его конкретные полномочия, Конституционный Суд признал легальной концепцию «*подразумеваемых полномочий*» Президента Российской Федерации, согласно которой глава

37 Цит. по: Там же. С. 94–95.

38 См.: *Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 года № 10-П*. Среди инициаторов обращения в Конституционный Суд были председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Исса Костоев, его заместитель Елена Мизулина, депутаты Государственной Думы Герман Карелин и Анатолий Лукьянов, а также бывший министр юстиции Российской Федерации Юрий Калмыков, ушедший со своего поста в знак протеста против ввода войск в Чечню.

государства *de facto* может принимать любые решения, оправдывая их заботой об общем благе. Упомянутые юридические детали приобретают крайне важное значение в контексте предшествующего анализа: ведь Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации, не сделавший ничего для предотвращения конфликта или даже, напротив, сделавший многое для того, чтобы конфликт вызрел, а потом перерос в затяжное и ожесточенное противостояние, тем не менее получил карт-бланш на любые будущие мероприятия, направленные, *по его субъективному мнению*, на защиту конституционного строя.

От восстановления конституционной законности ко второй войне

Среди ключевых факторов, из-за которых жестокость в ходе Первой чеченской войны приняла особенные масштабы, были демонизация и расчеловечивание противника, практиковавшиеся по обе стороны фронта. Нагнетая мобилизационные настроения, стороны постоянно апеллировали к трагической истории межнациональных отношений на Кавказе, изобиловавшей поводами для недоверия и неприязни. Перед российскими военнослужащими ставилась цель «восстановления конституционной законности и правопорядка» в республике, поднявшей мятеж, а все лица, не согласные с силовым натиском, приравнивались к бандитам. Это вписывалось в традиционный еще для царской эпохи нарратив «приобщения горских варваров к цивилизации», а также косвенно оправдывало советские этнические депортации. В свою очередь чеченские власти делали упор на «самоопределение», «антиколониализм», «отражение имперской агрессии». В республике насаждался собственный, альтернативный, нарратив, представлявший горцев маленьким и свободолюбивым народом, защищающим свои традиции и святыни от «вечного угнетателя», по отношению к которому любая жестокость объявлялась оправданной. Совокупный итог был вполне ожидаемым: с одной стороны, восстанавливающая конституционную законность и правопорядок армия неоднократно нарушала конвенциональные нормы ведения войны, зачастую не делая разницы между комбатантами и мирными жителями[39], а с другой

39 См., например, отчет комиссии Государственной Думы о трагедии, имевшей место при штурме федеральными войсками села Самашки 7 апреля 1995 года: *Комиссия Говорухина. Кто развязал кровавый конфликт в Чечне? Правда, которую не хотят знать. Свидетельства, заключения, документы, собранные Комиссией под председательством С.С. Говорухина.* М.: Лавента, 1995. С. 106–134.

стороны, некоторые чеченские интеллектуалы пытались оправдывать террористические акции в гражданском тылу, героизируя преступников[40].

Несмотря на крайнюю дезорганизацию и огромные потери, российские войска смогли захватить Грозный и большинство других стратегических пунктов. Но сопротивление ичкерийских сепаратистов этим не было сломлено — наоборот, они развернули против федеральных сил изощренную партизанскую войну, поддерживаемую значительной частью местного населения. Наряду с ней средством достижения военно-политических целей стали террористические атаки чеченских боевиков, направленные против мирного населения в Буденновске (1995) и Кизляре (1996). И если в установлении политического контроля над мятежным регионом российские власти и предпринимали слабые попытки системных решений — например, в декабре 1995 года главой республики был избран пророссийский оппозиционер Доку Завгаев, который, впрочем, не пользовался большой популярностью среди соотечественников, — то к эффективному противодействию терактам в глубоком тылу они совсем не были готовы. Кроме того, в России приближались президентские выборы, в ходе подготовки к которым Ельцину очень хотелось предъявить избирателям какие-то успехи либо на фронте, либо в переговорах. Между тем периодически заключаемые краткосрочные перемирия вместо дипломатических прорывов заканчивались лишь перегруппировкой сепаратистов, а убийство Дудаева 17 апреля 1996 года так и не обеспечило федеральным силам желаемой стратегической инициативы. Уставшее от войны российское общество в напряжении ждало радикальных сдвигов.

{Уставшее от войны российское общество в напряжении ждало радикальных сдвигов.

На этом фоне в начале июня, за неделю до президентских выборов, между противоборствующими сторонами был запущен переговорный процесс. Вскоре после своей победы на выборах Ельцин назначил генерал-лейтенанта Александра Лебедя, поддержавшего его кандидатуру во втором туре голосования, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации с неограниченными полномочиями по части переговоров

40 См. показательный, хотя и более поздний, пример: Умалатов У.Б. *Указ. соч.* С. 57–59. [См. также критику этой работы за предвзятость и необъективность: Синельников М. *«Чечня глазами чеченца». И не чеченца* // KM.RU. 2010. 20 августа (www.km.ru/news/chechnya_glazami_chechencza_i_ne). — *Примеч. ред.*]

с сепаратистами. Между тем ранее заключаемые соглашения о прекращении огня то и дело нарушались каждой из сторон, а в августе 1996 года боевики и вовсе прорвались в Грозный, практически захватив разрушенную столицу республики. Амбициозные планы генерала Лебедя предполагали заключение стабильного перемирия, которое не только предоставило бы российским силам возможность среднесрочного восстановления, но и принесло бы ему лично лавры миротворца, желательные для продолжения политической карьеры. Однако в погоне за званием человека, остановившего войну, генерал повторил ошибки тех, по чьей вине она началась: решая конъюнктурные и личные задачи, переговорщик не считался ни с текущей обстановкой, ни с общим социально-политическим контекстом чеченского конфликта.

Хасавюрт расположен на равнине, раскинувшейся у подножия гор на границе Чечни и Дагестана; через него проходит один из основных транспортных маршрутов, соединяющих две республики. Национальный состав населения Хасавюрта всегда отражал его приграничное состояние: большинство проживающих здесь — этнические чеченцы, однако местные дагестанские этносы делают Хасавюрт многонациональным торговым городом, причудливо сочетающим характеры и обыкновения разных народов. Именно здесь после продолжительных переговоров 31 августа 1996 года было обнародовано совместное заявление секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя, его заместителя Сергея Харламова, начальника главного штаба вооруженных сил ЧРИ Аслана Масхадова и вице-президента ЧРИ Сайд-Хасана Абумуслимова, в котором объявлялось, что конфронтация завершена миром. К заявлению прилагались «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой»[41], которые предусматривали не только прекращение боевых действий, но и вывод вооруженных сил Российской Федерации из Чечни, а также продолжение переговоров по урегулированию политических отношений.

Современные оценки Хасавюртовского соглашения решительно расходятся: если российские консерваторы-государственники видят в них предательство армии, беззастенчиво осуществленное циничными политиками[42], то апологеты Ичкерии, напротив, называют договоренности «хитрой уловкой», позволившей Москве подготовиться к возмездию за якобы понесенное ею военное поражение[43]. Однако если

41 См.: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская*… С. 675–676.
42 Там же. С. 623–672.
43 Умалатов У.Б. *Указ. соч.* С. 111.

руководствоваться более реалистичными оценками, то Хасавюртовский мир стоило бы назвать долгожданной передышкой, цена которой вместе с тем совершенно не соотносилась с наличной ситуацией на фронте, характеризовавшейся очевидной стратегической инициативой российских войск, пусть даже дурно управляемых и основательно потрепанных[44]. Неумение Москвы конвертировать военное преобладание в политический успех стало главной проблемой завершения Первой чеченской войны.

Оценки Хасавюртовского соглашения решительно расходятся: если российские консерваторы-государственники видят в них предательство армии, то апологеты Ичкерии называют договоренности «хитрой уловкой», позволившей Москве подготовиться к возмездию за якобы понесенное ею военное поражение.

Половинчатость и непоследовательность Хасавюртовских соглашений проявились довольно скоро. Хотя они и привели к символическому успеху в виде Договора о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, подписанному непосредственно Ельциным и Масхадовым 12 мая 1997 года[45], перспективы воплощения обоих соглашений в жизнь оставались туманными. Главным препятствием была невозможность полной интеграции в состав России территории республики, кишащей вооруженными отрядами, что предопределяло неминуемое возобновление конфликта. Касаясь конкретных причин, обусловивших новую вспышку боевых действий в 1999 году, комментаторы нередко обращаются к теориям заговора: если ичкерийские апологеты называют главным поводом «бесконечные провокации» российских спецслужб[46], то авторы-державники видят их в происках зарубежных врагов России[47]. Представляется, однако, что у Второй чеченской войны были

44 Норин Е.А. *Указ. соч.* Т. 1. С. 305–310.
45 См. подробнее: Гродненский Н.Н. *Первая чеченская…* С. 677–701.
46 Умалатов У.Б. *Указ. соч.* С. 111–113. Примечательно, что главный минус сепаратистского руководства в межвоенный период этот автор усматривает в следующем: «Обладая большими финансовыми средствами, они не без гордости демонстрировали свое богатство. Строили и приобретали громадные особняки для себя и своих многочисленных жен. Все это происходило на фоне неслыханного обнищания народа и почти стопроцентной безработицы» (с. 115).
47 См.: Гродненский Н.Н. *Вторая чеченская: история вооруженного конфликта.* М.: Русская панорама, 2010. С. 10–121.

прежде всего объективные причины: по-прежнему оставались нерешенными политико-правовые проблемы, связанные со статусом Чечни; на территории республики действовало множество неподконтрольных сепаратистскому руководству вооруженных формирований; народное хозяйство и социальная инфраструктура были уничтожены; легальные рабочие места отсутствовали[48]. Катастрофические условия жизни способствовали популярности среди молодежи исламского фундаментализма, предлагавшего простые ответы на сложные вопросы и в силу этого в межвоенный период укрепившего свое влияние не только в Чечне, но по всему Северному Кавказу. Экспансия исламистского экстремизма в соседние с Чечней регионы, и прежде всего в Дагестан, послужила непосредственным поводом к возобновлению боевых действий.

Вторая чеченская война оказалась еще более жестокой, масштабной и катастрофичной во многом из-за того, что теперь на первый план вместо национальных вышли религиозные мотивы. Ход этого конфликта и его политические последствия для современной России нуждаются в отдельном рассмотрении, однако его связь с Первой чеченской войной и половинчатым характером Хасавюртовских соглашений неоспорима. Немаловажно и то, что главное различие двух кампаний проявилось скорее в военном, а не в политическом отношении. Российская армия научилась воевать в горных условиях, освоила эффективные методики антипартизанских операций, а федеральные правоохранительные органы начали более или менее действенно противостоять терроризму. Однако политические цели федерального Центра, как и программа организации мирной жизни в разрушенной республике, оставались непроясненными. Победив в силовом противостоянии, федеральные власти содействовали формальному признанию Чеченской Республики субъектом Российской Федерации на основании республиканской Конституции, принятой на референдуме 23 марта 2003 года. Однако серьезнейшей проблемой оставался вопиющий дефицит новых идей и подходов, касавшихся дальнейшего развития региона в частности и организации межнациональных отношений в целом. Первая кампания, спорный Хасавюртовский мир, возобновление войны и перспективы умиротворения беспокойного региона осмыслялись по большей части в рамках архаичных дореволюционных или советских нарративов, что никак не способствовало утверждению консенсусных трактовок недавней чеченской истории.

48 Подробнее см.: Норин Е.А. *Указ. соч.* Т. 2. С. 11–65.

Феодализм постмодерна

Хасавюртовские соглашения и успех второй кампании открыли для России возможность не только переосмыслить отношения с Чечней и другими народами Северного Кавказа, но и переформатировать всю национальную политику. Закулисная сделка, «обнуляющая» военные достижения и людские потери, позволяла — в принципе — придать дальнейшему развитию государственности бóльшую осмысленность и побудить политические элиты относиться к своим обязательствам перед обществом более ответственно. Однако работа над ошибками не состоялась: Вторая чеченская война отличалась от первой лишь в организационном и военно-тактическом отношении, но не в сделанных по ее итогам политических выводах. Более того, сами причины, породившие на Северном Кавказе сепаратизм, терроризм, исламизм, в значительной степени остались в неприкосновенности: чеченские события продолжали восприниматься властями как «особые» проблемы «особого» региона, а не как проявление системных сбоев в одной из самых самобытных частей России.

Санкционировав начало боевых действий без введения военного или чрезвычайного положения и ограничившись форматом «специальной» или «антитеррористической» операции — то есть, пренебрегая минимальными правовыми гарантиями для мирного населения, — федеральные власти смогли достичь поставленных ими военных целей. Однако сомнительная юридическая форма играла на руку многочисленным на тот момент критикам чеченской войны, которые утверждали: в обновляемой России продолжает торжествовать право сильного. Превращение Чечни в криминальную вольницу действительно не оставляло места для иных вариантов, кроме силового сценария, но согласие с этим тезисом не снимает вопросов ни об истоках этого явления, ни о дальнейшем поведении федеральных властей на освобожденных территориях. Две войны привели не только к тяжелейшей гуманитарной катастрофе в Чечне и соседних субъектах федерации, но и едва ли не полностью стерли — вместе с народным хозяйством республики — инфраструктуру управления чеченским социумом. В итоге возвращение Чечни в рамки российского политико-правового пространства оказывалось не восстановлением, а возведением с нуля; причем, руководствуясь правом победителя, российские власти могли бы — при наличии у них такого желания — учреждать и поддерживать посредством государственного принуждения любые новые институции, включая самые передовые и прогрессивные. Но, как это ни прозаично, вместо осмысленной институциональной композиции у российского государства

рубежа 1990–2000-х, переустраивающего Чечню, получился лишь миниатюрный автопортрет. Избрав путь наименьшего сопротивления и пропустив исправление системных ошибок, в бывшей мятежной республике сконструировали режим, в деталях воспроизводящий федеральный аналог. Характерными чертами обоих стали: (а) клановость; (б) гипертрофированная роль силовиков; (в) непрозрачность выработки важнейших решений; (г) непреодолимые затруднения с обеспечением преемственности власти.

Возвращение Чечни в рамки российского политико-правового пространства оказывалось не восстановлением, а возведением с нуля; причем российские власти могли бы учреждать и поддерживать посредством государственного принуждения любые новые институции, включая самые передовые и прогрессивные.

Подобные системы, появившиеся тогда не только на Кавказе, но и в других частях страны, которые образно можно назвать неофеодальными, предполагают обширную автономию вассала, присягающего лично сюзерену и обеспечивающего безопасность в закрепленных за ним владениях. Взамен вассалу выделяется рента, которая необходима для поддержания (или восстановления) «феода», а также оплаты услуг местных силовиков и бюрократов. Подобно тому, как нефтяная рента 2000-х породила ощутимое социальное расслоение на общероссийском уровне, военная рента на Северном Кавказе произвела тот же эффект в региональном сообществе. В свою очередь сходство политических и экономических паттернов в атмосфере идеологического вакуума обусловливает бытование как в стране в целом, так и в отдельных ее частях схожих социальных практик и стереотипов. Их общей основой становится сведение многоцветия общественно-политической жизни к дуальным противопоставлениям. Внешне все это очень напоминает явление, в годы перестройки названное «оборонным сознанием».

Его повторное появление на свет имеет свое объяснение. Переживание последствий крушения СССР стало для отдельных сегментов постсоветского мира — к числу таковых принадлежит и Россия — серьезнейшим вызовом, в ходе противостояния которому куски бывшего государства, не умея обзавестись свежими воодушевляющими, оптимистичными и преобразующими нарративами, продолжают вынужденно генерировать

старые матрицы смыслов, несмотря на то, что в пригодность последних мало кто верит. Например, в попытке успокоить себя хотя бы видимостью контроля современный российский социум на разных своих этажах одобряет и поддерживает бесконечный реестр ограничений, в последнее время включающий даже контроль над использованием родного языка. В этой связи удивительно конгруэнтными выглядят, с одной стороны, новые требования федерального законодательства,

Подобно тому, как нефтяная рента 2000-х породила ощутимое социальное расслоение на общероссийском уровне, военная рента на Северном Кавказе произвела тот же эффект в региональном сообществе.

запрещающие использовать иностранные слова в коммерческой сфере[49], а с другой стороны, неформальный отказ от использования русского языка в бытовом общении, которого сегодня стараются придерживаться в некоторых чеченских семьях. Упомянутые и иные паллиативные меры, внедряемые ради защиты идентичности, которая якобы находится под угрозой внешних сил, призваны лишь заглушить страх защищающихся перед неустойчивостью и зыбкостью собственного места в историческом процессе. Однако помочь людям вырваться за пределы коллективного стресса и перебороть его подобные «предохранители» не в состоянии. Уместно заметить, что по мере того, как бюджетные средства, выделяемые на нужды социальных паллиативов, иссякают, подавляемая коллективная боль возвращается с новой силой.

Преодолению перечисленных тенденций и вытекающего из них партикуляризма могло бы способствовать формирование общегражданской российской идентичности — сложного нарратива, которым Кремль пытался в первой четверти XXI века заменить концепцию «советского народа», активно, но, как позже выяснилось, безуспешно продвигавшуюся коммунистическим государством на исходе своей эпохи. Общие рамки этого процесса были заданы Стратегией государственной национальной политики (2012)[50], однако появление в 2020 году в Конституции Российской Федерации понятия *государствообразующего народа* (часть 2 статьи 68) обозначило очередную перетасовку

49 См.: *Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*.

50 См.: *Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»*.

приоритетов. Новая редакция Стратегии государственной национальной политики (2025)[51] содержит набор паллиативных гарантий, адресованных по большей части самому крупному этносу страны. После знакомства с этим документом может возникнуть впечатление, будто потенциальная угроза потерять собственную идентичность беспокоит только русских и не затрагивает прочие российские этносы. Кроме того, подобная установка, как представляется, не может не ставить под вопрос конституционное позиционирование «многонационального народа России», который провозглашен Основным законом Российской Федерации «сувереном» (часть 1 статьи 3)[52]. В целом же продекларированные новшества в сфере национальной политики едва ли поспособствуют формированию институциональной основы, которая позволила бы системно решать вопросы, интересующие многочисленные этнические сообщества современной России.

Год единства народов России задает хорошие рамки для публичного обсуждения этой непростой темы. В тридцатую годовщину заключения Хасавюртовских соглашений, помимо вопросов, связанных с умением политических деятелей недавнего прошлого вести переговоры или использовать военные

Переживание последствий крушения СССР стало для отдельных сегментов постсоветского мира серьезнейшим вызовом, в ходе противостояния которому куски бывшего государства, не умея обзавестись свежими преобразующими нарративами, продолжают вынужденно генерировать старые матрицы смыслов.

успехи, уместно было бы поднять и более глубокий пласт, поразмышляв об ошибках, из-за которых ужасные конфликты, подобные чеченскому, вообще оказываются возможными. Все это создало бы условия для осознания того, что главной ценностью российской национальной политики является *единство в многообразии*. И тогда ее главным ориентиром могла бы стать новая, предпринимаемая на более продвинутом уровне попытка сформировать *общероссийскую гражданскую идентичность*. Интересно, что, в отличие от дореволюционной

51 См.: *Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2025 года № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года»*.

52 Подробнее см.: *Конституция России после реформы 2020 года: проблемный комментарий* / Под ред. А.Н. Медушевского. М.: Центр конституционных исследований, 2025. С. 129–131.

империи Романовых, культивировавшей экспансию под эгидой «русскости» в интересах немногочисленного привилегированного сословия, или советского «государства наций», пренебрегавшего ролью и значимостью самой многочисленной этнической группы во имя иллюзий утопического проекта, современная Российская Федерация может организоваться на принципиально иных началах. Общероссийская гражданская идентичность позволит этническим русским, образно говоря, «поделиться державностью» со всеми этносами, которые будут воспринимать по-настоящему «своими» не только небольшие части российской территории, осваиваемые их предками, но и всю Россию с ее культурным капиталом, природными богатствами, историческим наследием, ценностными и прагматическими претензиями. Это в свою очередь позволило бы реализовать единую политику памяти, которая признает общенациональными не только достижения и победы, но и трагедии отдельных народов — включая завоевания, репрессии, депортации. В рамках переосмысления общенационального прошлого репрессивные практики минувших времен будут трактоваться как акции, уязвившие и травмировавшие не только отдельные этнические группы, а *всю* ныне единую гражданскую нацию.

Принятие подобных событий в качестве трагических страниц *общей истории* — чрезвычайно важный шаг. Сплоченность многонационального российского народа можно упрочить не только за счет установления новых памятных дат, создания мемориалов, поддержки исторических изысканий, но и посредством законодательного недопущения радикальных интерпретаций памятных вех — идет ли речь об оправдании депортаций или же одобрении «партизанщины». В том же ключе можно культивировать политику памяти и касательно некоторых недавних событий, которые надо, наконец, признать гражданскими конфликтами, обусловленными разложением и распадом СССР. Реализация как этих, так и множества иных решений, шагов и мер повлечет за собой системные и институциональные результаты — а потому она неизмеримо важнее любых кадровых перестановок в структурах власти, пересмотров принципов фискального федерализма или каких-то других сиюминутных мероприятий.

* * *

Краткое осмысление опыта двух чеченских войн приводит к выводу, что их причиной послужила безответственность советских, российских и чеченских политических элит, позволивших себе увлечься конъюнктурными и корыстными

целями, поставив их выше общественного блага. Платой за их ошибки стали десятки тысяч жизней военных и гражданских лиц, разрушение экономики региона с миллионным населением и коллективная травма нескольких поколений. Опыт Хасавюртовских соглашений свидетельствует, что заключение худого мира обязательно повлечет за собой еще более худую войну, особенно в том случае, если мирный договор не содержит в себе позитивной программы по устранению первопричин конфликта. Превознося мнимую бесконфликтность, каковой просто не бывает в природе, или продвигая старинные нарративы, непригодные в условиях нынешнего дня, невозможно заложить фундамент никакого более или менее прочного будущего. А невыученные уроки истории способны напоминать о себе снова, снова и снова, ставя под сомнение гражданский мир и межнациональную гармонию.

Сергей
Финогин

Эгосенситивность и общество риска



Сергей Сергеевич Финогин (р. 1990) — философ, независимый исследователь, куратор школы «Горизонт событий».

В России за минувший год продажи антидепрессантов увеличились на 36% в сравнении с предыдущим, а число россиян, обращавшихся к психологу, выросло на 18%[1]. На фоне военных действий и экономической нестабильности усиливаются тенденции, куда менее заметные и обсуждаемые, но которые тем не менее могли внести существенный вклад в эту статистику. Об этих тенденциях и о формируемой ими субъективности и пойдет речь в этом тексте.

Общество риска и чистые отношения

Мы применим к происходящему сегодня в России социологическую модель, предложенную Энтони Гидденсом в книге «Самость и общество в эпоху позднего модерна», которая позволяет установить системную связь между повседневностью и большими историческими процессами. Гидденс говорит, что мы живем в «высокой современности», которая отличается от прошлых стадий модерности тем, что ей присущ непредсказуемый дина-

1 См.: *Продажи антидепрессантов в России в 2025 году выросли на 36%.* 2026. 25 января (www.retail.ru/news/prodazhi-antidepressantov-v-rossii-v-2025-godu-vyrosli-na-36-25-yanvarya-2026-273748/); *Eqiva: жители России стали чаще обращаться к психологам и психиатрам*. 2025. 30 апреля (www.osnmedia.ru/obshhestvo/eqiva-zhiteli-rossii-stali-chashhe-obrashhatsya-k-psihologam-i-psihiatram/).

мизм[2], проявляющийся через ряд могущественных и абстрактных систем — экономика, политика, медицинские институты. Мы можем потерять работу, цены могут вырасти, здоровье — преподнести сюрпризы, а политические элиты — сильно осложнить жизнь. Мы почти не влияем на абстрактные системы, они для нас когнитивно непрозрачны — действующие в них силы множественны и хаотичны, — но от них зависит как благополучие и счастье, так и самого разного рода проблемы, в том числе необратимые. Поэтому, пишет Гидденс, хроническое чувство риска, которого мы уже не замечаем, ибо не помним, как было иначе, — базовая характеристика жизни в современном обществе.

Способы адаптации к рискам главным образом сводятся к обретению онтологической безопасности, которую призваны предоставлять дружба и романтические отношения (еще деньги, но это отдельная тема). Однако с этими отношениями все не так просто. Гидденс называет их нынешнюю модель «чистыми отношениями». Эта чистота — результат освобождения частной жизни от давления традиционных институтов, религии и политики; в современности отношения не закрепляются внешними институтами, а держатся на взаимном интересе и верности людей, в них вступивших. В этих условиях люди обладают беспрецедентной свободой выбирать друзей, партнеров, круги общения, и многим успешно удается заводить и удерживать долгосрочные связи. Тем не менее рост уровня депрессии и тревожности в нашем обществе косвенно указывает на то, что с частными отношениями есть системные проблемы.

Отчуждение и его презентации

Для иллюстрации данных проблем приведем популярные мемы — несмотря на то, что сама эта тема выглядит легкомысленной, в западной академии это целое направление исследований. Анализируя мемы, социологи пытаются выяснить, что происходит с обществом и какие до сих пор не артикулированные феномены в нем присутствуют. Последуем их примеру — ниже приводятся несколько мемов, получивших в последнее время сотни лайков в соцсетях.

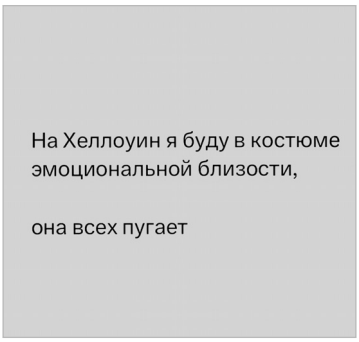
В этих мемах сквозит одна интенция: близость воспринимается как провал, тяжелый труд или угроза. Мемы фиксируют страх перед близостью на уровне повседневной иронии, а кино-хоррор переводит ту же интуицию в регистр телесного ужаса в фильме «Одно целое» («Together», 2025). В нем рассказывается о молодой паре, которая поехала на пикник в лес, уснула в пещере

2 Giddens A. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 17.

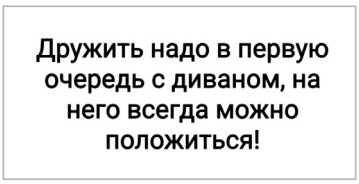












и, проснувшись, обнаружила, что их периодически неодолимо тянет друг к другу, а после секса они не могут разъединиться. Романтическая близость здесь изображена в сценах, провоцирующих у зрителя страх и отвращение; когда кожа прилепляется к коже партнера, как липкая слизь, и не может отделиться; касания, секс и поцелуи через спецэффекты подаются в виде отвратительной смеси тел. Партнеры пребывают в ужасе и пытаются найти решение. При этом в фильме нет ни насилия, ни абьюза, ни мужской токсичности, никакого «новоэтического» беспокойства — близость сама по себе предъявляется как хоррор, едва ли подобное появлялось в кино когда-либо.

Определение эгосенситивности

Если в прошлые эпохи дружба и романтические отношения регулировались институтом брака и культурными кодами, то теперь эти отношения почти полностью делегированы субъ-



ективности (причем если у романтической любви есть два поддерживающих ее института — загс и церковь, то у дружбы — только психика). Этот тип субъективности определяется нами как эгосенситивный.

В наше время психика и субъективность фактически отождествляются. Переживать свою самость как самость прежде всего психическую — это наиболее легитимная и культурно поощряемая форма самоощущения. Субъективность инфраструктурная (вписанная в общую ткань социальных связей, институтов и смыслов) оказывается лишена культурных и философских опор. Психика становится главным авторитетом для

Психика становится главным авторитетом для феноменов, претендующих на смысл или истину. От вопроса «Прав ли я?» субъективность сдвигается к позиции «Ощущаю ли я это как правильное?».

феноменов, претендующих на смысл или истину. От вопроса «Прав ли я?» субъективность сдвигается к позиции «Ощущаю ли я это как правильное?».

Эгосенситивность стоит отличить от типологически схожих понятий: это не нарциссизм (там речь идет о самооценке), не эгоизм (там — о выгоде) и не индивидуализм (там — об

автономии). Она вбирает в себя элементы всех трех концептов, но содержит ряд принципиальных качеств и акцентов, которые в привычных понятиях не учтены (при этом речь не идет о константе — эгосенситивность практически всегда присутствует в людях лишь в некоторой степени; нулевая и стопроцентная эгосенситивность — крайние случаи). Попробуем последовательно рассмотреть все эти не учитывавшиеся ранее качества.

Эгосенситивность связана с невинными и даже полезными навыками — рефлексией, осознаванием собственных чувств, анализом своего опыта. Но историческое время и доминирующий культурный фон гипертрофируют эти способности, придавая им абсолютное значение. Согласно господствующей сегодня культуре эмоциональности, именно рефлексия является главным содержанием субъективности. Чувства, полагавшиеся одним из источников опыта, становятся его основным критерием, а самонаблюдение из инструмента превращается в основной элемент идентичности.

Сегодня трудно даже представить, что так было далеко не всегда. Всякая коллективная идентичность — от профессиональной до субкультурной, от религиозной до контркультурной — предполагает, что субъект переживает свое Я через посредство убеждений, культурных символов, социальных связей, вступая в реальные или воображаемые сообщества. Психологическая субъективность сохраняет причастность к этим феноменам (профессиональная идентичность или эмоционально насыщенные связи) и одновременно выстраивает дистанцию по отношению к ним. В ней разделяется то, что я условно назову «аутентичное Я», и функциональные элементы этого Я. Это различие принципиально. Что имеется в виду?

Аутентичное Я состоит из внутренней психологической аффективности. Его функциональные части — из феноменов вовне: другие люди, социальные позиции, обязательства, культурные символы, моральные правила, общие цели. А также цифровые аватары и присутствие в сетевых сообществах. Они обусловливают внутреннюю аффективность и влияют на решения. Но только до тех пор, пока они не начинают противоречить субъективному чувству правды, комфорта или правильности. Поэтому аутентичное Я оказывается арбитром для функциональных элементов Я. Эгосенситивность не обязательно хронически рефлексивна — рефлексия скорее обнажает ее структуру и может эту структуру укреплять. Но в целом такая субъективность может существовать и непосредственным образом.

Для контраста возьмем другую культурно поощряемую модель субъективности. В ней тоже присутствует психологическая

аффективность, но она не является самодостаточным источником истины о себе и о реальности. Для нее так же важна внутренняя аутентичность и чувство самости, но они формируются прежде всего из внешних элементов — отношений, символов, идеологии, включенности в сообщества и так далее. В рамках же психологической субъективности мотивы поступков, чувство правды и самоощущение формируются из внутренней аффективности, которая в основе своей не имеет опоры ни в чем социальном и общеразделяемом. При этом прежняя модель субъективности в условиях общества риска и абстрактных систем пришла к своему кризису: цифровые коммуникации, скорость жизни и культуры склонны дестабилизировать ее элементы. И речь идет не просто об упадке, но о трансформации, которая имеет свои последствия.

Эгосенситивность — это тип организации субъекта, при котором аффективная чувствительность к состояниям собственного «Я» оказывается основным источником самопознания, самоотношения, а также истины и этической навигации.

Теперь я могу дать рабочее определение: эгосенситивность — это тип организации субъекта, при котором аффективная чувствительность к состояниям собственного «Я» оказывается основным источником самопознания, самоотношения, а также истины и этической навигации. Аффективное самоощущение и рефлексия становятся источником идентичности. Иначе говоря, эгосенситивность — это когда мои чувства и связанный с ними опыт не просто важны, а являются основной инстанцией реальности.

Перечислим прочие качества, которые могут сопутствовать эгосенситивности. Во-первых, это рефлексивная восприимчивость к собственным внутренним состояниям и установка на культивацию этой восприимчивости. Во-вторых, убежденность в том, что эта восприимчивость представляет собой морально значимое качество. В-третьих, повышенная чувствительность к психическому дискомфорту и эмоциональным страданиям, включая их неочевидные формы. Поскольку рефлексия по преимуществу осуществляется через язык, а лексический репертуар русского языка для обозначения негативных психических состояний шире, чем для позитивных, эгосенситивность устойчиво коррелирует с меланхолическими настроениями.

В значительной степени описываемый феномен обусловлен давлением внешних обстоятельств. Провести строгое различие

между эгосенситивностью как культурным паттерном, который может быть пересмотрен, и ее функционированием как следствием воздействия абстрактных систем на психику едва ли возможно: эти аспекты неразделимо переплетены. Однако именно поэтому эта культурная стратегия адаптации может оборачиваться частью той самой проблемы, к которой субъект адаптируется.

Основные проблемы эгосенситивности

По природе своей субъект ждет от эмоционально значимых связей стабильности (верность, предсказуемость), но в своих поступках опирается на нестабильный внутренний критерий (собственные психические состояния). С нашей точки зрения, в современности это центральная структурная причина разного рода проблем и неразрешимостей в частных отношениях. Развитая способность чувствовать душевную боль и одновременно слабая способность понимать другого — опасная комбинация для любых отношений. Она приводит к тому, что друзья или партнеры чувствуют себя в отношениях все более остро, а друг друга — все менее ясно. Люди становятся друг для друга абстрактными системами в миниатюре. Эта субъективность во многом формируется под влиянием терапевтической культуры, которая транслирует, что область когнитивной компетентности человека ограничивается его личностью.

Развитая способность чувствовать душевную боль и одновременно слабая способность понимать другого — опасная комбинация для любых отношений. Она приводит к тому, что друзья или партнеры чувствуют себя в отношениях все более остро, а друг друга — все менее ясно.

Эгосенситивность в кино

Сериал «Нормальные люди»[3] демонстрирует, как описанные типы «Я» проявляются в любовных сценариях современности. Главные герои Коннел и Марианна — очень яркая иллюстрация

3 Режиссеры Ленни Абрахамсон и Хэтти Макдональд. Ирландия, 2020. Сериал основан на одноименном романе Салли Руни, которая является соавтором сценария. «Нормальные люди» Руни стали одним из главных текстов нынешней волны литературы автофикшн.

эгосенситивности. Это история любви, в которой чувства существуют исключительно внутри героев, а не между ними; их связь размыта и эфемерна, она выглядит многозначительной потому, что герои много страдают и рефлексируют. При этом такой способ поведения их не сближает, а делает все более замкнутыми на себе. Герои дают зрителю понять: мы любим друг друга, но это не делает нас способными быть вместе, ибо каждый из нас занят своим бесконечно сложным внутренним миром. Коннел — тем, как он выглядит в глазах других, своей социальной неловкостью, неуверенностью, страхом быть зависимым от других. Марианна — собственной «инаковостью», отстраненностью и опытом насилия. Внутренняя боль каждого исключительно монологична. Их внутренняя тонкость становится причиной провала отношений, и это происходит

Быть чувствительным — значит быть в первую очередь чувствительным к своим переживаниям. Не направленным на другого, а самонаблюдающим и не внимательным, а рефлексирующим.

не потому, что они не хотят быть вместе; как будто они не знают, с чего начать движение друг к другу, ибо всю жизнь тренировались наблюдать за собой. Это ключевая особенность эгосенситивности, которую сериал иллюстрирует очень тонко: быть чувствительным — значит быть в первую очередь чувствительным к своим переживаниям. Не направленным на другого, а самонаблюдающим и не внимательным, а рефлексирующим.

Когда Коннел впадает в депрессию, он не может позвонить Марианне, ибо думает, что будет ей в тягость (как тут не вспомнить личных границ). Марианна, узнав это, говорит, что он должен был ей позвонить. Можно сказать, что «Нормальные люди» — это сериал про любовь в условиях эгосенситивной культуры, когда субъект воспитан в убеждении, что его чувствительность — добродетель, и не имеет мотивации выйти за пределы своей психики, чтобы встать на место другого человека. Собственный внутренний мир переживается как настолько сложный и хрупкий, что для реальности другого оказывается критически мало места.

На этом примере видно, как эгосенситивность затрудняет способность понимать поступки, чувства и реакции другого человека, потому что навык ориентации на себя оказывается развит непропорционально по отношению к навыку ориентации на другого. У субъекта слишком много внутреннего, поэтому другой оказывается для него в серой зоне.

И тут проявляется наиболее фундаментальное противоречие, о котором говорилось выше: субъект ждет от другого стабильности, но сам опирается на нестабильный критерий — собственные психические состояния. Поэтому эгосенситивность интериозирует непредсказуемую динамику абстрактных систем в субъективность и отношения между людьми.

Философские корни: Юм и изобретение психологического человека

Для того чтобы двигаться далее, нужно реконструировать истоки описываемой субъективности, и отправной точкой для нас будет Дэвид Юм. В «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) он занимает жестко эмпирическую позицию. Юм отказывается говорить о человеке через привычные понятия философии — такие, как сущность, цель и субстанция, — ибо их сопровождают туманности и неясности, от которых разум должен освободиться, чтобы выйти к достоверному знанию. Впервые в истории европейской мысли человек описывается целиком через субъективный опыт восприятия. Свойственный естествознанию пафос, в котором субъект, пробиваясь сквозь джунгли чужих представлений, обретает достоверное знание о себе, превратился в одну из ключевых опций современной субъективности. В анализе феноменов восприятия Юм приходит как минимум к двум выводам, которые будут иметь серьезные последствия. Он пишет:

> «Люди не что иное, как связка, или пучок [*a bundle or collection*], различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном движении. Дух состоит из одних только следующих друг за другом восприятий; у нас нет ни малейшего представления о том месте, где разыгрываются эти сцены, или о материале, из которого состоит театр»[4].

Другими словами, Юм приходит к выводу, что ничего, кроме серии восприятий, в нашем опыте мы не встречаем и среди них не находим объекта под названием Я, который был бы таким же четким, как яблоко или воспоминание об обеде. Хотя Юм старался всячески дистанцироваться от метафизического тумана, но в конечном счете этот туман обнаруживаются в самом ядре субъективности — в нашем чувстве Я, которое оказывается иллюзорным.

Юм создал необратимую ситуацию, после которой невозможно приписать Я неизменные свойства — в результате понятие «человек» превращается в голый факт, предшествующий среде

4 Юм Д. *Сочинения*: *В 2 т.* М.: Мысль, 1996. Т. 1. С. 678.

и отношениям. Мы пользуемся понятиями Я и говорим «этот человек», имея в виду, что он человек, потому что у него есть Я, но это удобная социальная условность, которая не укоренена в онтологии. По нашей гипотезе, выведение понятия Я за пределы онтологии создало возможность для аффективного переживания своего Я как исходно отдельного от социальной реальности.

Второй вывод Юма — человек по природе своей устремлен к приятным переживаниям и старается избегать неприятных. Между этими двумя стремлениями разворачивается основная жизнь сознания. Приятные перцепты — такие, как карета, природа, приятный человек, — доставляют эмоции гордости, неприятные — униженности. При этом человек, как правило, устремлен к копиям восприятий — когда в своем воображении он формирует аналоги вещей и стремится к ним, например к богатству, женитьбе или высокому положению в обществе. Из этого следует, что цели выбирают аффекты, а не разум и «разум — слуга страстей»[5]. Это позволяет сделать беспощадный вывод: все, что делает субъект, он делает для себя. Даже если поступок оказывается связан с жертвой и самоотдачей, его вели к этому цели, которые аффект счел приятными. В этой модели другие люди и реальность в целом — это лишь контекст стремления человека к приятному. Такая модель игнорирует типы поведения, в которых человек сознательно соглашается на переживание неприятных или тяжелых эмоциональных или физических состояний, зная, что не получит за них соразмерной аффективной компенсации.

Можно привести массу примеров, связанных с добродетелями. Стремление помочь, напиться или украсть в логике Юма имеют единый онтологический статус, но аффекты и мотивы, сопровождающие эти стремления, отличаются принципиально. Почему Юм сводит их к одному? В противном случае ему пришлось бы вводить мотивы стремлений и их градацию, а в его логике они случайны, историчны и не обладают той мерой необходимости, которую он стремится установить. Тем не менее эта установка действует и в нынешнее время, когда психологические дискурсы — в кабинете психолога или в повседневности — центрируют любой опыт на интересах Я. Может показаться, что тут действует логика рыночного индивидуализма, но, как мы видим, за ней стоят философские основания. Идея о простой эмпирической достоверности как основной опоре разума оказывает влияние не только на познание, но и на субъективность, о чем редко говорят.

5 Там же. С. 457.

Через полвека Иммануил Кант, соглашаясь с отказом Юма от метафизического догматизма, показывает, почему субстанциональный субъект все же возможен. Для этого он вводит в философию уровень, предшествующий опыту — *a priori*, и пытается доказать, что именно этот уровень обеспечивает значимость всякого субъективного восприятия. Тем не менее, поскольку этот источник как рациональности, так и всякого опыта не переживается психологически, чтобы сделать его ясным для сознания, необходимо взойти на высокий уровень абстракций. А модель Юма, напротив, интуитивно понятна и легко ложится на опыт и потому становится инструментом для массового самоописания, а также концептуальной основой для наиболее влиятельных культурных и мировоззренческих тенденций — романтизма, прагматизма и психоанализа. На последнем я хочу остановиться подробнее, поскольку, если верно, что психологический субъект в теоретически эксплицитном виде был сформирован именно им (субъект — это его прошлое), психоанализ имеет принципиальное значение.

Чарльз Тейлор в книге «Истоки самости» вводит понятие «экспрессивная субъективность». Он пишет, что в начале XVIII века возникает потребность в «восстановлении контакта с внутренним импульсом природы; мы должны открыться движению природы внутри нас»[6]. На тот момент эта внутренняя природа не истолковывалась ни как природа моего Я, ни как человеческая природа — она понималась как творческий источник жизни, к общению с которым может приобщиться всякий через сложную смесь саморефлексии и созерцания. Основной генеалогический предок этого понятия природы — христианская благодать Божья, которая в результате распространения деизма и возникновения субъекта чувственного и стремящегося к счастью становится безличной силой бытия, пронизывающей это последнее и являющейся одновременно его источником.

Романтизм — в котором субъект обращается к себе и находит там целый мир, как юный Вертер или как Новалис, который предлагает радикальное погружение в глубину индивидуального страдания, — наиболее ярко выраженное последствие экспрессивной модели. При этом она амбивалентна: с одной стороны, такая модель предполагает выразительность и направлена к порождению нового, потому что эта природа *творит*; с другой стороны, она впервые в истории порождает Глубокую субъективность, которая при обращении к себе находит бесконечное богатство внутреннего содержания. Но ключевой

6 Taylor Ch. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press, 1989. P. 320.

момент — это содержание еще не индивидуально: гипотетически оно вмещает в себя весь репертуар творческих сил жизни, который касается всех и может быть валиден для всех людей.

В психоанализе происходит объединение юмовского эмпирического Я, для которого индивидуальное чувственное восприятие — основной источник истины, и экспрессивного Я, которое субъективируется через открытие в себе внутреннего пространства и выражение его содержания. То, что в предыдущей эпохе было природой, становится энергией либидо. И финальная операция: через представление, что Я — это прежде всего единство индивидуального прошлого (идея, которая восходит к Джону Локку), внутреннее пространство закрывается на ключ. Теперь внутреннее — это не резервуар сил, смысл которых тяготеет к универсальности, а содержание индивидуального прошлого: детства субъекта, его поступков и влияний на него других. Эти содержания состоят из универсальных элементов — запретных желаний, фантазий, похоти, ненависти, влечений, — но они обретают связность и значение только через исследование уникальной и неповторимой динамики отдельной судьбы.

Психоанализ формирует в субъекте само собой разумеющееся ощущение, что сущность его бытия отделена от общества.

Таким образом, к субъективности социальной, воспринимающей реальность через социальные конвенции условности и установки, психология достраивает внутреннее пространство, которое не может быть объяснено в терминах социального. Это пространство формируется социальным опытом, но переживается субъективными механизмами психики и оказывается заключено в субъекте; оно скрыто от него и одновременно определяет его желания и поступки и поэтому становится резервуаром неисчерпаемой тайны. Таким образом, психоанализ формирует в субъекте само собой разумеющееся ощущение, что сущность его бытия отделена от общества. Здесь формируется то, что мы называем Глубокое Я, — человек, для которого реальность дана через эмоциональную жизнь; субъективный мир наделяется неисчерпаемой значимостью, а его осознание всегда неокончательно и косвенно. Таким образом, возникает субъект, субстанция которого находится в его частной жизни. Она обретает значимость абсолютного, будучи в скрытом виде обеспечена эпической семантикой сначала благодати, а потом природы.

И вот здесь возникает одна из основных коллизий. С одной стороны, юмовский психологический субъект — это базовая субъективность Нового времени, психоанализ ее аккумулировал и объединил с внутренней природой, но, с другой стороны, на протяжении практически всей истории Нового времени эмпирически мы видим скорее коллективные типы субъективностей: христиане, коммунисты, социалисты; потом хиппи, панки, металлисты, эмо, рэперы. Кроме того, есть еще и идентичности, связанные с профессиями. Исторически люди, как правило, субъективировались не через уровень индивидуальной аффективности, а через уровень общего, состоящего из символов, идей и сообществ. В нынешнюю эпоху происходит диффузия социальных форм как таковых: распад международного права и распад молодежных субкультур — это части одно процесса в рамках той современности, которую Зигмунд Бауман назвал текучей, и эта текучесть усиливается абстрактными системами, которые трансформируются из институтов в рассредоточенные силы.

За оградой внутренней жизни: личность как сеть отношений

Вернемся к субъективности. Я предлагаю различать два типа субъективности: эгосенситивную и инфраструктурную. Для первой границы личности совпадают с границами внутренней жизни. Все, что вне переживаний, вторично и оценивается через переживания. «Я» здесь — это мои чувства, эмоции и колебания между ними. Счастье становится вопросом управления этими состояниями, а негативные эмоции переживаются как угроза основе личности — ведь они буквально «портят» то, из чего «я» состою.

Инфраструктурная субъективность устроена иначе. Психика здесь — это среда, в которой отражаются более фундаментальные элементы личности. Но она не источник личности. Личность состоит из связей с другими людьми, обнаруженным смыслом, участием в сообществах и признанием ценностей, существующих независимо от переживаний. Для этой личности вопрос о себе шире вопроса «Что со мной происходит?».

Счастье в этом случае не интенсивная эмоция, а устойчивый фон: интуитивная уверенность, что у жизни есть основания для смысла и радости. Она может не осознаваться напрямую, но она стабилизирует личность. При таком подходе грусть, усталость, раздражение или тоска могут присутствовать в сознании — но не определять общее качество жизни. Негативные события не разрушают несущую конструкцию, а позитивные — усиливают ее.

Поддержание значимых связей и идентичности часто требует усилий, терпения, а иногда и жертв, но именно это делает негативные переживания переносимыми: они не отменяют ценность жизни в целом. Для эгосенситивности, отождествившей себя со своими эмоциями и чувствами, те же переживания оказываются куда более угрожающими и разрушительными.

Но как можно доказать, что исток счастья лежит вне психики? Человек по своей природе зависим: его существование изначально опирается на то, что находится вовне. В своей недавней книге Джудит Батлер пишет:

> «Никто не рождается индивидом; если кто-то становится индивидом по прошествии времени, он или она все равно не могут уклониться от фундаментального состояния зависимости, пока идет этот процесс. От этого состояния невозможно избавиться по прошествии времени»[7].

И действительно: все, что мы знаем, чем пользуемся и с помощью чего воспроизводим свою жизнь, не существовало бы без других людей и отношений между ними. Наше бытие появляется из отношений; не только в младенческом возрасте, но всю жизнь оно продолжает воспроизводиться в отношениях зависимости. Эти отношения состоят из производства, логистики, медицины и институтов, которые их воспроизводят. Природа человека в том, что он живет через организационные формы, а они в свою очередь состоят из людей. Это онтологическая реальность, без которой человек невозможен. Поэтому психическое состояние субъективной индивидуальной независимости возможно только благодаря сети отношений, которые ее поддерживают. Если они бесперебойно обеспечивают жизненные необходимости, то субъект оказывается способен переживать свою автономию психологически.

Психическое состояние субъективной индивидуальной независимости возможно только благодаря сети отношений, которые ее поддерживают. Если они бесперебойно обеспечивают жизненные необходимости, то субъект оказывается способен переживать свою автономию психологически.

7 Батлер Д.П. *Сила ненасилия: сцепка этики и политики*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2023. С. 25.

Можно возразить, что в онтологии зависимости смешаны два уровня: один — физической необходимости, другой — психический. Физически мы зависимы от экономических структур, а вот эмоционально и субъективно мы связаны с ближними, и мы вольны разрывать связи или не вступать в них. Сама по себе эта возможность указывает на онтологическую автономию субъекта. Трудно найти лучший аргумент в пользу того, что автономия возможна не только как идея и психическое состояние, но в более сильном смысле: как действие и положение в мире. Но этот аргумент недостаточен. Способность выйти из отношений или не вступать в них, руководствуясь субъективным выбором, всегда соседствует с потребностью какие-то отношения сохранить или вступить в другие. Поэтому субъективное переживание автономии обеспечивают периоды разрывов и избеганий внутри сетей отношений. Почти невозможно добровольно выбрать отсутствие отношений с кем бы то ни было в принципе, поэтому автономия — локальный эффект внутри неустранимой зависимости. Счастье, следовательно, зависит от того, сумеем ли мы выбрать подходящие источники зависимости (или позволить им выбрать нас), обжить их и превратить в источники собственной жизни, делая ее более витальной и утвердительной.

Отождествление субъективности исключительно с психикой может, таким образом, сильно препятствовать достижению счастья. Это не значит, что переживания не важны, но указывает на то, что они не определяют условий субъективности. Психика с ее переживаниями — это не более чем среда для более фундаментальных ее основ. В этой логике стремление к счастью оказывается неотделимым от стремления к тем формам жизни, в которых это счастье становится возможным. Здесь смысл и взаимосвязи оказываются первичны по отношению к приятным или неприятным эмоциям, а признание своей неустранимой зависимости — ключевым шагом. В этом смысле можно согласиться с наблюдением Славоя Жижека: чтобы стать счастливым, нужно перестать стремиться к счастью.

При этом в философии нет теории, которая обосновывала бы инфраструктурную субъективность через базовый онтологический уровень с той же интуитивной понятностью, что и модели Юма, романтиков или Фрейда. Поскольку у такой субъективности нет места в онтологии, она оказывается беззащитна перед историческими и культурными изменениями и у нее нет защитника масштаба Юма или Канта, на которого можно было бы опереться. Мало того — традиция критического подозрения, характерная для XX века, приучила интеллектуальную культуру к тому, чтобы видеть за символически плотными сообществами и их идеями обсценную изнанку:

игры власти, манипуляции и сублимированное насилие. Левый либерализм — наиболее яркий феномен низовой политической культуры последних десятилетий — остался прежде всего сетевым феноменом (и в организационном, и в дискурсивном смысле). Однако его ключевая задача — соединить юмовского психологического субъекта со структурным политическим мышлением — в итоге приводит к неразрешимым противоречиям.

В XIX веке именно для того, чтобы показать самонадеянность и близорукость ставки на субъективность, возникают две важные теории: Карла Маркса, а затем Эмиля Дюркгейма с его социальными фактами. В свете нашей модели их подходы можно охарактеризовать как перелет: в полемическом пыле они расположили источник субъективности слишком далеко от непосредственного опыта субъекта. Поэтому, например, в марксизме и с его подачи во всей левой теории в дальнейшем совершенно невозможно обосновать, почему субъект как таковой вообще имеет место в онтологии? Почему он имеет ценность? Почему он имеет право на свой опыт? Для марксизма все эти вопросы — результат идеологического спектакля, в котором действует фантастический субъект сам по себе, отдельный от общества и его конфликтов.

Теория, которая встроила бы одновременно и индивидуальное, и коллективное в онтологию, не вытесняя и не подавляя одно ради другого, не сложилось. Возможными исключениями является коммунитаризм и неоаристотелизм, но и Аласдер Макинтайр, и Филиппа Фут подбираются к субъекту через проблемы этики и добродетели, так что вопрос об исходной архитектуре субъективности оказывается у них на втором плане.

Культурные типы «Я» как заполнение теоретического зазора

Образовавшийся теоретический зазор заполняют культурные типы «Я» — уже не как философские проекты, а как стихийные способы самоощущения, укорененные в повседневности. Они, наслаиваясь друг на друга, образуют эгосенситивность. Среди них особенно важны два, которые редко обсуждаются в паре, но которые в российском контексте работают в диаде: интровертное Я и постхристианское Я. Первое задает базовую топику — исходную обособленность. Второе наполняет эту позу содержанием — привычкой к самоуглублению, унаследованной от религиозной интроспекции, но лишенной ее вертикали.

Интровертное Я

Культурная привлекательность интровертности — мало обсуждаемый и преимущественно российский феномен. Для эгосенситивности он один из конститутивных. В этой логике человек исходно обособлен и входит в контакт с другими из пространства своего Я и потом «задвигается» обратно.

Интровертность и экстравертность связаны с врожденной нейробиологией головного мозга, при этом большинство людей (около 70%) — амбиверты, их склонность в ту или другую сторону обусловлена личным опытом и культурными влияниями. В современности интровертность из психофизиологического феномена полностью превратилась в культурный. Она стала устойчивым способом самоописания человека, склонного к творчеству и мышлению, избегающего больших компаний и не испытывающего сильной потребности в людях. Про этот тип метко сказал философ Йоэль Регев: «современному человеку нужны другие люди, чтобы доказывать им, что они ему не очень нужны».

Вместе с тем интровертность понижает ощущение ценности карьерного и финансового успеха и поэтому снижает давление конкурентной среды на психику. Она позволяет не растворяться в шуме внешних ожиданий. В цифровую эпоху, в которой доступ к культуре стал почти бесплатным, для нее открылись огромные ресурсы. Экстравертность на контрасте выглядит как поверхностная и ограниченная идентичность.

Постхристианское Я

Чарльз Тейлор в книге «Истоки самости» пишет:

> «Обращение Августина к себе было обращением к радикальной рефлексивности, и именно это сделало язык внутреннего мира таким притягательным. Внутренний свет — это свет, который сияет, когда мы присутствуем для самих себя [*in our presence to ourselves*], он неотделим от самого нашего бытия существами, способными на точку зрения от первого лица. Он освещает то, пространство, где я сам присутствую для самого себя, — и именно это отличает его от света внешнего и делает образ внутреннего мира по-настоящему неотразимым. Не будет преувеличением сказать, что именно Августин ввел внутренний мир радикальной рефлексивности и завещал его западной традиции мысли. Этот шаг был судьбоносным, потому что мы, безусловно, гипертрофировали позицию первого лица. Современная эпистемологическая традиция и все, что из нее вытекает в современной культуре, сделали эту точку зрения основополагающей — до такой степени, что она, можно сказать, граничит с заблуждением. Это зашло так далеко, что породило

представление о существовании особой области “внутренних” объектов, доступной только с этой точки зрения; или представление о том, что точка зрения “я мыслю” каким-то образом находится вне мира вещей, которые мы воспринимаем»[8].

При этом у Августина внутреннее пространство оказывается необходимо не для анализа своей индивидуальности, а для выхода к универсальному — к творению, как оно задумано богом, — к тому, что в этой логике является последней реальностью. В постхристианской рефлексивности самообращенность сохраняет свою ценность, но замыкается в обособленное пространство.

Как именно указанные типы взаимодействуют друг с другом внутри субъекта, в каких контекстах актуализуются — вопрос для отдельного исследования.

Два уровня современности

Тут следует сказать, что в нашем описании «слипаются» два уровня — онтологический и культурный: давление абстрактных систем, возникновение психологического индивидуализма и чистых отношений — все это порождение политики, экономики и технологий. Это базовая онтология модерности. А вот культура — терапевтическая мораль, психология, популярное искусство, гуманитарные дискурсы, способы самопонимания — это культура. В нашем случае она адаптирует субъекта к объективным процессам и одновременно закрепляет ими порождаемое. Современной культуре, как никогда, сложно нащупать основные антагонизмы реальности. Например фильм «Одно целое» обращается к интуиции современного субъекта о том, что связь опасна; эта интуиция возникла вследствие объективных процессов, а фильм подтверждает и закрепляет ее через визуальные образы ужаса.

Свобода и аномия

Какие идеи способны определить критерии субъективности — и в контексте каких из них оказывается субъект? Центральная — это идея свободы. Этим словом и его синонимами (автономия, самостоятельность) пронизан язык и в публичной сфере, и в повседневности. На уровне коннотаций это понятие двойственно: с одной стороны, в нем есть элемент романтический

8 Taylor Ch. *Op. cit.* P. 115.

и контркультурный, а с другой — рыночный и предпринимательский. Поэтому артикулируемое без четкой контекстуализации (а часто именно так и происходит) это понятие запутывает в одном клубке интересы рынка и интересы общества, интересы предпринимательские и внерыночные интенции в искусстве или социальной работе. Этим оно затрудняет возможность различить противоположные способы существования и занять позицию внутри этих противоречий. Что в целом работает скорее на доминирующий смысл ее реализации.

При этом понятие свободы с его многозначной аурой во многом досталась нашей эпохе в наследство после окончания борьбы капитализма с коммунизмом — в обеих системах оно было образующим и интегрированным в комплексные теории. Когда одна система победила и стала здравым смыслом, а вторая была дискредитирована, понятие «свобода» осталось как ценность, соединяющая в себе одновременно идеологическую нейтральность и этическую силу. И поэтому оно было призвано компенсировать бедность политического языка в условиях распада комплексных политических идеологий.

Какие культурные последствия у валоризации этого понятия? С одной стороны, оно подчеркивает право каждого человека делать нечто сообразное его воле, с другой — оно заранее дискредитирует объединяющие идеи, ведь они связаны с совместностью, а та в свою очередь — с правилами, а значит, и с некоторой нормативностью, заставляющей индивидуальную свободу потесниться. Поэтому валоризация этого понятия работает скорее на силы распада субкультур.

Однако эмоциональная сила этого понятия велика и репутация безупречна — причем на разных уровнях: на уровне теории, на уровне культурного дискурса и на субъективном уровне. Мы не будем вдаваться в детали этих различий, ибо это потребовало бы слишком длинных экскурсов, а вместо этого зададимся вопросом: какое скрытое допущение предполагает понятие свободы? С нашей точки зрения, предполагается представление, что исходно в субъекте всегда содержится творческая сила и понимание, что делать, а свобода — это условие реализации. Без этого предположения ценность свободы теряет бóльшую часть своей ауры.

Когда субъект знает, какой жизненный проект он хочет реализовать, а внешние силы ему не дают и он стремится от них освободиться, тогда свобода оказывается встроена в общую логику развития. Но современный дискурс свободы, даже если он узко контекстуализируется, мало говорит о том, что именно субъект собирается реализовывать. И этот дефицит не недостаток креативности отдельных людей, а структурное следствие разреженности смыслов.

Действительно, в современной культурной ситуации другая сторона вопроса о свободе — «Что именно через нее реализовывать? Как это найти? Для чего жить?» — остается неопределенной. Переживание свободы без четкого понимания, что делать и как ее реализовать, становится тревогой. В чистом виде она представляет собой пустоту и, поселяясь в человеке, с большой вероятностью превращается в смесь одиночества, неопределенности и амбивалентности.

При этом в описываемой нами антропологической модели предполагается, что в каждом человеке есть твердый и суверенный самостоятельный критерий, исходя из которого он может свободно выбирать. Но если этого критерия нет, то выбор совершается из максимально неопределенной, чистой субъективной позиции, а такой выбор — это страдание.

Переживание свободы без четкого понимания, что делать и как ее реализовать, становится тревогой. В чистом виде она представляет собой пустоту и с большой вероятностью превращается в смесь одиночества, неопределенности и амбивалентности.

Попробуем привести конкретный пример на материале личных отношений. Эмиль Дюркгейм в конце XIX века предвосхитил переживание свободы выбора при отсутствии ясных критериев выбора и назвал такую свободу «аномией». И вот как он описывает личность, попавшую в такие условия:

> «Поскольку человек имеет права устанавливать любые отношения в угоду своим наклонностям, он стремится ко всему и не удовлетворяется ничем. Это нездоровое стремление к бесконечному, которое повсюду сопровождает аномию, может так же легко атаковать любую область нашего сознания, оно очень часто принимает сексуальную форму, описанную Мюссе. Человек не может остановиться, пока что-нибудь его не остановит. Помимо уже испытанных удовольствий, он предвкушает и жаждет других, и, если так случается, что диапазон возможного почти исчерпан, он мечтает о невозможном, жаждет несуществующего. Как тут не обостриться чувствам от такой бесконечной гонки? Чтобы достичь этого состояния, ему даже необязательно до бесконечности множить любовные переживания и вести образ жизни Дон Жуана. Достаточно банального существования самого обычного холостяка. Беспрестанно возникают новые надежды, но только для того, чтобы снова стать обманутыми и растаять, оставляя лишь шлейф усталости и разочарования. Как же тогда желанию остаться неизменным, если нет уверенности в том, удастся ли удержать объект этого желания, ибо аномия имеет двойственный характер? Когда

человек не может бескомпромиссно отдаться, он не имеет права и владеть. Таким образом, неопределенность будущего вкупе с его собственной нерешительностью обрекают его на постоянные перемены. Результатом всего этого является состояние беспокойства, возбуждения и недовольства»[9].

Ева Иллуз в книге «Почему любовь уходит?» пишет, что в социологии отношений с появлением приложений для знакомств появилось понятие «не-выбора»[10]. Казалось бы, если человек ничего не выбрал, это не должно попадать в поле зрения социологов. Однако оказывается, что не-выбор становится социальным фактом: в условиях изобилия потенциальных партнеров и отсутствия в обществе закрепленных правил их выбора вся его тяжесть переносится на эмоции и психику, а они по своей природе подвижны и нестабильны. Сделать твердый окончательный выбор в отношении партнера становится все труднее, все чаще происходит не-выбор.

В нынешнюю эпоху, когда люди знакомятся для того, чтобы завести отношения или ищут друзей и приятелей, возникают новые проблемы. Прежде люди из разных сфер имели возможность общаться и устанавливать близкие отношения через принадлежность к сообществам. Они могли обсуждать музыку, кино, религию, книги не просто как произвольные единичные части опыта, а как элементы комплексных мировоззрений, в которые они вовлечены. В эпоху эмоционального индивидуализма у людей все меньше общих тем для разговора, потому что пространство общих комплексных смыслов рассеялось. Говорить про политику триггерно, и не только на постсоветском пространстве. Про сериалы «Netflix» — тема быстро исчерпывается. Самыми подходящими темами становятся рассказы про свою жизнь, а также эмоциональные проблемы и работу. Между тем когда каждый говорит о своем, то это системно препятствует построению близости, потому что люди обычно сближаются через обнаружение того, что их объединяет. Разговор, в котором основным медиатором становится «а у меня так», рискует превратиться в поочередные монологи, а не диалог. Секс в этом контексте становится телесной близостью с постоянным дефицитом близости ментальной. Это добавляет в лихорадку не-выбора дополнительное измерение.

Кроме того, если прежде выбор постоянного партнера мог быть обусловлен его принадлежностью к той же субкультуре (в эпоху их распада у случайно встретившихся людей шансов

9 Дюркгейм Э. *Самоубийство: социологический этюд*. М.: Мысль, 1994. С. 137.
10 Иллуз Е. *Почему любовь уходит? Социология негативных отношений*. М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2022. С. 15.

найти общие темы для разговора существенно меньше), то сейчас каждый человек — это прежде всего капитал, состоящий из внешности и заработка. Когда рассеиваются субкультурные идентичности, исчезает и своего рода «система мер и весов». Остальные критерии уходят на второй план, а оставшиеся предполагают бесконечное поле вариантов.

Если прежде выбор постоянного партнера мог быть обусловлен его принадлежностью к той же субкультуре, то сейчас каждый человек — это прежде всего капитал, состоящий из внешности и заработка.

Таким образом, абсолютная свобода в выборе партнера сопутствует тому, что людям становится все сложнее построить отношения. Они все больше чувствуют одиночество, тоску и тревогу. Оживают тяжелые воспоминания, прошлые травмы давят сильнее. Человек начинает спрашивать себя: что же со мной не так? Как мы видим, по Дюркгейму и Иллуз, когда человек погружается в разнообразие чувственного опыта без принципа и критерия, это истощает его сознание.

Финальное определение

Эгосенситивность — это тип организации субъективности, при котором аффективная чувствительность к состояниям собственного «Я» становится основным источником самопознания, этической ориентации и чувства действительности. Статус смысла или истины выводится из ощущения достоверного или эмоционально подлинного.

Из этого вытекает специфическая диспропорция: внутреннее пространство разрастается до масштабов главной сцены, на которой разворачивается существование, тогда как другой человек со своей инаковостью, нуждами и непрозрачностью воспринимается сквозь призму совместимости с личной аффективностью. От нарциссизма эгосенситивность отличается не озабоченностью самооценкой, а превращением собственных чувств в ключевого арбитра; от классического индивидуализма — не акцентом на автономии как таковой, а тем, что сама реальность другого человека, обязательств и общих смыслов начинает восприниматься через призму их совместимости с субъективным аффективным состоянием. Способность встать на место другого, услышать его без немедленного перевода

на язык собственных чувств, оказывается системно ослаблена. Эгосенситивность, таким образом, не просто центрирует субъекта на себе, но создает структурный дефицит понимания другого и питает ту амбивалентность в близости, которую мы наблюдаем в мемах, сериалах и повседневных трудностях «чистых отношений».

Когда чувства заменяют институты

Здесь следует дать более широкую социологическую перспективу. Освободительная энергия языка эмоций и психологии бросила вызов патриархальным культурным кодам, предоставив язык защиты от прежде невидимых форм насилия. Это безусловное завоевание, но за ним приходят новые формы дезинтеграции; культура повседневности стала очень чувствительной к тому, чего не следует делать, и почти исчезли легитимные и консенсусные представления о том, что делать стоит. В прошедшую эпоху их порождали очень разные игроки социальности; молодежные субкультуры, интеллигенция и религиозные группы. Они производили критерии, регулирующие частную жизнь: дружбу и романтические отношения. (Сообщества этого типа — промежуточная область между абстрактными системами и чистыми отношениями, которую модель Гидденса практически упускает.) Когда эти сообщества оказались либо физически рассеяны, либо стали считаться культурно устаревшими или дискредитированными (часто по делу), устанавливается доминирование описываемой субъективности.

В чем здесь основная проблема? Нам всем требуются постоянные и консенсусные инстанции, которые принимаются во внимание, когда мы вступаем в отношения, и к которым можно апеллировать, когда мы в них уже находимся. Но индивидуальное психическое состояние всегда подвижно, субъективно и ситуативно. Поэтому в отношениях все чаще образуется чувство рассинхрона и растерянности, а также — из-за повышенной самочувствительности — другой становится все менее прозрачным. Качество связей падает, люди идут к психологам или обращаются к языку психологической субъективности. Но внутренние установки этого языка склонны воспроизводить причины, по которым к нему обращаются. В условиях беспрецедентного при жизни нынешнего поколения давления абстрактных систем на частную жизнь все эти проблемы обретают особенную остроту.

Границы существующих языков описания

Для описания обсуждаемых проблем российский гуманитарный язык почти не имеет инструментов. Леволиберальный язык видит только власть и насилие, хотя здесь нет чьей-то злой воли, патриархата или плохих людей; его же позитивная программа только усугубляет проблему. Консервативный язык не располагает тонкими аналитическими инструментами, а про его позитивную программу мы умолчим. Кроме того, эти проблемы плохо переводятся на язык медиа и соцсетей.

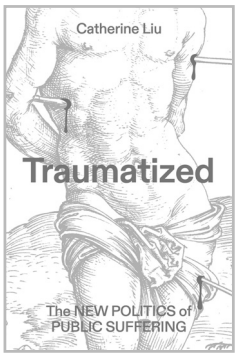
Люди не являются сугубо культурными конструктами и тем более — жертвами обстоятельств: в человеке всегда есть нечто большее, способное сопротивляться доминирующей культуре, иногда ее же методами.

И последнее. С нашей точки зрения, люди не являются сугубо культурными конструктами и тем более — жертвами обстоятельств: в человеке всегда есть нечто большее, способное сопротивляться доминирующей культуре, иногда ее же методами. И наш анализ не претендует на то, чтобы описать все содержание субъективности: едва ли это вообще возможно, и это, с нашей точки зрения, лучшая новость. Обращение к философской школе коммунитаризма, которая беспрецедентно внимательна к повседневной субъективности, могло бы помочь в работе над описанными проблемами и в формулировании идей, асимметричных описанным нами феноменам. Это перспектива дальнейших исследований.

Андрей Гелианов

Изобретение травмы: как Опра Уинфри и «либералы» предали угнетенных

Андрей Гелианов (р. 1987) — писатель, исследователь культуры.



Traumatized: The New Politics of Public Suffering
Catherine Liu
London; New York: Verso 2026. — 192 p.

Кто такая Кэтрин Лю, я узнал (как, видимо, и еще 765 тысяч человек) из интервью[1] в рамках проекта «The Institute of Art and Ideas» под названием «Как либералы монетизировали травму. Кэтрин Лю о Марксе, Трампе и политике идентичности». В этом ролике исследовательница предстает остроумной, харизматичной и действительно увлеченной своей темой — все еще весьма рискованной для публичного обсуждения. Поэтому когда я узнал, что в издательстве «Verso» выходит оперативно подготовленная книга Лю на ту же самую тему, то сразу вызвался ее рецензировать, надеясь на интересное развитие затронутых в видео тем.

Скажем сразу: особенного развития по сравнению с видео тема «травмы-и-исцеления» как либерального конструкта не получает. Но обо всем по порядку. Начнем с увертюры:

> «Публичное признание в частной травме превращает глубоко личную историю, разрушающую человеческую жизнь, в стандартизированное повествование о разрыве и последующей реинтеграции. Оно подталкивает нас ко все более интенсивному взаимодействию с платформами сбора данных, где подобные сценарии травмы бесконечно воспроизводятся и тиражируются.
>
> Превращение самых интимных форм насилия и унижения в потребляемые нарративы не освободило нас ни от репрессии, ни от угнетения, как обещали наиболее радикальные феминистки второй волны. Зато культура травмы породила политику застоя и нарциссической фиксации на субъективности, понимаемой как “прожитый опыт” [*lived experience*], тем самым выхолостив сами основания либерализма» (p. 5).

Кто и против кого

О само́й исследовательнице мы знаем немного: родилась на Тайване; в возрасте четырех лет в 1968-м, пока в мире бушевали *культурные революции*, с семьей переехала в США, где, судя

1 Опубликовано 9 апреля 2026 года (www.youtube.com/watch?v=CS1Ng3CcAOs).

по всему, прошла типичный путь ребенка-вундеркинда; натурализовалась, получила образование в университете из Лиги плюща и приобрела широкую экспертизу — по «синоязычному кино, французской литературе, критической теории, политике идентичности и изобразительному искусству».

В течение нескольких десятилетий академическая карьера Лю, насколько можно судить, протекала тихо и без особых приключений — из интересного можно отметить разве что ее участие в качестве редактора в антологии «Сны об интерпретации: столетие на Королевской дороге» (2007) к (несколько запоздавшему) вековому юбилею «Толкования сновидений» Фрейда.

Первые шаги в сторону радикализации Лю предпринимает при администрации Обамы, выпустив — увы, незамеченную — книгу «Американская идиллия: академический антиэлитизм как культурная критика» (2011), в которой рассматривается «злоупотребление популистским недоверием к элитам и его связь с антиинтеллектуализмом в американской культурной политике». Однако по-настоящему поймать *свою* тему Лю удалось лишь во время срока Байдена в произведшей некоторый шум работе «Накопители добродетелей: аргументы против профессионального управленческого класса» (2021), где называется, наконец, имя ее врага — *professional managerial class*[2]. Эта абстрактная сущность (вызывающая в памяти как «Бредовую работу» Дэвида Гребера — описание практического *следствия* существования данного класса, — так и «Капиталистический реализм» Марка Фишера — описание *причины* его возникновения) будет так или иначе всплывать отныне во всех ее публикациях, включая рассматриваемую здесь.

> «Я надеюсь показать, что культура травмы овеществляет страдание и саму потребность говорить о нем, воспроизводя свидетельство и выживание как взаимозаменяемые продукты. Она достигает этого, пропуская опыт страдания через жестко выстроенный, стандартизированный сценарий выживания и исцеления, который изымает субъекта травмы из его истории, семьи, общества и экономики и помещает его в герметичное, лишенное воздуха пространство.
>
> Там он становится одновременно зрителем, потребителем и производителем все нового контента о травме. Будучи однажды усвоенным, этот сценарий травмы начинает функционировать как своего рода знак псевдополитической аутентичности для тех, кого либерализм относит к категории “маргинализированных”. Как идеологическое оружие культура травмы родилась на телевидении, затем перекочевала в литературу и либеральное политическое

2 Лю объясняет этот термин как «социальный класс в рамках капитализма, который, контролируя производственные процессы посредством занятия руководящей должности, не является ни пролетариатом, ни буржуазией».

пространство, а сегодня прочно укоренилась в социальных сетях. Она предлагает способ устанавливать связь друг с другом в глубоко опосредованной, псевдотерапевтической форме» (p. 5).

Начинается книга Лю с весьма интересных исторических экскурсов: оказывается, первыми робкими попытками сформулировать, что такое травма, задолго до Первой мировой был феномен *железнодорожного позвоночника* (*railway spine*) — нервно-болевого синдрома, который наблюдался у переживших катастрофу на железной дороге (тогда — новинке прогресса), не получивших физических увечий, но шокированных произошедшим. Лю также обращает внимание на эфемерность и растяжимость понятий вроде *prevention*, *awareness* и *risk*, которые используются в отчетах и документах как точные определения, строгие и исчислимые величины:

«Профилактические меры [*prevention*], основанные на статистике, информации, обработанной алгоритмами искусственного интеллекта, и образовательных программах, якобы позволяют добиваться лучших "результатов" для детей, входящих в группу риска. Но риска чего именно — этого мы предпочитаем не произносить вслух. Профессиональный управленческий класс может возразить, что под его руководством общество сегодня, как никогда прежде, "осведомлено" [*aware*] о детских страданиях. Однако защита детства так и не стала для Америки ни политическим, ни экономическим приоритетом, как для общества в целом» (p. 59).

Далее мы узнаем о другом шатком и довольно курьезном кирпичике фундамента, на котором воздвигнуто все современное здание травма-дискурса:

«Движение за права жертв возникло под лозунгом "Мы верим детям": обычный здоровый скептицизм по отношению к детским свидетельствам был отвергнут активистами, выступавшими с миссией разоблачения и охотно принимавшими обвинения (взрослых) в сатанинских ритуалах, убийстве животных и сексуальном насилии. Все это основывалось на распространении "новых психологических теорий", утверждавших, что вытесненные воспоминания о насилии могут быть достоверно извлечены с помощью терапии и гипноза, а затем использованы в качестве судебных доказательств для осуждения зловещих сексуальных преступников, якобы находящихся среди нас» (p. 20).

На этом исторические экскурсы, к сожалению, заканчиваются, и мы переходим к критике феминизма второй волны и «либералов», с которыми и останемся до конца книги.

Здесь нужно отметить, что «Traumatized» — *книга одной идеи*, которая непрерывно варьируется и повторяется (иног-

да буквально теми же словами, а иногда обогащаясь занимательными историческими примерами). В этом нет ничего плохого, тот же «Капиталистический реализм» Марка Фишера — тоже книга одной идеи (правда, в ней 80 страниц, а не 192), хотя и с более богатыми и остроумными примерами и выводами. И так же, как и в случае с Фишером (о котором Лю не упоминает, хотя и почти дословно воспроизводит некоторые его идеи, например «респонсибилизацию»), эта одна идея настолько важна и настолько трудно проникает в сознание из-за своего масштаба, что ее, пожалуй, действительно нужно повторить несколько раз и применить в разных контекстах.

В чем же упомянутая идея заключается? Начнем со следующей формулировки:

> «Культура травмы стала идеологическим инструментом, призванным оттеснить на второй план боевую политику рабочего класса. Политический субъект превратился в объективированный психологический тип, чья легитимность теперь основывалась на способности предъявить собственный “пережитый опыт” как свидетельство соответствия стандартизированной модели выжившего.
>
> Начиная с 1980-х психофармакологическая индустрия осуществила своего рода первоначальное накопление, распространив его на внутреннюю жизнь человека и коллективное психическое здоровье. Корпорации внезапно получили возможность извлекать прибыль из психологических страданий и психических расстройств.
>
> С медикализацией душевной жизни та область человеческого существования, которая прежде служила источником дохода для шаманов, жрецов и шарлатанов, была колонизирована психофармакологией — столь же хищнически, как захват общинных земель английской аристократией в позднефеодальную эпоху» (p. 87).

Это как раз то, о чем писал Фишер и многие после него: в XXI веке идея о том, что *вообще возможна* какая-то социальная справедливость, кажется абсурдной и нереалистичной, не отвечающей «естественному порядку вещей». Любые же страдания человека, вызванные несправедливостью и абсурдностью жизни в капиталистическом обществе, маркируются как *депрессия* или как иной персональный ментальный недуг; единственным решением этих проблем (кроме платной психотерапии) объявляется покупка дорогостоящих медикаментов, произведенных «большой фармой». Выгоду из этой ситуации извлекают все, кроме одураченного человека, но про него — в человеческом, собственно, измерении — никто всерьез и не думает.

«Культура травмы и феминизм второй волны сумели извлечь выгоду из джентрификации страдания, сосредоточив внимание на межклассовом опыте насилия, что позволило обойти куда более неудобные и политически острые вопросы экономической депривации и высокой распространенности жестокого обращения и пренебрежения детьми в условиях хронической бедности.

Любая попытка связать жестокое обращение с детьми с экономической и культурной депривацией была неприемлема для либералов, стремившихся любой ценой дистанцироваться от политики "культуры бедности". Согласно этой логике, жертвой детской травмы мог стать каждый — даже самый талантливый, богатый и привилегированный человек» (p. 30–31).

Любые страдания человека, вызванные несправедливостью и абсурдностью жизни в капиталистическом обществе, маркируются как *депрессия* или как иной персональный ментальный недуг.

На фоне этого, отмечает Лю, изменяется само представление о том, как устроена человеческая психика, причем в худшую сторону: овеществляющую и превращающую любую проблему в чеклист симптомов. Официально это было закреплено в медицинском справочнике «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders»[3] начиная с его третьего издания. Лю приводит шокирующий пример того, как решение, повлиявшее на судьбы миллионов людей, принималось «на глазок», как будто речь про количество соли в супе:

> «Когда психиатра Уолтера Кэссиди, впервые предложившего диагностические критерии депрессии, спросили, почему он установил диагностический порог на уровне именно шести симптомов из десяти, он ответил: "Мне просто показалось, что это вполне подходит"».

Рассуждения Лю по своей логике близки к фишеровским, потому отсутствие его имени в книге местами выглядит странно. Например, некоторые пассажи явно вдохновлены текстом Фишера «Покидая вампирский замок»:

> «Я заметил увлекательный магический механизм инверсионной проекции-отрицания, когда одно лишь упоминание о классе автоматически воспринимается как попытка принизить значение расы

3 Данное руководство закрепляет принятую в США номенклатуру психических расстройств. Последняя версия вышла в 2022 году и вызвала скандал из-за того, что как минимум 60% ее составителей получали вознаграждение от компаний «большой фармы» (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38199616/).

и гендера. На самом деле все с точностью до наоборот: вампирский замок использует либеральное понимание расы и гендера, чтобы стереть классовую принадлежность. Ни в одном из всех абсурдных и болезненных споров о привилегиях в твиттере в начале этого года не присутствовало обсуждение классовых привилегий. Нашей задачей всегда было привлечение внимания к проблемам класса, гендера и расы, а основополагающий принцип вампирского замка заключается в том, чтобы заглушить класс на фоне других категорий. Вампирский замок призван ответить на вопрос: как обладать огромным богатством и властью и при этом выглядеть жертвой, маргиналом и оппозиционером?»[4]

У Лю та же тема — и даже относящаяся примерно к тем же кругам людей (которых она во второй срок Трампа уже не стесняется называть «либералами»[5], не скрываясь за метафорами вроде «вампиров») — звучит так:

«Подавляя исторические, материальные и социальные условия, в которых возникают травма и ее последствия, либеральные профессионалы навязали идеологически нагруженное и статичное представление о внутренней жизни человека. Превратив субъективное чувство дискомфорта в объективизированный факт, либерализм утвердил тиранию субъективного опыта в публичной сфере.

За последние полвека левые политические организации сами оказались заложниками разрушительной и репрессивной логики личного свидетельства, призванной парализовать любой объективный и материалистический анализ политических целей и конкретных общественных обстоятельств» (p. 125).

Далее Лю объединяет рассматриваемую тему с основной областью своих исследований, указывая на профессиональный управленческий класс как на причину такого положения дел:

«Либерализм травматической культуры — это политическое выражение американского профессионального управленческого класса, который разыгрывает спектакль собственного нравственного превосходства над оппонентами, одновременно маскируя свою безоговорочную преданность капиталу. Основанная на травме политика идентичности и порождаемая ею культура “выжившего-пророка” так и не смогли приблизить тот лучший мир, о котором мечтали социальные движения после 1968 года.

Напротив, культура травмы легитимирует общество, ставшее еще более неравным, более жестоким и более нестабильным. Отказываясь признать реальные изменения, произошедшие на уровне

4 Фишер М. *k-punk. Избранное*. М: Ад Маргинем Пресс, 2024. С. 152.

5 Под «либералами» Лю преимущественно имеет в виду администрации Клинтона, Обамы и Байдена, а также связанные с ними медиалобби, спикеров и институции. Еще совсем недавно такие вещи проходили по разряду «теорий заговора»: «многое из того, что мы называем “заговорами”, лишь примеры классовой солидарности внутри правящего класса».

репрезентации и борьбы с неявными предубеждениями, либералы из профессионального класса продолжают требовать сакрализации тщательно сконструированных, почти барочных идентичностей, существующих вне и поверх классовой принадлежности. Их культурная политика и разыгрываемые ими моралите нисколько не тревожат сон капиталистов» (p. 162).

То есть речь не о самом феномене травмы (он существует) и не о том, что несколько странно описывать одним и тем же зонтичным термином то, что пережили солдаты на войне, и то, что пережили женщины или дети в стенах своего абьюзивного дома. Речь о том, что «либералы» в XXI веке изобрели фактически *новую религию*, коллективный опыт, для соучастия в котором необходимо постоянное потребление медиа и постоянное в нем присутствие (основой для этой системы, по мнению Лю, стало выходившее с 1986 года «Шоу Опры Уинфри»). Вместо того, чтобы решать системные проблемы — все ширящаяся пропасть между бедными и богатыми, корпоративное лобби, отсутствие трудовых гарантий и охраны труда, отсутствие каких-либо перспектив, как рабочих, так и социальных, — вместо этого, пишет Лю, «либералы» используют раз за разом в показательных кейсах один и тот же механизм преображения-искупления.

Для этого медиа и сливающиеся с ними «люди во власти» точечно выбирают наиболее подходящие фигуры, которые пережили ужасные биографические события («выжившие», *survivors*), и вместе с ними фиксируют рассказ про все этапы исцеления, принятия себя и обязательно распространяют это знание. Таким образом (хотя вряд ли это закладывалось сознательно), получается любопытная вариация кэмпбелловского «пути героя»[6], где место инициатических испытаний занимает сам эпизод травмы, а финальным «возвращением в мир» с победой — способность публично артикулировать свой опыт, упаковав его в правильный и воодушевляющий с точки зрения *травма-метода* нарратив.

Инициация и инициатива

Здесь самое время вновь задуматься о проблеме, которую исследователи поднимали еще много десятилетий назад. Вкратце ее можно сформулировать так: в отсутствие четко маркированных

6 См. также «мономиф», концепцию из книги «Тысячеликий герой» (1949) Джозефа Кэмпбелла, основанную на вульгарном понимании работ Владимира Проппа о волшебных сказках. Эта концепция предполагает, что все классические истории обладают одинаковой структурой. Начиная со «Звездных войн» схема Кэмпбелла (в еще более упрощенной версии Сида Филда — «трехактная структура») используется в Голливуде практически в каждом мейнстримном фильме.

инициатических переходов человеческая психика со временем начинает страдать от отсутствия значимых смыслов — и в итоге наделяет переходным смыслом любые достаточно значимые события, которые происходят в жизни[7]. Однако нередко происходит с нами нечто плохое — и вряд ли что-то может быть более эмоционально заряжено, чем то, что в описанной Лю схеме неолиберального нарратива для обычного человека проходит под знаком травмы. Схема, популяризированная Опрой Уинфри и прочими, стала рабочей и приобрела всемирную популярность по той причине, что *травматический опыт — это единственная доступная сегодня подавляющему числу людей возможность инициации*.

В отсутствие четко маркированных инициатических переходов человеческая психика со временем начинает страдать от отсутствия значимых смыслов — и в итоге наделяет переходным смыслом любые достаточно значимые события, которые происходят в жизни.

Поэтому так важен именно опыт проговаривания травмы перед неограниченным кругом лиц, вербальное утверждение того, что травмированный прошел через этот опыт и обновился, исцелился, стал лучшим человеком, который теперь может своим примером вдохновлять и фактически исцелять других. Проговаривание этого нарратива и *создает* вещество реальности события, травма-монолог — это буквально перформатив. Можно сказать, что опыт травмы в драматургическом смысле прочно встал на место конфликта, без которого, как вам скажет любой голливудский сценарист, работающий по Кэмпбеллу, никакая история не получится.

Печально, что единственный конфликт, доступный человеку сегодня, это когда его так или иначе что-то травмирует, то есть он может пройти инициацию только пассивным путем. Было бы любопытно изучить, как на формирование этого феномена повлияла зрительская пассивность эпохи *восприятия контента* и, собственно, кинодраматургия (намеки на это в книге Лю есть).

Что из этого следует? Человек, прошедший травматическую инициацию, выглядит куда более *интересным* и ощущается

7 Эта проблема носит отчасти спекулятивный характер. К тому же она не до конца понята, в чем, в частности, можно винить Карла Юнга и Мирчу Элиаде, которые внесли изрядную путаницу в вопрос о *rites de passage* и мистериях в античном смысле. Основу изучению феномена инициации положила книга «Обряды перехода» («Les Rites de Passage», 1909) французского этнографа Арнольда ван Геннепа.

более сильным — что для него выгодно. В мире капиталистической конкуренции оказывается, что люди, не имеющие травмы в биографии (хотя бы «тяжелого детства и деревянных игрушек»), проигрывают тем, у кого травма есть, потому что последние уже как бы загодя своим нарративом «выживших» демонстрируют позитивные качества вроде силы и стрессоустойчивости. К действительно травмированным жертвам абьюза (и тем более к ветеранам войны с посттравматическим стрессовым расстройством) это никакого отношения уже не имеет.

> «Культура травмы предложила такой способ осмысления и обсуждения человеческого страдания, который сформирован общими интересами профессионального управленческого класса и самого капитала. Крупные фармацевтические компании определяют повестку врачей и исследователей; социальные платформы, основанные на тотальной слежке и извлечении данных, — работу представителей культурной индустрии, журналистов, университетских преподавателей, HR-менеджеров и руководителей различных институтов.
>
> Культура травмы насаждает характерную для управленческого класса навязчивую заботу о создании эмоциональной среды, полностью свободной от любых поводов для обиды и любого трения. Тем самым она способствует деквалификации работников, вынужденных действовать по заранее заданным интерсубъективным сценариям общения с начальством и коллегами, — сценариям, которые затем оборачиваются личной беспомощностью и параличом уже в частной жизни» (p. 16).

Происходит генерализация травмы и ее обесценивание, и вот уже сочинение о том, как именно тебя травмировала жизнь, становится необходимым для поступления не куда-нибудь, а в Гарвард. При оценке таких работ оценивается умение *упаковать их в нарратив*:

> «В 2022 году студенческая газета “The Harvard Crimson” опубликовала редакционную статью под заголовком “The Trauma Sweet Spot”, авторы которой размышляли о собственных вступительных эссе, построенных вокруг личной травмы и в итоге обеспечивших им поступление в один из самых престижных и богатых университетов США. “Травма […] это хороший сюжет. Более того — сюжет, достойный Гарварда”, — с горькой иронией замечают они.
>
> Сами авторы признавали, что необходимость превращать собственные страдания и травматический опыт в литературный материал ради поступления в университет в конечном счете оказалась для них унизительной и отчуждающей. Однако, как отмечает профессор социологии и афроамериканских исследований Гарвардского университета Мишель Ламон, подобные истории о травме постепенно превратились в стандартный шаблон тщательно

сконструированных биографий, демонстрирующих одновременно "исключительную успешность" [*hyperperformance*] и социальную мобильность» (p. 31).

Бомбы исцеления

Лю идет дальше и настаивает, что парадигма травма-метода прекрасно масштабируется на американскую внешнюю политику: неправильные, недемократические, травмированные диктатурой страны (вроде Ирака или Ирана) нуждаются в экспорте исцеляющей демократии, которая помогла бы им построить нарратив перехода из смутного травмированного прошлого в светлое будущее. При всей примитивности такого объяснения (и общей одиозности подхода Лю) эта метафора хорошо коррелирует со множеством реальных примеров американского политического вмешательства в дела других стран. Впрочем, тут заметно уже по упоминанию профессионального управленческого класса, что автор, по-видимому, увязывает материал со своими прошлыми публикациями:

> «Согласно парадигме *trauma studies* в международных отношениях, глобальные травмы сами по себе требовали американского терапевтического и военного вмешательства. *Pax Americana* должна была взять на себя распространение культуры травмы по всему миру. В последние годы "холодной войны" исследования травмы и их подход к историческому и личному страданию действовали рука об руку с культурой травмы, заново конструируя буржуазного субъекта — субъекта профессионального управленческого класса — как идеального нравственного актора и политическую силу, призванную творить добро. Общества, которые отрицали травмы прошлого и настоящего, объявлялись авторитарными и потому нуждающимися в реформировании или даже полном переустройстве по образцу либеральных демократий» (p. 175).

Значительное внимание книга уделяет и второй волне феминизма, в частности, Джудит Герман, написавшей основополагающую для всего травма-дискурса книгу «Травма и исцеление» (1992), которая неоднократно переиздавалась с новыми предисловиями (Лю внимательно изучает эти предисловия и фиксирует, как Герман держит, так сказать, нос по политическому ветру).

Здесь следует отметить технический момент. Травма прерывает, стопорит, замораживает то единственное, что делает нас людьми — непрерывную преемственность памяти, через которую мы формируем себя-субъекта, через уверенность, что все эти события происходили с одним и тем же человеком (хотя

сами мы можем меняться и очень сильно). Травма разбивает жизнь на две части: на кажущееся со временем все более идиллическим *до* и на *после*, которое до начала терапии в основном наполнено рефлексией, сожалениями, поиском бесконечных подвохов в идиллической фазе *до* и попытками отыскать ответ на вопросы «почему я?», «почему это случилось со мной?».

Колоссальное возмущение Лю вызывает широкая рекомендация Герман «метода наводнения» (*flooding technique*) для устранения этой прерывности на первой стадии терапии травматических расстройств. Данная практика заключается в том, чтобы позволить пережившему насилие вновь обратиться к травматическому опыту в безопасной обстановке и тем самым восстановить ощущение психологической непрерывности

Травма прерывает, стопорит, замораживает то единственное, что делает нас людьми — непрерывную преемственность памяти, через которую мы формируем себя-субъекта, через уверенность, что все эти события происходили с одним и тем же человеком.

(то есть устранить травматический разрыв, к которому психика все время возвращается, порождая симптом). Возмущение Лю вызывает этический контекст заимствования этого метода: Герман адаптирует его из работы психиатра Томаса Кина, согласно которому после прохождения терапии «методом наводнения» ветераны реже страдали от ночных кошмаров, приступов тревоги и депрессии. А затем она проводит параллель между этой методикой и работой чилийских психологов, лечивших жертв режима Аугусто Пиночета.

> «Заимствуя разработанный чилийскими специалистами метод, созданный для помощи жертвам антикоммунистических кампаний в Латинской Америке, поддерживаемых Соединенными Штатами, Герман вырывает его из геополитического контекста и превращает в универсальный терапевтический инструмент, который затем без лишних вопросов переносит в американскую клиническую практику.
>
> В эпилоге к изданию “Trauma and Recovery” (1992) ее рассуждения о международной политике, основанной на концепции травмы, полностью воспроизводят либеральную картину мира эпохи “холодной войны”, где глобальный конфликт сводится к противостоянию “тоталитарных” и “демократических” режимов — категорий, которые Соединенные Штаты, как правило, распределяли в соответствии с собственными политическими интересами.

Следуя этой логике американского либерализма времен "холодной войны", Герман утверждает, что "новые демократии Латинской Америки, Восточной Европы и Африки" помогают своим народам оправиться от всевозможных травм. […]

Замалчивание этого контекста становится еще более поразительным, когда Герман с подчеркнутой серьезностью обращается к проблеме безнаказанности после тщательно подобранного набора диктатур и войн. Словно политическая история представляет собой коллекцию взаимозаменяемых трагедий, которые можно рассматривать исключительно через призму психологического восстановления. […]

Поразительно, что в своей книге, ставшей международным бестселлером, Герман нигде не объясняет, *почему* в Чили 1970-х вообще пытали людей» (p. 75–78).

Что же до самой структуры травматического опыта-и-исцеления, то Лю отмечает ее двойственность, которая гарантирует существование паразитирующего на травма-откровениях жреческого класса толкователей, помогающих сплетать нарратив (особенно ясно это становится в последней главе про Опру Уинфри и множественное расстройство личности — об этом ниже).

«Если духовное знание, которым обладает выживший-пророк, удостоверяется его травматическим опытом, то его передача гарантируется и обеспечивается прогрессивным профессионалом».

Эти два допущения составляют важную часть современного буржуазного сознания профессионального управленческого класса. Сама история превратилась в зрелищный иммерсивный опыт: под эгидой культуры травмы как формы политики нас приучили к мысли, что единственный способ понять историю — погрузиться в субъективный опыт людей, переживших травматическое событие.

Объективный контекст, который помог бы понять условия, порождающие подобные преступления, все чаще сводится к минимуму или, в наиболее радикальных формах псевдопопулизма, сам по себе объявляется чем-то репрессивным и элитарным» (p. 120).

Умолчание и овеществление

Написана книга довольно сумбурно: текст изобилует постоянными риторическими повторами, а действительно глубокие мысли и интересные исторические примеры тонут в потоке плакатной риторики. Иногда Лю цепляется за какие-то совершенно неочевидные термины: кто-то в прошлом веке назвал, например, требования социальных гарантий (еда, крыша над

головой «банальщиной» (*humdrum*) по сравнению с абьюзкейсами — и этот эпитет *humdrum* автор язвительно будет повторять в самых причудливых комбинациях не менее шести раз, когда изначальный повод уже забылся.

Порой кажется, что Лю поддается гипнозу собственного высказывания и начинает верить ожившим образам, созданным ее же воображением. К примеру, она пишет о «Child Abuse Prevention and Treatment Act»: «определение жестокого обращения с детьми было сделано очень узким и намеренно скрывало любую связь между бедностью и жестоким обращением с детьми» (p. 49). Кто и зачем «намеренно скрывал» эту связь? Почему это все подается как заговор, а не может быть, как обычно бывает с бюрократией, невежеством или недоработкой? И, самое главное, откуда в консервативной никсоновской Америке 1974 года (до Уотергейта еще шесть месяцев) вообще было взяться на государственном уровне классовому сознанию, в отсутствии которого Лю упрекает автора законопроекта?

> «Ребенок, родившийся в бедности, подвергается значительно более высокому риску жестокого обращения или пренебрежения, чем ребенок, выросший в семьях профессионального среднего класса. Сегодня государственные учреждения и некоммерческие организации предпочитают не акцентировать внимание на этой статистике. Отказ обсуждать связь между экономической депривацией и жестоким обращением с детьми, возможно, объясняется стремлением не подыгрывать консервативной концепции “культуры бедности”, однако он полностью соответствует антиклассовой логике системы защиты детей, выстроенной теми, кто считает себя либералами.
>
> Игнорируя экономические причины, которые делают детей особенно уязвимыми, прогрессивные политики, специалисты и некоммерческие организации мешают увидеть объективную реальность экономической депривации и понять, что необходимо сделать, чтобы ее преодолеть. В публикациях о жестоком обращении с детьми, представленных в библиотеке Национальных институтов здравоохранения США, связь между бедностью и распространенностью подобных случаев почти никогда не упоминается» (p. 52).

Возмущение автора понятно и обоснованно: действительно, многие социальные исследования в капиталистических государствах склонны не замечать одну из причин проблем — финансовое неравенство. Вместо этого практикуется, как это называл Марк Фишер, *респонсибилизация* — то, что гражданин живет в плохих условиях, не имеет благ и склонен к саморазрушительному поведению, объясняется его индивидуальными проблемами, ленью и деградацией. Фишер в «Вампирском замке» еще в 2013 году высмеивал подобные обличения:

> «Работа по постоянному разжиганию реактивного возмущения заключается в бесконечном указании на вопиюще очевидное: капитал ведет себя как капитал (как неприятно!), репрессивные государственные аппараты такие репрессивные… мы протестуем!»[8]

Вместе с тем, если присмотреться к логике травмы-инициации через оптику респонсибилизации, то в этом действительно наличествует какой-то смысл — ведь многие, к примеру, выходцы из семей алкоголиков и наркоманов, смогли пробить себе путь на самый верх (см. например мемуары нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса, выстроенные по этой структуре[9]).

Получается, что если конкретный кто-то *не смог*, то, значит, ему просто не хватило *силы воли* для того, чтобы усвоить урок, превзойти себя и стать успешным. Сам(а) виноват(а), что не захотел(а) целительно преображаться и становиться лучшей версией себя. Жуткая логика, но рынок работает именно по ней, и потому она постепенно и стала считаться «законом жизни» и «естественным положением вещей».

Дуэль с Опрой

Кульминация «Traumatized», где все линии изложения должны были композиционно сойтись, — суровый и пристрастный разбор деятельности и влияния Опры Уинфри[10]. Он занимает почти четверть и без того не слишком длинной книги. По тону изложения, по степени внимательности, с которой Лю изучает детали жизни Опры, используемые ею риторические приемы, законодательные лобби и случаи «переобувания в воздухе», можно заключить, что телеведущая ей решительно не нравится. Что ж, Лю имеет на это полное право, но действительно ли одна из прародительниц жанра ток-шоу заслуживает такого пристального анализа — и тем более таких масштабных обвинений?

Сначала Лю считает ее деньги и прямо связывает колоссальный успех Опры прежде всего с выбранной той стратегией исцеления от травмы в прямом эфире посредством разговора (очень телеевангелический, если задуматься, подход):

> «В 1986 году, согласно анализу доходов и активов, состояние Опры Уинфри было около 6,9 миллиона долларов. К 2024 году оно оценивалось уже в 2,8 миллиарда долларов. За это время Уинфри

8 Фишер М. *Указ. соч.* С. 157.
9 Vance J.D. *Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis*. New York: Harper Press, 2016.
10 Далее просто «Опра», так как телеведущая всемирно известна по этому мононимуи и является единственной известной носительницей данного имени (при рождении Уинфри получила имя *Орпа* и затем поменяла в нем буквы местами).

превратилась в публичную представительницу определенного типа жертвы — человека, от имени которого она требовала признания и которому сама же его даровала, последовательно вытесняя из разговора любые вопросы политических союзов или экономического перераспределения» (p. 137).

Оставим в стороне тот факт, что эта логика представляет собой хрестоматийный пример ошибки *non sequitur*, которая в данном случае настолько нелепа, что похожа на прямую манипуляцию: Лю предлагает нам поверить, что именно *благодаря* изобретению и поддержанию травма-дискурса (а не по причине, например, гениальных бизнес-способностей и/или знакомств в верхах, да и вообще за 40 лет много чего случилось) Опра и заработала свои миллиарды. Такого рода передергиваний у Лю хватает, особенно в финальной главе. Но она идет дальше, называя Опру (вновь без каких-либо доказательств, кроме ссылок на мнения других публицистов) «делательницей королей». Оказывается, именно созданный телеведущей моральный и культурный язык стал одним из условий триумфа Барака Обамы, а шестнадцать лет спустя неудачной кампании Камалы Харрис.

«В своей книге “The Age of Oprah: Cultural Icon of the Neoliberal Era”, опубликованной в 2008 году — незадолго до мирового финансового кризиса и избрания Барака Обамы президентом США, — Дженис Пек показывает, что публичный образ Уинфри был столь же “пострасовым” и успокаивающим, как и образ самого Обамы. Более того, именно она стала его “делательницей королей”. Обама столь же искусно воспроизводил интонации афроамериканской церковной проповеди, соединяя их с риторикой *New Age*, культуры самопомощи и дискурса психологического восстановления. Пек убедительно прослеживает превращение Уинфри из “королевы болтовни” в “феномен вдохновения” — фигуру национального примирения, подготовившую страну к президентству Обамы» (p. 139).

Наиболее показательным в этом ключе для Лю становится съезд Демократической партии 2024 года перед электоральной битвой с Дональдом Трампом:

«[К этому моменту] либерализм, основанный на риторике травмы, окончательно оформился […], в то время, как сама Демократическая партия не предпринимала почти ничего, чтобы остановить финансовые злоупотребления внутри страны или поддержку Соединенными Штатами геноцида за рубежом. Это противоречие нигде не проявилось столь наглядно, как на съезде демократов, где перед восторженной аудиторией выступали люди, пережившие сексуализированное насилие, рассказывая свои истории.

Неожиданным кульминационным моментом мероприятия стало появление Опры Уинфри[11]. В своей пятнадцатиминутной речи она представила Камалу Харрис как защитницу, появления которой жертвы ждали долгие годы. Победа Харрис, обещала Уинфри, станет искуплением страданий тех, чьи свидетельства только что прозвучали со сцены. Дональд Трамп, которого она характеризовала как сексуального хищника, должен быть побежден. Харрис защитит не только женщин, но и Конституцию, и саму американскую демократию. Причем сделает это с радостью и мужеством» (p. 158).

Выступление и правда впечатляющее (хотя здесь, как и в других случаях, Лю значительно сгущает краски, чтобы получилась нужная ей картинка). Для Лю Опра — воплощенная политтехнология, человек, который научился переводить структурные политические конфликты на язык индивидуального исцеления, что оказалось очень доходным бизнесом. В конце концов, пишет Лю, в XXI веке Уинфри превратилась из телеведущей в культурную икону:

«[Она] стала объединяющим и терапевтическим голосом для нации после 11 сентября 2001 года, а также буквальным спонсором Билла и Хиллари Клинтон, Барака Обамы и Джо Байдена, которые переосмыслили Демократическую партию, превратив ее в рупор корпоративных интересов и увешанной регалиями элиты» (p. 147).

Особого упоминания заслуживает такое раннее (2004) проявление травма-культуры, как визит Билла Клинтона на шоу Опры[12], где он «значительную часть интервью посвятил объяснению своей интрижки с Моникой Левински через призму детской травмы».

Так в чем же, согласно Лю, вина Опры применительно к травма-дискурсу?

Во-первых, она помогла сформировать и закрепить как механизм все то, что говорилось про респонсибилизацию: «жертва больше не может просто надеяться на исцеление: она должна превратить свое страдание в ресурс — использовать его для прогрессивной политики, славы и материального успеха» (p. 153).

Во-вторых, важен личный пример Опры, которая «создала образ идеального либерального субъекта “конца истории” в телевизионную эпоху» (p. 156). Этот субъект способен распознавать ценность исповедуемого страдания (ценность не в духовно-исцелительном смысле, а в самом прямом, как

11 См.: www.youtube.com/watch?v=Nv4M4Hf0suU.

12 Видеозапись интервью, судя по всему, не сохранилась, но текстовый вариант доступен на сайте Опры: www.oprah.com/omagazine/oprah-interviews-president-bill-clinton.

commodity) и упаковывать его в гладкий нарратив, четко делящийся на ступени от травмы до освобождения (вспомним про Кэмпбелла и трехактную структуру сценариев).

В-третьих Лю намекает, что Опра наглядно являет собой пример солидарности элит, которая сильнее любых промоутируемых «либералами» идентичностей; в данном случае пересекающиеся (под)множества — это «чернокожие», «женщины» и «женщины, подвергшиеся когда-то насилию».

> «Опра — афроамериканская представительница класса белых воротничков, журналистка, вышедшая из среды лишений и насилия. Она стала капиталисткой, владелицей собственного бренда и главным управляющим механизмом компании, где единственный продукт — она сама — был вертикально интегрирован в созданную ею же медиальную империю (p. 157).

При чтении главы про Опру возникает ощущение, что Лю уже выходит за пределы иллюстративной задачи и начинает обвинять телеведущую во всех грехах сразу:

> «Псевдопрогрессивная повестка Уинфри оказала формирующее влияние на либеральные институты, от неправительственных организаций до академических кругов, журналистики, кино и телевидения, а теперь и на индустрию потокового вещания и социальных сетей» (p. 159).

За подобного рода риторикой можно легко потерять действительно интересные находки: например, что множественное расстройство личности, «современный аналог “истерии” времен начала психоанализа», существующий в основном только в США[13], не просто стало модным благодаря демонстрации одного такого травмированного пациента на шоу Опры, но и само по себе отражает структуру телевизионного опыта:

> «В одном из выпусков своего шоу, вышедшем 21 мая 1990 года, Опра Уинфри пригласила Трудди Чейз[14] — женщину, пережившую сексуализированное насилие в детстве и утверждавшую, что в результате у нее сформировались 92 различные личности[15]. Вместе с ней в студии присутствовал ее психотерапевт Роберт Филлипс, помогавший Чейз написать мемуары “When Rabbit Howls”. В ходе передачи Чейз *поочередно “переключалась” между своими личностями*, рассказывая о чудовищных эпизодах насилия, которому, по ее словам, подвергалась в раннем детстве.

13 Как «дисбактериоз» и «вегетососудистая дистония» существовали только в СССР.
14 См.: www.oprah.com/oprahshow/truddi-chases-multiple-personalities.
15 Это, кстати, не предел: в 2019 году после судебного процесса против отца-насильника получила известность история Джени Хейнс, которая утверждала, что в ней живут 2500 личностей (www.sbs.com.au/whats-on/article/dr-jeni-haynes-we-are-jeni-interview/nrocpa0ym).

Случай Чейз был предельно необычным, выходящим далеко за пределы повседневного человеческого опыта. Однако столь же безусловной выглядела и демонстрируемая на экране способность *контроля над этой травмой* — победа, достигнутая благодаря терапевтическому процессу и превращенная в телевизионное зрелище. […]

Переключение между личностями *напоминало переключение телевизионных каналов*. Публичная демонстрация диссоциации и смены идентичностей превращалась в особую форму зрелища, способную распространяться, подобно инфекции: зрители и специалисты наблюдали за симптомами, усваивали их и постепенно включали в собственный психологический и профессиональный репертуар» (p. 141–145; курсив мой).

Все это напоминает телеевангелизм — явление специфически американское, которое, впрочем, за счет распространения американского *soft power* широко распространилось в странах «третьего мира». К подлинному же терапевтическому исцелению, напоминает Лю, все это имеет примерно такое же отношение, как телеевангелизм к настоящей вере:

«В реальной терапевтической практике путь к исцелению начинается с отказа от того “я”, которое требует, чтобы его увидели и признали… Однако программы Уинфри не оставляют места для такого развития. Их сюжетная структура никогда не усложняется контекстом или исследованием более мрачных уровней нарциссизма и фантазии.

Уинфри превратила экран телевизора в зеркало, в котором страдающие массы могли увидеть человека, притворяющегося, что он их видит. Она проложила путь к тому, чтобы мы приняли смартфоны и чат-боты в качестве исповедален и родственных душ. Каналы самопознания, которые она открыла, принесли ей огромную прибыль, но оказались разрушительными для демократии и либеральной политики.

Жить в объективном мире, разделяемом с другими людьми, становится еще сложнее, если либеральный субъект профессионального управленческого класса убежден, что другие — особенно представители рабочего класса — должны без сопротивления подстраиваться под его картину мира» (p. 160).

«Traumatized» заходит в своем радикализме, по современным западным меркам, опасно далеко, (а) отказывая справочнику «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», основе современной фармаориентированной диагностической психиатрии, в легитимности, (б) сомневаясь в реальности множественного расстройства личности и (в) указывая на ошибочную конструкцию и бесполезность травма-терапии в ее текущем виде — и на неправильное понимание и применение методик, которые до этого использовались применительно

к очень конкретным ситуациям (посттравматическому стрессовому расстройству у ветеранов Вьетнама и жертв пыточных застенков Пиночета). За первые два пункта во времена Байдена Лю точно бы «отменили», а сейчас вряд ли. Скорее всего эту критику едва ли кто-то прочтет, а если и наткнется, то достаточно быстро — по ключевым словам и тональности — определит Лю в лагерь ультраправых и закроет книгу.

Вместо послесловия

Было бы неверным сказать, что с этой книгой «что-то не так»: скорее что-то не так с нашим стремительным политическим временем, в котором границы и тональности допустимого к обсуждению в общественной дискуссии меняются гораздо быстрее, чем успевает пройти издательский цикл.

Если попытаться серьезно критиковать «Traumatized» как книгу в целом, то основная претензия, наверное, будет такой: практически все, здесь изложенное, можно классифицировать по категории мнения, а не анализа. Переходы между изложением фактов и весьма одиозными выводами и предложениями практически отсутствуют, что создает стилистически довольно странное впечатление — как будто перед нами лоскутное одеяло, сшитое из разных кусочков, которые автор, не шибко задумываясь, пристыковывает друг к другу.

Композиция книги отличается исключительной рыхлостью: последовательность в проработке материала и накоплении примеров отсутствует, перед нами набор наблюдений и выкладок. Например «Заключение» таковым вовсе не является, это еще одна глава со своей историей, которая могла бы быть расположена в любом другом месте.

Тем не менее эта работа выгодно отличается от многих других левацких книг на тему «кто виноват и что делать», в том числе тех, которые автор этих строк ранее рецензировал для «НЗ»[16]. И это при том, что «Traumatized» разделяет с этими работами ряд их недостатков (например крайнюю избирательность материала, колоссальную претенциозность при небольшом объеме, фактологическую скудость). Лю нельзя обвинить в грехе, который сводит на нет ценность большинства подобных работ: она не замыкается в умозрительном «мире фей и единорогов».

Пытаясь понять, «что делать», и дойдя до конца логической цепочки вместе с Лю, мы упираемся именно в реальность — в мир,

16 См., например: Гелианов А. *Кислотный социализм, или Утопия возможности пересборки* // Неприкосновенный запас. 2024. № 4(156). С. 124–140.

захваченный и поделенный теми, кто совсем не заинтересован в том, чтобы делиться с нами. Лю честна в своих выводах (хотя они и несколько сумбурно сформулированы): нет, мы не можем ничего изменить без глобального демонтажа всей системы или хотя бы без как минимум переноса фокуса с воображаемых и перформативных ценностей вроде политики идентичности, навязанных Америке (и через экспорт *soft power* — всему миру) либерал-демократами, к реальным проблемам — например доступности работы и жилья, образования и медицины.

Обычно в 2026 году при таких тезисах оппонента сразу принято обвинять в симпатиях к Трампу и MAGA, но Лю не оправдывает республиканцев и никак им не симпатизирует — в паре мест она беспощадно констатирует, что либерал-демократы сами взрастили себе мощных врагов в лице нового поколения трампистов, которые попросту переняли их идеологическое оружие.

В любом случае травма-дискурс как медиаявление следует развенчать и упразднить наряду с «политиками идентичностей» как механизм, более не адекватный реальности (строго говоря, он никогда не был ей адекватен, но сейчас маски сорваны, причем со всех сторон):

> «Деполитизированную, технократическую, обслуживающую интересы *Big Pharma* версию травмы и исцеления, которую приняли на вооружение феминистки второй волны, специалисты по психическому здоровью и гуру самопомощи, уже нельзя откатить обратно. Ее невозможно сколько-нибудь убедительно переосмыслить в интересах левой, материалистической политики. Реакционная технократическая логика культуры травмы слишком могущественна. Ее буржуазное мировоззрение по-прежнему сохраняет идеологическую гегемонию.
>
> Дискурс травмы не позволяет по-настоящему поставить в центр внимания классовые увечья [*the injuries of class*] — ту медленную форму насилия и ту колоссальную психологическую цену, которую люди платят за существование в экономической системе, сознательно устроенной так, чтобы лишать работников квалификации, разрушать ремесленное мастерство и извлекать прибыль, на которую сами работники никогда не смогут претендовать.
>
> У всех нас капитал крадет лучшую часть рабочего дня и лучшие силы ума, но именно те, кто находится вне управленческих слоев, в наибольшей степени испытывают на себе принуждение эксплуатации. Деквалификация труда и превращение человеческого творчества в инструмент производства наносят психологический ущерб, который культура травмы не способна ни исцелить, ни даже осмыслить» (p. 122).

Так что же делать? Прямого ответа Лю не дает, и вряд ли он тут возможен: любая революционная возможность зависит

от уникального стечения обстоятельств. В книге, впрочем, сочувственно упоминается Берни Сандерс — единственный «социалистический» кандидат в президенты, который баллотировался в 2016-м и 2020 годах и был в итоге затравлен собственной же Демократической партией в пользу более медийных кандидатов.

> «Сохранить социалистическую перспективу оказалось невозможно под натиском неолиберальной пропаганды и риторики социальной справедливости, направленных против приоритетов исторического материализма.
>
> После ожесточенных нападок либералов на политический проект Сандерса плюрализм идентичностей, с готовностью воспринятый частью его самых преданных сторонников, стремительно вытеснил классовую политику как основу политического действия» (p. 7).

На следующие выборы 84-летний политик вряд ли пойдет, так что его политическое место должен занять кто-то другой — но успех этого предприятия совершенно не гарантирован: ведь если у абсолютно системного Сандерса, рекордсмена по длительности пребывания в Конгрессе США, ничего не вышло, то у кого получится?

В каком-то смысле это и есть тот ответ, который дает Лю: никакие дальнейшие изменения системы в ее текущих рамках, которые привели бы к тому, что ситуация станет *лучше*, уже невозможны. Либеральный технокапитализм, использующий всю мощь нарратива «пути травмированного героя», а теперь еще и располагающий искусственным интеллектом (до 30% пользователей нейросетей используют их именно в качестве психотерапевта[17]), зашел слишком далеко и своих позиций не сдаст.

17 См. https://news.llu.edu/health-wellness/can-i-use-ai-my-therapist-truth-about-turning-chatbots-therapy; www.apa.org/pubs/reports/chatbots-mental-health-2026.

Речь подпольного человека: маскулинность в культуре советского андерграунда

Клавдия Смола

18+



Клавдия Смола (р. 1974) — профессор, заведующая кафедрой славистики в университете Дрездена.

Заглавие этой статьи содержит аллюзию на книгу Стивена Коткина «Магнитная гора. Сталинизм как цивилизация» (1995). В главе «Говорящий большевик» Коткин исследует, как в раннесоветский период новый язык и новые средства (само)выражения формировали субъективность рабочего, позволявшую позитивно идентифицироваться с ценностями советского государства: «высказывания о труде и рабочем месте становились определяющим фактором в том, как рабочие воспринимались другими и как они воспринимали самих себя»[1]. Используя, помимо прочего, автобиографические свидетельства, Коткин показывает, как термины, связывавшие труд рабочего, например с международной классовой борьбой, солидарностью пролетариата или политическим образованием, обеспечивали определенное «поле игры»: «Во многом именно благодаря этой игре люди становились частью публичной сферы, или, если угодно, “официального» общества”»[2]. Книга Коткина вышла в период повышенного академического интереса к лингвистической субъективности *homo sovieticus*, доступной нам в разного рода эго-документах. История субъективности в буквальном смысле *говорила* о том, как полная или частичная идентификация человека с советской «империей положительной деятельности»[3] могла легитимировать советский строй даже в самые страшные периоды диктатуры.

Беря на вооружение оптику «говорящего индивидуума» Коткина, но диаметрально переворачивая предмет исследования, я анализирую в этой статье, как идентичность представителя советского подполья формировалась — и формируется до сегодняшнего дня — в автоархивах, воспоминаниях и свидетельствах

1 Коткин S. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Oakland, 1995. P. 254. Все переводы мои. — К.С.
2 Ibid. P. 277–278.
3 См.: Мартин Т. *Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939*. М.: РОССПЭН, 2011.

на основе его гендерно маркированных высказываний. Как маскулинность формировала поведение и речь с позиции непринадлежности или оппозиции к официальной культуре и политике? Обращаясь к значимым эго-документам представителей культуры советского андерграунда разных периодов, я прослеживаю, как речевая идентичность советского парии была связана с гендерным режимом неофициальной советской культуры. Эти вопросы приводят, в конечном счете, к следующему: какие идентификаторные ресурсы создавали публичные контрнарративы в средах художественного подполья и каким образом маскулинность легитимировала позицию носителя иного, нонконформистского, голоса.

Гендер, язык и контркультура: двойная зона невидимости

По отношению к диссиденству и контркультурам коммунизма тема гендерного дисбаланса — и, в частности, репрезентации маскулинности — представляет собой слепое пятно в двойном смысле: ею пренебрегали сами акторы и участники сообществ политического противостояния, ее до сих пор игнорирует и академический мейнстрим. Невидимость гендерной проблематики для специалистов по андерграунду имеет свои причины, помимо вольной или невольной солидаризации со взглядами самих нонконформистов. С одной стороны, неофициальная советская культура только совсем недавно перестала быть объектом героизации и идеализации и стала изучаться как системное и разнородное целое с множеством субкультур, жизненных миров и принятых кодов[4]. Интерес к быту, коммуникативным стилям и созданию собственного имиджа подпольных художников и литераторов, возникший в ходе антропологического и прагматического поворотов в гуманитарных науках, только начинает обращаться к гендеру как системному фактору репрезентации несоветского или антисоветского. Сегодня исследование протестных движений и культур как феномена со своими структурами власти, ролей и влияний, со своими каноном и иерархией, порой напоминающей официальную культуру, делает и гендер интересным объектом для недихотомического анализа взаимных отражений и взаимозависимостей между, казалось бы, непримиримо оппозиционными друг другу сферами советского общества. Такой анализ не уменьшает значения контркультур, их манифестов и артефактов, но, возможно,

4 Этот подход был теоретически осмыслен в: Lipovetsky M., Glanc T., Engström M., Kukuj I., Smola K. (Eds.). *The Oxford Handbook of Soviet Underground Culture*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

позволяет несколько дистанцироваться от — как мы увидим, очень мужской — харизмы подполья, давая возможность посмотреть на способы ее автоартикуляции со стороны. С другой стороны, гендер и феминизм стали по-настоящему болевым пунктом рефлексии социального неравенства и патриархата в России только в 2000-е, а скорее даже 2010-е и 2020-е, в период консервативного поворота и перформативной, нередко эстетизированной гегемонной маскулинности в политике[5]. Сегодня гендерная перспектива способствует новому взгляду и новому языку анализа истории советской культуры: к изучению советского андерграунда добавляется еще один, прежде невидимый и маргинализованный, признак дифференциации[6].

Слепое пятно гендерных установок советского андерграунда, однако, до сих пор наблюдается не только в кругах бывших участников, но и среди исследователей в силу неприязни к таким интеллектуальным и научным агентам, как феминистская критика, анализ гендерного неравноправия или сексуальных меньшинств. В российских и — шире — в постсоветских интеллектуальных кругах они часто становятся объектом насмешек и предметом критики в той же мере, в какой предметом критики становятся «новая этика», «гендерная идеология» или «политическая корректность»[7]. Критикуется, например, навязывание сегодняшних эпистемологических рамок исторически более ранним периодам. По сути, требование изолировать прошлое от нового знания как раз означает своего рода табу на критическую *историзацию идеологии* той или иной эпохи. Помимо этого, с точки зрения либерально или оппозиционно

Требование изолировать прошлое от нового знания означает табу на критическую *историзацию идеологии* той или иной эпохи. С точки зрения либерально или оппозиционно настроенных российских интеллектуалов деконструкция канона угрожает сохранению несоветского и антисоветского культурного наследия.

5 О новых академических повестках см.: Pushkareva N. *Gendering Russian Historiography (Women's History in Russia: Status and Perspectives)* // Muravyeva M., Novikova N. (Eds.). *Women's History in Russia: (Re) Establishing the Field*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 2–16.

6 См.: Zakharova S. *Gendering Soviet Dissent: How and Why the Woman Question Was Excluded from the Agenda of Soviet Dissidents (1964–1982)*. Budapest, 2013; см. также книгу «Феминистский самиздат. 40 лет спустя» (2020), в издании которой приняли участие как исследователи, так и акторы сегодняшнего феминистского активизма.

7 Ср.: Surman J., Rossman E. *New Dissidence in Contemporary Russia: Students, Feminism and New Ethics* // New Perspectives. 2022. Vol. 30. № 1. P. 5–7.

настроенных российских интеллектуалов деконструкция канона угрожает — особенно в нынешней общественно-политической ситуации в России — сохранению несоветского и антисоветского культурного наследия.

Невидимость гендерных иерархий для *внутреннего* взгляда — самих участников советского андерграунда, как мужчин, так и женщин, — уже отмечалась[8]. Из интервью, проведенных Олесей Авраменко с представителями московского концептуализма, видно, что сильный дисбаланс в гендерной репрезентации этого круга — например исключительная роль мужчин как теоретиков концептуализма, двойная и тройная нагрузка у женщин-художниц как зарабатывающих на жизнь жен мужей-художников и матерей, отсутствие женских художественных тандемов и так далее — начинает тематизироваться лишь с 1990-х, когда появляется сам дискурс феминизма[9] и язык для разговора о гендере как значимом признаке *différance*.

Гендерная рефлексия была чужда не только официальной советской культуре, где пропагандировался половой эгалитаризм, но отсутствовала и в мейнстриме подполья, где гендерный вопрос не артикулировался по разным причинам — в том числе и как нечто чуждое свободе инакомыслящих и мнимому отсутствию предрассудков контркультуры. Маргарита Тупицына писала, что «до периода гласности представители диссидентского сообщества отстаивали свою инаковость лишь по отношению к официальной власти и ее пропагандистскому аппарату»[10]. Маргарита и Виктор Тупицыны, принадлежавшие к кругам андерграунда, но при этом практиковавшие критическую метапозицию по отношению к нему, отточенную постструктуралистской оптикой, понимали гендерную слепоту диссидентских сообществ именно как отсутствие определенного взгляда и языка — «неспособность к считыванию институциональных кодов»:

> «До сравнительно недавнего времени феминистская интеллектуальная практика не находила поддержки среди московских художников альтернативного круга. В 1987 году Наталья Нестерова и несколько других московских художниц решительно отвергали любые попытки рассматривать их творчество в контексте феминистской повестки. Возможно, это было связано с недостаточным осознанием значимости гендерной проблематики, политики тела, мужского доминирования, сексизма, а также ответственности художника за критическую рефлексию над этими проблемами»[11].

8 См.: Zakharova S. *Op. cit.*; Нижник А. *Право голоса // Право говорить. Феминистский самиздат. 40 лет спустя*. М.: Common Place, 2020. С. 33.

9 Авраменко О. *Гендер в советском неофициальном искусстве*. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 33–47.

10 Tupitsyn M. *Unveiling Feminism. Women's Art in the Soviet Union* // Arts Magazine. 1990. December. P. 67.

11 Idem. *If I Were a Woman* // Third Text. 1997. Vol. 11. № 40. P. 27.

Возросший сегодня — в основном в небольшом секторе молодых исследователей-активистов, часто аспиранток — интерес к феминистскому самиздату вполне понятен: это был редкий случай *программной* женской агентности, *иного слова*, отличавшегося как от советского, так и от несоветского языкового мейнстрима и более того — адресованного не только государству, но и состоявшему в основном из мужчин гендерно консервативному большинству андерграунда. Хотя это *иное слово* и было услышано — или скорее прочитано — в альманахе «Женщина в России» (1979) лишь меньшинством нонконформистов, но именно феминистки Наталья Малаховская, Татьяна Мамонова, Татьяна Горичева или Юлия Вознесенская начали вырабатывать новую эпистемологию и язык различия[12]. Делали они это, невзирая на пренебрежение и даже сарказм, встреченный ими среди многих мужских представителей андерграунда[13].

Как показывает социологический опрос, проведенный Софьей Чуйкиной, женщины нефеминистки, в отличие от феминисток — а их было подавляющее большинство, — приходили в диссидентские круги часто через замужество, дружбу, любовные отношения и, главное, понимали себя как помощниц близким им людям. Это не значит, что у женщин-нонконформисток не было своих твердых убеждений, но это формировало отличия:

> «[Для них,] как правило, не были характерны создание собственных оригинальных идеологий, поиск возможных путей развития России, написание теоретических текстов. Такие виды деятельности были более характерны для мужчин, особенно для лидеров-идеологов, которые были в каждом оппозиционном кругу и в каждой подпольной группе. Для женщин был первичен поиск авторитетов»[14].

Женщины в основном были частью инфраструктур и выполняли вспомогательные роли связисток, машинисток и хозяек подпольных домов. Поэтому они реже становились прямыми жертвами режима — арестовывали в основном мужчин, — и по той же причине в основном именно инакомыслящие мужчины становились публичными фигурами, альфа-триггерами нонконформизма, обретая агентность в основном через речь как

12 См. собранные в сборнике «Феминистский самиздат. 40 лет спустя» (2020) свидетельства издательниц альманаха. Сравнение их текстов советского периода и формулировок в свидетельствах 2010-х, обнаруживает и значимую разницу: язык гендерной деконструкции явно превалирует у них в 2010-е, когда теория гендера уже сформировала значительную часть языка левого мейнстрима и подготовила терминологический аппарат для историзации феминизма.

13 Нижник А. *Указ. соч.*

14 Чуйкина С. *Участие женщин в диссидентском движении. Случай Ленинграда // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период* / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 1996. С. 176.

действие. Поскольку советская Россия придерживалась старинной традиции показательного суда над ересью (она действует вплоть до настоящего момента), то публичное наказание за продукцию языка — декларации, литературные или философские тексты — воплощало прямую и видимую политическую жертвенность. Инакомыслящие женщины-нефеминистки находились в подполье подполья, в ситуации двойной невидимости.

Характерно, что и те субъекты культурного подполья, которые в разные его периоды перформативно субвертировали привычные гендерные границы — например Евгений Харитонов, Геннадий Трифонов, Эдуард Лимонов или Генрих Худяков, — были почти исключительно (биологическими) мужчинами. Именно мужчины занимали позицию социального и символического существования «между» и «вне», прибегая к художественным гендерным трансгрессиям и подвергая сомнению традиционные и гегемонные модели гендера.

Как же выражался (в двойном смысле этого слова) гендерный канон советского андерграунда? В этой статье фокусируется именно дискурс мужского большинства, который строился с помощью определенного языка — системы не только вербальных, но и невербальных знаков: амальгамы поведенческих, коммуникативных и лингвистических кодов, легитимировавших и конституирующих *перформативную маскулинность неофициальной культуры как манифестации несоветского и антисоветского*.

Альтернативный жизненный мир как лаборатория мужского языка

Девиантный язык общения и самопрезентации был неотъемлемой частью советской неофициальной культуры, вывеской ее творческого быта и оправданием непринадлежности ко лжи официоза[15].

> «Термин “инакомыслие” неточен, потому что самым существенным в диссидентстве было инакословие. То есть в конечном счете — противопоставление общепринятому языку и стилю своего стиля и своего языка»[16].

Авторы этих строк не имеют в виду здесь гендер, но этот тезис верен в целом, а потому его можно применить и к гендерно-

15 В этой статье не идет речь обо *всех* кругах, средах и представителях неофициальной культуры, так как она отнюдь не была гомогенным явлением. Тем не менее имеются в виду формы выражения и общения, характерные для большого количества поэтов и художников, а главное, ставшие одним из самых заметных опознавательных признаков их коллективной идентичности.

16 Вайль П., Генис А.* *60-е. Мир советского человека*. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 75. (* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — *Примеч. ред.*)

му пересмотру несоветского языка, о котором идет речь в этой статье. Относительная герметичность кругов андерграунда обеспечивала формирование внутреннего языка, который поддерживался узостью и коммуникативной плотностью жизненного мира в подполье и который был тесно связан с нормами поведения в быту. Чрезвычайно тесное повседневное общение между художниками и писателями, невозможное в обычных условиях, порождало не только взаимное влияние, но и то, что Юрий Тынянов назвал «домашней семантикой», под которой он понимал возникновение в дворянских литературных салонах и кружках XIX века общего интимного литературного кода, известного и понятного всем участникам (как, например, дружеское стихотворное послание)[17]. Однако, в отличие от модели, описанной Тыняновым применительно к другим литературным эпохам, в системе неофициальной культуры новые значения приобретали не только традиционные художественные приемы, но и коммуникативный стиль, язык и поведенческие практики[18]. Частные связи, пространственная близость и внутренняя групповая сплоченность, возникавшие вследствие табуированного положения участников неофициальной культуры, превратились в системообразующие черты андерграундной среды[19].

Относительная герметичность кругов андерграунда обеспечивала формирование внутреннего языка, который поддерживался узостью и коммуникативной плотностью жизненного мира в подполье и который был тесно связан с нормами поведения в быту.

Прежде, чем перейти к анализу «домашнего языка» и перформативного поведения, следует отметить, что, как это ни иронично, описанная выше герметичная повседневность советского андерграунда во многом способствовала воспроизводству гендерного неравенства. Речь идет не только о том, что, как отмечали исследователи и участники событий, эмансипаторная повестка субкультур и альтернативных жизненных стилей чаще всего не включала в себя гендерного элемента.

17 Тынянов Ю. *Поэтика. История литературы. Кино.* М.: Наука, 1977. С. 279.

18 Более подробно об этом см. в: Smola K. *Community as Device: Metonymic Art of the late Soviet Underground // Russia — Culture of (Non-)Conformity: From the Late Soviet Era to the Present //* Russian Literature (Special Issue). 2018. № 96–98. P. 13–50. Стоит упомянуть, что многочисленные послания неофициальных поэтов друг другу и друзьям-художникам свидетельствуют о культе мужской дружбы и солидарности в кругах андерграунда.

19 О чертах приватности в творчестве ленинградской неофициальной литературы см.: Савицкий С. *Андерграунд. История и мифы ленинградской неофициальной литературы.* М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 89–103.

Семейная организация многих приватных контактов поддерживала патриархальные структуры разделения обязанностей по признаку пола[20]. Необходимость держаться вместе собирала инакомыслящих не только вокруг дружеских кружков, но, как я отметила выше, и вокруг семей, в которых женщины часто были женами и помощницами более успешных и известных художников и поэтов[21]. Семейные связи, обеспечивавшие целостность узкого — и находившегося под постоянной угрозой — жизненного мира, во многих случаях вели к своеобразному возврату к традиционным гендерным отношениям. Более того, дистанцирование от всего официального означало и дистанцирование от советской идеологии гендерного равенства[22]. Поэтому, хотя жизнь в альтернативных культурных и политических кругах открывала женщинам возможность стать политическими субъектами и сформировать альтернативную

Дистанцирование от всего официального означало и дистанцирование от советской идеологии гендерного равенства. Поэтому, хотя жизнь в альтернативных культурных и политических кругах открывала женщинам возможность стать политическими субъектами, сама принадлежность к этому сообществу нередко лишала их субъектности в другом отношении, что вновь приводило к их публичной невидимости.

общественную идентичность, сама принадлежность к этому сообществу нередко лишала их субъектности в другом отношении, что вновь приводило к их публичной невидимости. Помимо этого, андерграунд на структурном уровне интернализировал тот дисбаланс между женщинами и мужчинами в быту и семье, который вопреки догме равноправия превалировал в советском обществе в целом.

Язык советского андерграунда во многом формировался мужской богемной культурой, которая в разных вариантах со-

20 Олеся Авраменко приводит немало свидетельств — Юлии Нельской-Сидур, Натальи Абалаковой, Эндрю Соломона, Веры Митурич-Хлебниковой и других — не только о роли женщин как жертвующих собой ради мужа подруг жизни, но и конкретно об их каждодневной домашней работе и зарабатывании денег для семьи (Авраменко О. *Указ. соч.* С. 34–42).

21 Один из наиболее ярких примеров семейного типа организации подполья — группа Лианозово. Более того, Михаил Берг иллюстрирует свой тезис о «референтной» сплоченности неофициальной культуры свидетельством Бориса Иванова: «даже большинство браков заключалось, не выходя из своего круга» (Берг М. *Литературократия: проблема присвоения и перераспределения власти в литературе.* М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 244).

22 См. об этом отчуждении в 1970-е не только в диссидентских кругах, но и в среде либеральной интеллигенции, и в советской публичной сфере в целом, в том числе и в контексте позднесоветского «кризиса мас-

единяла в себе черты многовекового русского патриархального уклада, военно-лагерного опыта и современных западных образцов — таких, как битничество, популярное в 1960–1970-е. Языковые перформансы этой гибридной — но отнюдь не противоречивой, так как всегда подчеркнуто мужской — идентичности повсеместно встречаются как в позднесоветских эго-документах, так и в воспоминаниях на протяжении всего периода постистории андерграунда с 1990-х по 2020-е. Приведем типичные фрагменты из «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны» (1980–1986) — девятитомника лирики, изданного Константином Кузьминским и Григорием Ковалевым после эмиграции и содержащего копии множества уникальных рукописей поэтического самиздата. Комментарии и воспоминания самого Кузьминского — поэта-провокатора, харизматика и антисоветчика — накладывают неизгладимую стилистическую печать на это издание[23]:

> «Началось с Владимира Таренкова, который у меня гвозди в пиве варил / накалит над газом, а потом — в пиво: "Так, говорит, железистей, и для печени тоже". / Больше ничего о нем не знаю. Стихов не читал. Пили. […] Приходим с Палеем чуть не в полночь, а они на Фонтанке. […] Естественно, водка у них еще была, а потом на Московский к таксерам сгоняли. […] Утром мы, освежившись, на Галича нарвались, а потом, в ЦПКиО, где Лев исполнял омерзительно-слюнявую "балладу" Лившица "О куске хлеба", я не выдержал, но кажется, сблевал. […] А потом сидели в поплавке, где Лев с воодушевлением рассказывал об одной подруге: "Ее, говорит, звали Сталиной. Я ее е…л, как врага народа!" Ну чем не Юз. […]
>
> Ко мне она [Наталья Галкина] приходила уже с Чейгиным и Куприяновым, почему и не запомнил. Предпочитал более юных дам, а не ровесниц, которых е…ь — как полкового товарища. Не в кайф. […]

Даем слово Нестеровскому:

> **Монолог м…а**
> Я по призванию м…к,
> Что значит попросту м…а,
> Я провокатор, заводила,
> Организатор склок и драк»[24].

кулинности», в: Здравомыслова Е., Темкина А. *Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О муже(N)ственности* / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 432–451; Кон И. *Мужчина в меняющемся мире*. М.: Время, 2009. С. 134–142.

23 Имена, встречающиеся в цитатах, принадлежат более или менее близким друзьям и знакомым Кузьминского; как эти имена, так и не всегда ясный ситуативный контекст описываемых эпизодов не играют в моей статье значимой роли и поэтому не комментируются. (Будучи ограничены требованиями российского законодательства, мы вынуждены цитировать некоторые литературные произведения с искажающими их эстетическую цельность купюрами. — *Примеч. ред.*)

24 Цит. по: *Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны* / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев (https://kkk-bluelagoon.ru/).

Эти цитаты интересны по нескольким причинам: Кузьминский употребляет нонконформистский сленг, представляющий из себя смесь мата и хулиганского арго с интеллигентским образованным языком; он упоминает свои и своих друзей сексуальные приключения, привычно используя вульгаризмы (тот же мат) и бытовой сексизм; он инсценирует на страницах своей антологии «театр» бескомпромиссной аутентичности, сознательной социальной девиантности и гордого антиглянца андерграундного быта. Цитата из Нестеровского создает атмосферу *стилистического единомыслия*: легитимации матерной лексики в поэзии как восстания против стерильности языкового официоза. Вся «Антология» представляет собой своего рода перформативную автобиографию художника жизни[25], собирающего вокруг себя людей, образы и бесконечное количество текстов — и складывающего их в жизнетворческое кредо:

> «Поэт и общество
>
> Мы переходим к “антисоциальной” [функции поэта]. Почему-то приличных людей / в “общепринятом” смысле / среди поэтов не встречалось. Пока их не пригладят академики и не обсосут читатели. Пушкин — эпиграммист, пьяница, бабник, венерик / “Первая […] болезнь была и первою кормилицей его поэмы”, — пишет Тургенев Вяземскому 18 декабря 1818 года. […] “Старое пристало к новому и пришлось ему опять за поэму приниматься, — радуется кн. Вяземский, — Венера пригвоздила его к постели”. Впрочем, по меркам своего времени и своего социума, они вели себя не хуже, а даже лучше Есенина век спустя. Такой Есенин или Пушкин, естественно, не годится “для широких масс”. […] Поэтому и совершенно безгрешный “Роман без вранья” Мариенгофа переиздан лишь сейчас. […] О как нас оберегали! Оберегают и по сю»[26].

Субверсивную антисоциальность своего круга Кузьминский легитимирует историко-литературной генеалогией: крупные поэты прошлого были пьяницами, болели венерическими заболеваниями, порой унижали или даже били своих жен (в том же контексте он упоминает Есенина и Айседору Дункан) и выступали против государства[27]. Романтический пушкинский прообраз «Поэт и толпа», перефразированный Кузьминским в заглавии процитированного фрагмента «Поэт и общество», оправдывает или даже неизбежно включает в себя личное «несовершенство» мужчины-творца: домашнее насилие, наркозависимость, сквернословие, пьянство, полигамию

25 Кузьминский не раз называл антологию своей атобиографией, например, в документальном фильме «Константин и Мышь» (режиссер Андрей Загданский, 2006) (www.zagdansky.com/konstantin-mouse).

26 *Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны*.

27 Помимо этого, Кузьминский не раз называл себя наследником эпатажников-футуристов.

и использование женщин как сексуальные объекты. Личные пороки становятся политическим жестом аутсайдера и одиночки. В первой цитате упоминается и другой из единомышленников, а также «единословников» Кузьминского: это «Юз» — Юз Алешковский, поэт-матерщинник, сатирик и диссидент, один из самых талантливых перформеров хулиганской, в стихах и прозе часто эксплицитно сексистской, маскулинности.

Характерно, что облик и харизма принципиального антиприспособленца Кузьминского до сих пор не пересматривались с точки зрения инсценировки маскулинности. Его друзья и знакомые не раз писали о шокирующей предвзятости его поэтических суждений, о его непорядочности и бабничестве, многие ссорились с ним, но практически никогда не тематизировалась гендерная составляющая его жизнетворчества — в быту и на страницах его так часто цитируемых поэтами и специалистами-академиками эго-документов. В популярной интеллектуальной истории за Кузьминским давно закрепилась репутация *l'enfant terrible* русской неподцензурной поэзии: к этому имиджу, активно культивировавшемуся самим поэтом, прибегает, например, режиссер документального фильма «Константин и Мышь» (2006) Андрей Загданский:

> «*L'enfant terrible* русской литературы Константин Кузьминский живет в крошечной деревушке на севере штата Нью-Йорк, на берегу реки Делавэр, в старом покосившемся доме у железнодорожного переезда. Его свобода абсолютна. Его преданность искусству безгранична. Он живет среди своих книг, художественной коллекции, кошек и стихов»[28].

Характерно, что тексты «Антологии» воспринимаются вплоть до сегодняшнего дня в основном только как ценная, пусть и субъективная летопись «второй культуры», но не как *перформативное свидетельство культурного поведения андерграунда*, говорящее об экспонированной для публики и потомков системе ценностей. Жесты, язык и поза Кузьминского-издателя почти всегда упоминаются как простительная личная слабость и индивидуальная художественная идиосинкразия гения, которая при ближайшем рассмотрении оборачивается скорее достоинством, признаком незаурядности и таланта. Так, в статье «Википедии» о Кузьминском, своего рода зеркале и источнике

28 Там же. В фильме слово предоставляется самому Кузьминскому, появляющемуся перед камерой в основном совершенно голым, а порой в разных костюмах — шамана, гуру, кавказца, — и его жене Эмме Кузьминской по кличке «Мышь». В фильме, ставящем во главу угла перспективу уникальной личности Кузьминского, нет места критическому анализу его порой откровенно сексистских высказываний. Эмма выступает в фильме в функции няньки, медсестры, хозяйки и фотодокументатора перформансов любимого мужа. Из интервью с ней становится очевидным, что она ценит его безоговорочно и принимает вместе с его изменами, нищетой и запоями.

сведений, закрепившихся в популярной культурной памяти, цитируется исследователь неофициальной советской поэзии Владислав Кулаков:

> «Кузьминский — *enfante terrible* русской поэзии — своим стилем и имиджем может шокировать кого угодно. […] Но одно дело имидж и личные вкусы […] и совсем другое — результаты многолетней издательской работы. А они, как говорится, налицо»[29].

Кулаков проводит здесь четкую разделительную линию между имиджем и персоной издателя. В той же статье цитируется и английский историк советского андерграунда Джон Боулт:

> «Более невероятного составителя, более иконоборческого публициста, более нетерпимого комментатора, чем г-н Кузьминский, […] трудно было бы и представить. Но самое любопытное, что именно г-н Кузьминский, […] верный рыцарь диссидентской музы и центральная фигура ленинградского полусвета, должен был воссоздать словесный образ второй советской литературы»[30].

Не остается сомнений, что популярное знание отражает вплоть до сегодняшнего дня не просто общие представления и культурно-исторические мифы, но исследовательский мейнстрим. В вышедшем в 2022 году сборнике, посвященном Кузьминскому и его антологии, редкие и скупые, чаще всего попутные упоминания исследователями гендерного поведения поэта показательны с точки зрения используемых эвфемизмов или техники неназывания своим именем примеров откровенного языкового и поведенческого гендерного сексизма. Этот академический хабитус демонстрирует негласное приятие или по крайне мере толерантность по отношению к определенным высказываниям и их языку. Так, Юлия Валиева нейтрально или даже положительно приводит ответ Кузьминского на очередной грубоватый пассаж:

> «Охапкин: …Надо давать [издавать] всех более или менее видных авторов… Разумеется, кроме баб. Пусть они сами сооружают свою клумбу. […]
>
> [Кузьминский:] Не хочется писать о бабах. О поэтессах в особенности. Но без них никак. […] Все-таки женщины в поэзии могут что-нибудь сотворить!»[31]

29 Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьминский,_Константин_Константинович.
30 Там же.
31 В этом месте статьи описывается, как Кузьминский любил и ценил отдельных поэтесс: «Наденьку Полякову, Наталью Грудинину, Анну Ахматову, Татьяну Гнедич» (по заглавию его очерка). Валиева Ю. *Концепции периодизации «второй культуры»: Олег Охапкин — Константин Кузьминский (По материалам Amherst Center for Russian Culture) // На берегах Голубой лагуны. Константин Кузьминский и его Антология* / Сост. И. Кукуй. М.; Бостон; СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2022. С. 421–422.

В том же сборнике поэт Иван Ахметьев цитирует Кузьминского:

> «“[Я] потерял всякое уважение к пишущей женщине. […] Я, правда, их [женщин] стихов не читаю. С меня хватит Леночки Шварц” — и комментирует эту цитату так: “При ярко выраженном интересе к женщинам как сексуальным объектам ККК [Кузьминский] скептически оценивал их способности к поэзии. […]. В общем, ККК и политкорректность — несовместимы”»[32].

«Политкорректность» здесь — необязательный для настоящего художника жест, отсутствие которого вполне можно и простить.

Я так подробно остановилась на Кузьминском, потому что он воплощал одну из крайних, но отнюдь не исключительных позиций в среде и жизненном мире советского андерграунда. Более того, крайние позиции создавали миф и харизму неофициальной культуры. Одним из таких мифов был, например, художник Анатолий Зверев — пьяница, женолюб и женоненавистник, он появляется во многих мемуарах как автодеструктивный гений спонтанного рисунка-перформанса, русский Поллок, скандалист, безумец и безбытник. В книге с говорящим заглавием «*Идеально другие*. Художники о шестидесятых» (2022, курсив мой. — К.С.) филолог Вадим Алексеев интервьюирует неофициальных художников, стремясь передать достоверные, из первых рук, сведения ушедшей эпохи. Так, рассказ Валентина Воробьева о Звереве и быте андерграунда — «алкогольно-художественного мирка»[33] — интересен не только содержанием, но и стилем, который я бы обозначила оксюмороном «перформанс аутентичности»:

> «Мой подвал был открыт решительно всем — и алкашам, и художникам, и ворам, и участковым, и б…м. […] Холин устраивал банкеты и тащил туда баб. […] Он [Зверев] мог сидеть и п…ь с ним часами. […] Он запрещал бабам смотреть на мужиков. […] Считал, что бабы — неисправимые существа, которых надо казнить. […] У женщин есть свойство следовать, подчиняться своему водителю-мужику, и, если какая-то поэтесса или цыганка пытались за ним плестись, они сами превращались в стопроцентных шизофреников»[34].

Субъект и объект этой речи — помимо воли Воробьева, который дистанцируется от «дикаря»-Зверева, — полностью сливаются в едином пространстве особого гендерного языка

32 Ахметьев И. *К.К. Кузьминский и Москва. Предварительные выкладки // На берегах Голубой лагуны…* С. 545.
33 *Валентин Иванович Воробьев // Идеально другие. Художники о шестидесятых* / Сост. и ред. В. Алексеев. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 318.
34 Там же. С. 318–336.

и поведения. Тип бунтаря-дикаря, «дикого мужчины», вписывался в общепринятую систему ценностей и быта подполья. Так, языковой перформанс художника-хулигана — один из самых ярких приемов в издании «Газаневщины», важного архива Газаневской культуры, вышедшего в трех изданиях[35]. Составитель книги — неофициальный художник Анатолий Басин — описывает в форме свободного стиха, помимо прочего, как они в составе круга Александра Арефьева искали вдохновение для своих картин в среде неприглядного, криминального быта послевоенного Ленинграда и подсматривали сцены изнасилования, драк и убийств:

> Мы увидели: кухня, сидит мужик, жрет щи;
> спущены порты: на коленях сидит его баба,
> он ее е..т.
> […]
> Проблема: можно ли увидеть, как баб насилуют,
> не насилуя их,
> Где это увидишь, если за это дают срок.
> Шли поиски[36].

Сцена особенно «мощного» группового изнасилования заканчивается успешным бегством художника от «восьми мужиков», которые обнаруживают его сидящим на дереве[37]. Этическая и творческая трансгрессия — жест идейного преступника, нонконформиста, нередко отсидевшего в тюрьме, стремящегося к правде жизни, — это акт неповиновения предписанным государством нормам. Одной из наиболее харизматичных фигур круга Газаневщины был сам Арефьев, о котором Басин пишет:

> Чем крепче талант, тем
> брутальнее собственной жизни он в состоянии
> обыграть «придавая артистизм компании».
> Поленница дров[38] — это еще одна такая же добрая
> вещь для художника
> из ряда провокаторов-стимуляторов, как
> «крайний оригинал», «сексуальная горячность», […]
> где талант — иммунная система[39].

С восхищением описывает Басин, как «могучий Арех» убил ножом и собственными руками свинью, как в состоянии опья-

35 *Газаневская культура о себе (в компиляции и редакции А. Басина)*. Л.; Иерусалим, 1974–1989; *Газаневщина* / Сост. и ред. А. Басин, Л. Скобкина. СПб.: П.Р.П., 2004; Басин А. *Наши ниши: Газаневщина 3*. СПб.: ДЕАН, 2015; см. об этом издании в: Smola K. *Gazanevshchina: Experimental (Life) Artists of Leningrad* // Lipovetsky M., Glanc T., Engström M., Kukuj I., Smola K. (Eds.). *Op. cit.* P. 842–864.

36 Басин А. *Указ. соч.* С. 16.

37 Там же.

38 На дровах художники сидели, подглядывая в окно женской бани.

39 Там же. Пунктуация и синтаксис оригинала сохранены.

нения он выдавал гениальные тексты, как, дорожа мужской и творческой дружбой, помогал достать обезболивающее для больного костным туберкулезом друга Роальда Мандельштама[40]. Творчество Басин конципирует, помимо этого, как мужскую потенцию, а творческий акт — как семяизвержение. Своих друзей и свою «сексуальную горячность», интерес к сексуальным сценам и к подглядыванию Басин определяет так:

> Но у нас это уходило не в бабу —
> Мы сохраняли эту горячность в себе
> Совместно с духом […]
> А изобразительные средства
> Сами выльются из тебя: […]
> Увидеть объект и затрястись от него
> изобразительными средствами,
> и самым острым способом его выразить. Личным[41].

Принимая в свою среду на равных некоторых избранных поэтесс и художниц, многие подпольные художники выстраивали свой художественный имидж в целом именно с помощью отличительных признаков маскулинности, кодов пола и нередко культурно опосредованной сексуальности. Эти особенные признаки мужского не были простым арифметическим различием, но включали в себя — в разных вариациях — целый комплекс черт Другого. Так, сленг был не только кодом «домашней семантики» мужской солидарности, но и перформативным медиумом близости к низкому как высокому. Возвышенное — отверженность, одиночество и жертвенность — инсценировались благодаря общему стилю.

Субверсивная вульгарность: мат, пьянство и советские битники

Реабилитация исследований мата и вульгаризмов (в какой-то момент они даже стали конъюнктурными) в советологии стала симптомом детабуизации определенных академических тем начиная с 1990-х. «Грязный» язык как одно из важных средств самовыражения не только люмпенизированного советского населения — от лагерников до уличной шпаны, — но и либеральной интеллигенции, оппозиционных интеллектуалов и артистической богемы стал предметом пристального аналитического внимания к тому, что прежде находилось вне территории академического мейнстрима. Кроме того, нецензурная лексика

40 Там же. С. 17–19.
41 Там же. С. 15.

в подпольной советской литературе стала живо интересовать исследователей как знак творческой деконструкции культурного канона и прием концептуальной игры с разговорным языком типичного *homo sovieticus*.

Анализируя эти и другие примеры некодифицированного советского языка, исследователи употребляют такие понятия, как «языковое сопротивление»[42], «язык самообороны»[43] или «противояз»[44]. Приводя эти формулы, Ингунн Лунде говорит о «деидеологизация языка после распада Советского Союза»[45]. Во всех этих работах — и их оптика доминирует до настоящего времени — игнорировалась и таким образом вольно или

Нецензурная лексика в подпольной советской литературе стала живо интересовать исследователей как знак творческой деконструкции культурного канона и прием концептуальной игры с разговорным языком типичного *homo sovieticus*.

невольно воспроизводилась культура мата и вульгаризмов. Харизма вульгарного языка как несоветского и антисоветского, особенно когда им пользовались нонконформисты, художники и лагерники-интеллектуалы, анализировалась и все еще анализируется как *универсальное*, не связанное с гендером оружие против лжи, идеологии и официоза.

Мат как предмет остранения в прозе и стихах неофициальных литераторов очень часто — хотя не всегда и не у всех — становился неотъемлемой стилистической чертой положительных героев и лирического «я» писателя, отражая его собственное альтернативное, а иногда и бунтарское жизнетворчество и жизненный мир. Это практиковалось такими разными авторами, как Василий Аксенов, Венедикт Ерофеев, Дмитрий А. Пригов, Тимур Кибиров и Юз Алешковский. Чтобы определить характер и степень идентификации автора с языком героя, потребовался бы индивидуальный анализ (анти)идеологии

42 Купина Н. *Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.

43 Вежбицкая А. *Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны* // Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 107–125.

44 Сарнов Б. *Наш советский новояз: маленькая энциклопедия реального социализма*. М.: Материк, 2002.

45 Lunde I. *Newspeak, Counterspeak and Linguistic Memory // Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. P. 19–20. Художественный критик и журналист Виктор Кирхмайер в 2001 году следующим образом выразил ностальгию по «языку контркультуры» (не обязательно вульгарному): «Вместе с официальным советским жаргоном в прошлое уходит и язык контркультуры. Язык рок-музыкантов и подпольных художественных тусовок, эзотерических искателей и диссидентов. […] Он был символом независимости от “совка”» (Кирхаймер В. *Спасите советский жаргон!* 2001. 8 июля).

самих подпольных текстов. И хотя в целом ряде случаев присутствовало именно творческое остранение вульгарного языка, его использование подпольными поэтами, художниками и их дружеским окружением, зафиксированное в художественных и автобиографических эго-документах, нередко происходило *в той же лингвистической системе ценностей* и — как и сама созданная ими художественная литература (а не отдельные представленные в ней субъектности героев) — становилось перформативным выражением свободы и противостояния политическому насилию[46].

Эти факты важны для моего исследования, поскольку отражают невидимость, «нейтральность» и «естественность» гендерной идеологии тогда и сегодня: идеологии, которая была неотъемлемой частью языка свободы. Подхватывая выводы исследователей, но, в отличие от них, обнажая *не общеполитическое, но гендерное языковое насилие*, надо отметить, что сексистский характер матерного языка проявлялся не только и не столько сам по себе, сколько в определенной системе исторической, бытовой и символической кодировки той или иной среды. Помимо агрессивно-маскулинных импликаций самих матерных слов и выражений, служивших бесконечным источником языкового порнотворчества, жаргон нонконформистов отражал особенности собственной политической истории: «гонения на "политических", […] гражданская война, пересылка миллионов людей по этапам и лагерям, перетасовка их в "местах не столь отдаленных" с уголовными преступниками»[47]. Как точно описывает Валерий Мокиенко, «поэтизация» жаргонизмов в песнях бардов, в культуре и литературе диссидентов 1950–1970-х во многом соответствовала «варваризации литературного языка»[48]. ГУЛАГ принес с собой в среду нонконформистов не только сам жаргон, в том числе и матерный, но и заложенное в нем насилие лагерной среды. В художественном подполье матерный сексизм сочетался с интеллектуализмом и эрудицией, что восходило к образам отсидевших в сталинских застенках

46 С 1990-х стали появляться словари жаргонной и матерной лексики, которые свидетельствовали не только о канонизации мата, но и — особенно с 2000-х — о его политической субверсии. См., например: Плуцер-Сарно А. *Большой словарь мата. Т. 1. Опыт построения справочно-библиографической базы данных лексических и фразеологических значений слова «х…й»*. СПб.: Лимбус Пресс, 2005; Он же. *Большой словарь мата. Т. 2. Лексические и фразеологические значения слова «п…а»*. СПб.: Лимбус Пресс, 2005. (В названиях этих трудов эксплицитные слова давались без купюр, которые введены здесь исключительно из уважения цайтгайста и буквы закона РФ. — *Примеч. ред.*)

47 Мокиенко В. *Субстандартная фразеология русского языка и некоторые проблемы ее лингвистического изучения* // La Revue russe. 1994. № 7. С. 57. Елена Здравомыслова и Анна Темкина приводят исследования о формировании маскулинности в послевоенное время в советском обществе в целом: «Массовая безотцовщина, по мнению исследователей, привела к формированию специфических образцов мужественности. Брутальная маскулинность, склонность к насилию, […] есть результат воспитания мальчиков в […] средах, где нет воздействия старших мужчин и идет компенсаторное развитие мужской личности» (Здравомыслова Е., Темкина А. *Указ. соч.* С. 437).

48 Мокиенко В. *Указ. соч.*

поэтов, художников, писателей и ученых. Несмотря на то, что сексуально-агрессивные коннотации матерного языка часто оставались лишь в подтексте, потому что мат мог обоз начать что угодно, утрачивая свой первоначальный референт, в искусстве и жизнетворчестве он был прерогативой мужского перформанса.

Другим значительным влиянием, формировавшим мужской флер андерграунда, был культ альтернативной маскулинности, воплощаемый американскими субкультурами 1950–1970-х, прежде всего битничеством. Мизогинный характер маскулинности американских битников-интеллектуалов и писателей начал анализироваться со второй половины 2010-х. Бунт Герберта Ханке, Аллена Гинзберга, Уильяма С. Берроуза, Люсьена

В художественном подполье матерный сексизм сочетался с интеллектуализмом и эрудицией. Несмотря на то, что сексуально-агрессивные коннотации матерного языка часто оставались лишь в подтексте, в искусстве и жизнетворчестве он был прерогативой мужского перформанса.

Карра, Джека Керуака и других против консервативно-патриархального уклада послевоенной Америки и такого же идеала мужчины-семьянина обладал харизмой принципиально антиидеологического нонконформизма, воплощавшегося в употреблении запрещенных субстанций, пацифизме, отказе от работы на государство и сексуальной трансгрессии. Однако его отличала и другая подспудная идеология — идеология агрессивного мужского братства, построенного на принципе гендерного исключения.

Анализируя социальные типы маскулинности в Америке 1950-х как формы того, что он называл «homosocial enactment» («моносоциальная перформативность»), Пьер-Антуан Пеллерен описывает сугубо «мужские» коды творчества, которые культивировали битники и Хемингуэй:

> «[Как и Хемингуэй,] Керуак, сравнивая себя со спортсменом, а процесс письма — с бегом на короткую дистанцию, футбольным матчем или боксерским поединком, воспроизводит тот же идеал маскулинности. Эти сравнения особенно показательны в контексте эпохи, когда даже президент США Джон Ф. Кеннеди считал американцев слишком “изнеженными”. Для Керуака письмо должно было передавать пот, слезы и кровь, которых ему стоило его создание»[49].

49 Pellerin P.-A. *Reading, Writing and the “Straight White Male”: What Masculinity Studies Does to Literary Analysis* // Angles. New Perspectives on the Anglophone World. 2016. № 3. P. 1–17; см. также: Johnson R.

Описание телесных жидкостей, связанных с процессом творчества как телесной трансгрессией и физической жертвой, напрямую корреспондирует с концепцией творчества как перенаправленной, не растрачиваемой на женщину поллюции писателей и художников советского андерграунда. Цитированный выше Валентин Воробьев, описывая подвальную жизнь «Хвоста» (Хвостенко), Ентина, «инвалида Бори Понизовского, приятеля Нусберга», Холина, Сапгира, Кузьминского в 1960-х, пишет:

> «Они подражали американским битникам, жили автостопом. […] Хвост делит общество на две части — гениев и мусор, быдло, которое обязано содержать гениев. А гений ничего не обязан. […] После больших выпивонов все битники с бабьем шли в пивные бары»[50].

О влиянии битников на поколение шестидесятников писал Василий Аксенов[51]. Сам активно культивировавший жизнетворчество брутального и харизматичного мужчины-аутсайдера, Аксенов говорит о политической наивности битников и противопоставляет им свое советское поколение, которое вольно или невольно было более политизированным и по-настоящему гонимым властью. В этом смысле можно сказать, что к американскому битничеству наиболее близка была именно андерграундная и полуандерграундная богема, часто совершенно равнодушная к прямому политическому действию или считавшая политикой именно свое неучастие в ней или сам факт создания «другого» искусства. Именно в среде такого неучастия и аполитизма гендерный перформанс обретал особенно важное значение как замена прямого «мужского» действия. Советская диссидентская маскулинность сочетала «западные» поведенческие модели битников и мужской богемы с традиционной гендерной социализацией, характерной для российского общества в целом, включая, в частности, среду шестидесятников.

Помимо битников — но в тесной связи с их гендерно окрашенными ценностями, — воплощением свободной Америки в России 1960-х был упомянутый выше Эрнест Хемингуэй:

The Beats and Gender // Belletto S. (Ed.). *The Cambridge Companion to the Beats (Cambridge Companions to Literature)*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 162–178. Тимоти Ходгдон сопоставляет два контрастных хиппи-сообщества 1960–1970-х — «The Farm» и «The Diggers»: «"Диггеры" […] превозносили мужественность человека вне закона — воина коренных народов Америки, активиста "Черных пантер", богемного художника» (Hotgdon T. *Manhood in the Age of Aquarius: Masculinity in Two Countercultural Communities*. New York: Columbia University Press, 2008).

50 *Валентин Иванович Воробьев*. С. 321–322.

51 Aksyonov V. *Beatniks and Bolsheviks* // The New Republic. 1987. November 30 (https://newrepublic.com/article/63633/beatniks-and-bolsheviks).

> «Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст. […]
>
> "Свои" всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы не променял "водку на бабу"»[52].

Сочетание хемингуэевских культа дружбы, отказа от красивости и такой же культовой роли алкоголя выражался в русском варианте в употреблении матерного языка, унизительных высказываний о женском поле и частичной самоидентификации с преступным миром ГУЛАГа[53]. Характерно, что в книге, так точно проанализировавшей гендерный дух эпохи, в целом делается положительный вывод о влиянии Хемингуэя на русскую интеллигенцию:

> «И все же Хемингуэй […] привил поколению презрение к позе. […] Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу […]. Конечно, хемингуэевский идеал негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания»[54].

Не оценивая верность или неверность этого вывода, мне важно отметить, что и здесь наблюдается то же слепое пятно, свойственное критической эпистемологии советологов: за пределами видимости исследователей остается перформативная власть гендерной позы богемы, которая в приведенной цитате определяется как «мужественное и застенчивое умолчание». Здесь деконструкция советской культуры не включает в себя оптику полового неравноправия, более того — она *воспроизводит гендерный перформатив советской эпохи*.

То, что мы сегодня назвали бы токсичной или агрессивной маскулинностью, не было «привилегией» богемных культур 1950–1960-х — десятилетий, в которые наиболее явственны были, с одной стороны, влияние послевоенного лагерного криминала, с другой, увлечения американскими субкультурами. В разной степени перформативный гендерный язык аутсайдеров наблюдается и в 1970–1980-е. Так, группа «Мухоморы», развертывавшая свои перформансы с конца 1970-х по середину 1980-х, во многом концептуализировала себя как карнавальное подражание-пародию на «отцов» московского концептуализма —

52 Вайль П., Генис А. *Указ. соч.* С. 156.

53 Здравомыслова и Темкина пишут также об образце кодекса части и бытового поведения декабристов, «диссидентов XIX века», для мужчин либерального советского общества, что делает картографию влияний еще более гибридной: «Романтический образ декабриста предполагал также дебоширство, которое считалось выражением либерального мировоззрения» (Здравомыслова Е., Темкина А. *Указ. соч.* С. 444).

54 Вайль П., Генис А. *Указ. соч.* С. 156.

Андрея Монстырского, Илью Кабакова, Эрика Булатова, Эдуарда Гороховского, Ивана Чуйкова и других. Эдипов комплекс «Мухоморов», состав которых был не менее мужским, чем их предшественников (Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Алексей Каменский, Сергей Мироненко, Владимир Мироненко)[55], выражался, помимо прочего, в игровой идентификации старших концептуалистов-интеллектуалов с люмпенизированным, полукриминальным *homo sovieticus*. В стихотворении «Хлеб и лира» «Мухоморы» придумывают сцену блатной ссоры между старо-концептуалистами:

> — Эй, Горох, ты чего выступаешь?
> огрести захотел — огребешь!
> ты в натуре так понимаешь?
> а Горох говорит: Ща умрешь!
> только было Горох замахнулся
> как увидел — подходит Кабак
> лажа дело. Он крупно обулся
> понял это. Горох — не м…к.
> потихоньку к забору х…л он[56].

Здесь мы имеем дело с двойственной гендерной политикой позиции одновременно *вне и внутри*. С одной стороны, идентификация авторов-«Мухоморов» со своими героями невозможна вследствие иронического остранения — автор-концептуалист перформативно идентифицирует себя со своим персонажем. Но включенность этого и многих других текстов «Мухоморов» в поле определенного гендерного языка осуществляется именно потому, что его гендерный характер не проблематизируется. Эксцессивное воспроизведение агрессивного «мужского языка» — матерного сленга (как, например, и в стихотворении «Поди сюда, б…, на х…, парень!»[57]) перекликается с фотографическими перформансами голых «Мухоморов», в которых они выставляют напоказ задницу или гротескно увеличенный пенис[58].

> «Дорогие друзья! Только, ради Бога, не подумайте, что мы дураки или подонки. […] Я, например, очень люблю стихи Лермонтова, а Сережа часто плачет по ночам от несчастной любви. Свен просто женатый человек и, наверное, обожает детей, Вовик любит животных»[59].

55 Этому не противоречил тот факт, что в составе или в отдельных перформансах концептуалистов обоих поколений были и художницы.
56 *Мухомор* / Ред.-сост. А. Обухова; худ. ред. К. Звездочетов. М.: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. С. 62.
57 Там же. С. 79.
58 Там же. С. 82.
59 Там же. Пунктуация оригинала сохранена.

В этом комментарии к перформансу «неприличной» мужской наготы сам за себя говорит жест противопоставления собственного сексуализированного стеба идеалу приличного, гуманного гражданина советского общества, хорошего отца и семьянина. Один из самых ярких представителей старшего андерграунда, имевший обыкновение встречать гостей совершенно голым или в незапахнутом халате, был Константин Кузьминский. В альманахе самиздата «Аполлон 77» на фотографии-триптихе (фотомонтаж Михаила Шемякина 1970 года) запечатлен голый Кузьминский в симметричных художественных позах, в том числе с широко расставленными ногами, обнажающими его гениталии, и с сигаретой. Под фотографией Владимир Петров слагает своеобразный оммаж поэту: «Человек-легенда. Никакие биографические сводки-выжимки не дадут вам ЖИВОГО поэта и никакие развернутые аннотации»[60]. Нагота обретала культурное и художественное значение, находящее свои параллели в движении хиппи, — в перформансах как артефактах или же в непрекращающемся перформансе личной жизни. «Мухоморы» называли свои перформансы «выходками», пародируя моральный язык взрослых и идентифицируя себя с непослушными детьми, *enfants terribles*, попирающими признанные авторитеты не только советского общества, но и подпольного искусства. При этом они наследовали гендерному канону ряда своих предшественников.

В среде андерграунда поза инфантилизма нередко входила в комплекс черт маскулинности аутката, по-разному сочетаясь с другими чертами — неофутуриста-провокатора, избранного или мученика. Группа «Мухоморы» — один из наиболее ярких примеров неофициального жизнетворчества, создававшегося с помощью образа мальчишки-хулигана и артистической группировки как хулиганской банды[61] уже не послевоенного, а предперестроечного времени. Но и здесь аура антисоветского была тесно связана с перформансом провокативной, презирающей нормы маскулинности.

Комплекс черт маскулинности, определявший поведенческие и языковые коды советского андерграунда, был сложносоставным явлением, впитывавшим не только разные генеалогии, но и в неравной степени включавший в себя разные элементы субкультурного существования, социальной или этической девиантности. Сюда относятся, например, тяжелое

60 *Аполлон 77. Литературно-художественный альманах* / Ред. М. Шемякин. Париж: Arts Graphiques de Paris, 1977. С. 137.

61 Атрибут «хулигана» был крепко связан в условиях диктатуры со смелыми художественными и интеллектуальными открытиями, начиная от образа уголовника Абрама Терца, созданного Андреем Синявским в 1950-е, до субкультур 1980-х (см., например, книгу-архив: Бастер М. *Хулиганы-80*. М.: Т.С.И., 2009).

пьянство и опыт психиатрии. Одно из множества свидетельств об этом — воспоминания художника Олега Целкова о себе и своих друзьях, например о буйстве тяжелого алкоголика Евгения Михнова-Войтенко[62]. О себе и своем друге Дмитрии Краснопевцеве Целков пишет:

> «Я […] главным образом занимался пьянством, не черным, запойным, скорее был любителем погудеть среди пьяниц. Мне очень нравились пивнушки, пивные ларьки — это была целая культура, в которой я был своим. Если бы я не уехал, то стал бы не Зверевым, а Димой Краснопевцевым, который мрачно и одиноко последние годы пил. Силы, видимо, иссякли, потенции не было. Живешь на износ, еще дышишь, проходит время, и уже плевать, покупают картины, не покупают»[63].

Целков относит себя к «легкой» культуре пьянства, составлявшей непременный атрибут быта подпольного существования; Краснопевцев, напротив, ассоциируется в воспоминаниях Целкова с алкоголем как эскапизмом отчаявшегося и одинокого художника. В эго-документах художников и поэтов культура алкоголя почти без исключения связывается с миром мужчин. Целков типичным образом упоминает в этом контексте женщин как жен, временно терпевших своего мужа-алкоголика: «Какие-то жены у него [Михнова-Войтенко] бывали, которые терпели, а он их в конце концов выгонял»[64].

Комплекс черт маскулинности, определявший поведенческие и языковые коды советского андерграунда, был сложносоставным явлением, впитывавшим не только разные генеалогии, но и в неравной степени включавший в себя разные элементы субкультурного существования, социальной или этической девиантности.

Девиантный, этически трансгрессивный образ художника и поэта подполья держался на мифе избранничества. Говоря уже о начале 1980-х, музыкант Сергей Летов отмечает: «Образ художника-нонконформиста был тогда окутан романтическим флером — ну как бы *благородный разбойник*, человек из иного,

62 *Олег Николаевич Целков // Идеально другие. Художники о шестидесятых.* С. 273.
63 Там же. С. 288. Характерно, что Алексей Плуцер-Сарно, который издал словари русского мата (см. сн. 46), в 2011 году опубликовал в виде комментария к изданию поэмы Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» и статью «Энциклопедия русского пьянства».
64 Там же. С. 273.

необыденного, несоветского мира»[65]. Этим объяснялась «популярность у девушек» такого художника[66]. В 1960-е образ художника-избранника и гения был нередко связан с увлечением религией и мистикой. Художница Наталья Смолянская не без иронии вспоминает о своем визите к художнику Михаилу Шварцману как о вступлении в круг избранных:

> «Михаил Матвеевич восседал на стуле с высокой спинкой, как на троне. Он долго показывал и говорил про свои работы, а ночью он мне приснился — […] он продолжал объяснять значение иератур. Он говорил, что не считает возможным и нужным выставлять свои работы на выставках»[67].

Шварцман создавал свои живописные «иературы» (от греческого *hieros* — «священный») как медиум соприкосновения с сакральным. Процесс написания картин понимался Шварцманом как священнодействие и был называем «иератизмом». Смолянская напрямую говорит о «стене избранничества», которую последовательно воздвигал Шварцман. О другом художнике, Владимире Яковлеве, обладавшем аурой полуслепого пророка и мистика, Дмитрий Плавинский пишет: он создавал «безграничный мир жития внутри себя»[68]. О самом Плавинском его жена Мария пишет очень похоже: «Дима […] родился божественно одаренным художником»[69]. Анализируя художественный андерграунд 1970-х, Илья Кабаков писал о невозможности отделить картины от «ауры» личности художника и его жизнетворчества, его «влияния, иногда гипнотического»[70]. Кабаков аффирмативно воспроизводит в своих «Записках» — которые так часто цитировались искусствоведами и культурологами без всякого внимания к их гендерным конструкциям — миф харизматической и отчасти трагической маскулинности, выделяя типы аскетичного «средневекового художника-ремесленника» или пророка, создающего свой храм искусства в невидимой внешнему миру мастерской[71].

Культ художника как пророка, медиума, хулигана, героя и жертвы менялся в этих сочетаниях с 1950-х по 1980-е в соответствии с духом времени, но не менялся статус, почти всегда

65 Летов С. *Ленинград и окрестности. Первая половина 80-х // Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР. Сборник материалов* / Сост. Г. Кизевальтер. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 328.
66 Там же.
67 Смолянская Н. *Игры на обочине, или Взгляд со стороны* // Там же. С. 523.
68 Плавинская М. *О Диме и о восьмидесятых* // Там же. С. 483.
69 Там же. С. 486.
70 Кабаков И. *60-е–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве*. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 1999. С. 49.
71 Там же. С. 45–61. О Кабакове, который пишет практически исключительно о мужчинах, как о «преемниках советского гендерного контракта» см. в: Авраменко О. *Указ. соч.* С. 101; в целом С. 96–102.

гендерно окрашенный и работавший то больше с прообразом Христа, то с матрицей лагерника-интеллектуала, то с героями Хемингуэя или Керуака.

Заключение: Солженицын как Джеймс Бонд

С чуткой к стилям советской эпохи иронией Виктор Ерофеев в книге «Мужчины» (1997) сравнивает диссидентскую икону — Александра Солженицына — с западным героем-*womenizer* Джеймсом Бондом:

> «А ведь мог бы стать всенародным героем, как Джеймс Бонд! Семь лет лагерей, затем один на один “бодался с дубом”, победил смертельную болезнь. Тайники, стукачи, западные журналисты, обезумевшие гэбешники. Весь мир рыдал над книгой. Яркая, запоминающаяся высылка из страны. Дружеская рука Набокова. Какой суперменовский список! […] Не хватило обалденной блондинки и смокинга. Не хватило большого, крупнокалиберного пистолета»[72].

Помещая икону советского протестного движения в контекст американской массовой культуры, Ерофеев уловил сексуальную харизму и перформативный флер диссидентской маскулинности. И деконструировал ее. Десоветизация мышления означает — и в этом заключается вслед за Ерофеевым цель моей статьи — вскрытие не только хорошо видимых идеологий, но

Десоветизация мышления означает вскрытие не только хорошо видимых идеологий, но и тех, которые долго ассоциировались исключительно с языком свободы и позицией, принципиально противоположной или внеположенной принятым нормам и символам власти.

и тех, которые долго ассоциировались исключительно с языком свободы и позицией, принципиально противоположной или внеположенной принятым нормам и символам власти. Критический анализ гендерного языка советской неофициальной культуры *не* работает с тезисом о тотальном неравенстве полов в этой культуре и *не* предлагает панорамной картины гендерного порядка в ней. Скорее он вскрывает характерные формы репрезентации ряда важных ниш, сред и акторов этой

72 Ерофеев В. *Мужчины*. М., 1999. С. 35.

культуры. Этот анализ также не означает, что описанный язык маскулинности был свойствен исключительно андерграунду, но пытается вскрыть пересечения и влияния, обнаруживающие более широкие паттерны гендерного порядка — советских богем и советского общества в целом в определенный период времени.

Гендерная деконструкция, интересовавшая меня как метод этой статьи, не сфокусирована также напрямую на важном факте недостаточной представленности женщин-художниц и поэтесс в кружках и направлениях советского андерграунда или на недостаточной слышимости их голосов и недостаточной видимости их творчества. Она также сознательно избегает акцента на до сих пор еще мало исследованных отдельных случаях обретения женщинами субъектности в феминистских объединениях сам- и тамиздата. Внимание к перформативным

{ Внимание к перформативным формам маскулинности более всего показывает, как складывался гендерный канон в жизнетворчестве художественного подполья и почему так трудно было его пробить или обойти.

формам маскулинности более всего показывает, как складывался гендерный канон в жизнетворчестве художественного подполья и почему так трудно было его пробить или обойти. Оно показывает систему ценностей, основывавшуюся на языке неоговоренных иерархий и гендерных идеологий. Как было показано в начале статьи, влияние такого порядка на участниц андерграунда и на последующее изучение неофициального (анти)канона только начинает изучаться.

Приведем напоследок пример, бросающий свет на гендерные эпистемы и распределение символической власти в неофициальной культуре из перспективы одной из важных ее участниц. Проект Ирины Наховой «Комнаты» (1983) заключался в художественном обживании комнаты в ее квартире. Это была своего рода домашняя инсталляция, менявшаяся со временем и состоявшая из артефактов, действий и естественно населяющих замкнутое пространство людей вместе с их бытом. Фактически Нахова создала протопример «эстетики взаимодействия», теоретизированный Николя Буррио в конце 1990-х. Иосиф Бакштейн «переприсвоил», как вспоминает Маргарита Тупицына, проект Наховой, став приглашать и интервьюировать в этой комнате известных подпольных художников. Инновативное частное художественное пространство превратилось таким образом в более или менее традиционную репрезентативную

кулису для формирования канона с помощью передачи мужчинам голоса и слова: «Бакштейн ограничил “апостольский” список комментаторов двенадцатью художниками-мужчинами, которые, таким образом, стали неотъемлемой частью функционирования проекта»[73]. Почти символичным представляется тот факт, что во время этих интервью сама Нахова пряталась на кухне или уходила из квартиры. Ссылаясь на анализ этой ситуации Тупицыной, Нахова пишет: «я, хоть и не ощущала этой апроприации, ей неосознанно сопротивлялась»[74].

В конечном счете для меня важнее всего, пожалуй, именно этот — один из множества — факт неосознанности и приятия гендерных асимметрий самими творившими андерграунд людьми обоего пола. Речь здесь может идти не столько о личной ответственности, сколько о той «магии перформативных высказываний», о которой писал Пьер Бурдьё:

> «Подлинный источник магии перформативных высказываний заключается в тайне делегирования, благодаря которому отдельный индивид — король, священник или представитель — получает полномочие говорить и действовать от имени группы»[75].

В настоящей статье я попыталась охарактеризовать тот перформативный язык советского андерграунда, который помещал мужчину в позицию говорящего, наделяя его символическими знаками легитимности[76].

73 Tupitsyn M. *Op. cit.* P. 66; см. воспоминания об этом Наховой 2010 года в: Нахова И. *Две половинки гнилого яблока, или О техниках отделения сознания от тела // Переломные восьмидесятые…* С. 422–423.
74 Там же. С. 422.
75 Bourdieu P. *Language and Symbolic Power.* Cambridge: Polity Press, 1991. P. 75.
76 Ibid.

Евгений
Панков

Женщины Исландии и СССР: диалог на расстоянии



Евгений Сергеевич Панков (р. 2000) — младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

На протяжении последних десятилетий Исландия занимает лидирующие позиции в сфере гендерного равенства. Помимо многолетнего первенства страны в глобальных рейтингах[1], большим событием стал приход к власти на парламентских выборах в декабре 2024 года «правительства валькирий», как его прозвали журналисты: коалицию сформировали три партии, во главе которых стоят женщины[2]. Они же заняли ключевые посты в кабинете.

На пути к этим достижениям исландское общество проделало большую работу[3]. Однако историки и эксперты, как правило, недооценивают соответствующий вклад внешних сил, в том числе Советского Союза и его дипломатии. Документы из отечественных архивов свидетельствуют о том, что на всем протяжении советско-исландского диалога (1917–1991) Москва уделяла большое внимание «женскому вопросу» — борьбе исландок за равные права и возможности. Кроме того, контакты между женщинами двух стран способствовали разрушению стереотипов, а также усилению взаимопонимания и рационализа-

1 *Global Gender Gap by Country 2026* // World Population Review. 2026 (https://worldpopulationreview.com/country-rankings/global-gender-gap-by-country).

2 *Valkyrjustjórnin tekur við á morgun* // DV. 2024. 20 desember (www.dv.is/eyjan/2024/12/20/valkyrjustjornin-tekur-vid-morgun/).

3 Þorvaldsdóttir Þ.H. *The Gender-Equal North: Icelandic Images of Femininity and Masculinity* // Ísleifsson S. (Ed.). *Iceland and Images of the North*. Québec: Presses de l'Université du Québec, 2011. P. 405–434.

CASE STUDY 2

ции представлений жителей СССР и Исландии друг о друге. В совокупности это способствовало не только улучшению советско-исландских отношений, но и укреплению положения женщин в исландском обществе.

Коминтерн и «женский вопрос» в межвоенный период

В 1920-е, на фоне постепенного разочарования большевиков в перспективе мировой революции, все большее внимание во внешней политике Москва стала уделять формированию привлекательного имиджа советского государства в западных обществах. Социальные гарантии, которыми обладали женщины в СССР, использовались в качестве влиятельного аргумента в пользу коммунистической идеологии. Соответственно, и в пропаганде среди исландцев исполнительный комитет Коминтерна и местные коммунисты делали акцент на неравенстве между мужчинами и женщинами, которое сложилось на острове, и относили его на счет капиталистического строя, сопоставляя с советскими реалиями. К 1932 году в четырех городах Исландии — Рейкьявике, Исафьордюре, Сиглуфьордюре и Акюрейри — действовали женские комитеты, а в центральном комитете компартии Исландии — женский отдел во главе с Хатльфридюр Йоунасдоуттир, за счет Коминтерна издавались женские журнал (2000 экземпляров) и газета (500 экземпляров)[4]. Эпизодическое внимание «женскому вопросу» уделялось и на страницах других просоветских изданий.

Достижение равенства полов в Исландии не было конечной целью Москвы, прежде всего стремившейся поддерживать среди населения страны симпатию к советскому строю. Тем не менее продвижение идей о равенстве было побочным продуктом коммунистической пропаганды и способствовало не только распространению соответствующих взглядов, но и вовлечению женщин в политический процесс. Так, весной 1940 года, давая указания исландским коммунистам на фоне обострения ситуации в Северной Атлантике, Коминтерн уделял особое внимание женским объединениям:

> «Женщины партии, помимо работы в профсоюзах, должны вести активную деятельность в рамках “Ассоциации за права женщин” по вовлечению членов этой организации и самих организаций в Народный фронт. Женщины также должны быть более активно вовлечены в работу в рамках кооперативного движения»[5].

4 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 495. Оп. 177. Д. 20. Л. 10.
5 Там же. Оп. 18. Д. 1320. Л. 154. Перевод с немецкого.

Коммунистам было предложено внести в парламент законопроект о введении для женщин трехнедельного отпуска на время родов с сохранением рабочего места. Этот отпуск намеревались сделать оплачиваемым — из «кассы здоровья» в размере не ниже 75% оклада. На больших городских предприятиях коммунисты предлагали оборудовать комнаты матери и ребенка с медицинским персоналом. Эти шаги рассматривались не только в контексте прав женщин и равенства полов, но и как меры, способствующие повышению качества здравоохранения в Исландии[6]. Реализовать их не удалось, поскольку уже в день принятия этих рекомендаций Исландия была занята английскими войсками, а лидеры коммунистов вскоре оказались арестованы[7].

В межвоенный период далекие друг от друга географически СССР и Исландия не имели возможности для развития прямого диалога по «женскому вопросу». Тем не менее исландское общество испытывало на себе влияние левых идей, а местные коммунисты по указанию из Москвы уделяли социальному положению женщин особое внимание, чем способствовали популяризации концепции равенства мужчин и женщин.

Диалог в условиях «холодной войны»

После Второй мировой войны, в ходе которой СССР и Исландия установили прямые дипломатические отношения, возможности для взаимодействия существенно расширились. В 1950 году, когда в Рейкьявике по инициативе советской дипломатии было создано «Общество дружбы Исландия — СССР», при нем сразу сформировали женскую секцию во главе с Сигридюр Фридриксдоуттир[8]. Однако главными направлениями сотрудничества в послевоенные годы были почтовая переписка и визиты делегаций.

С советской стороны переписку вели сотрудницы Антифашистского комитета советских женщин (с 1956 года — Комитет советских женщин, КСЖ) — организации, которая, по выражению Оксаны Нагорной, была «(квази)общественной»[9]: на фоне «холодной войны» в КСЖ происходила постепенная профессионализация кадров. Корреспондентами исландских женщин были функционерки, в чью сферу ответственности входило подробное разъяснение социально-политических процессов

6 Там же. Л. 155.
7 Бенедиктссон Г. *Исландия в борьбе за независимость (1940–1955)*. М.: Иностранная литература, 1958. С. 56–58.
8 Ásmundsson F. *Sigríður Friðriksdóttir* // Morgunblaðið. 1995. 11 júlí. Bls. 31.
9 Нагорная О.С. *Женщины в структурах советской культурной дипломатии холодной войны: пространства мобилизации и практики соучастия* // Новейшая история России. 2020. Т. 10. № 2. С. 459.

в СССР. С исландской же стороны в коммуникации принимали участие только негосударственные субъекты: в индивидуальном качестве или в рамках общественных объединений. Из-за этого структура писем из СССР и из Исландии значительно различалась: если исландки ограничивались обсуждением текущих проблем двустороннего общения (бытовые вопросы, дискуссии об особенностях положения женщин в советском обществе, поздравления с праздниками), то в письмах с советской стороны это дополнялось пространным описанием решений очередного съезда партии, достижений последней пятилетки и актуальных экономических показателей.

В контексте «холодной войны» подход СССР к взаимодействию с женщинами Исландии зависел от модуса идеологической политики Москвы в отношении западных стран. В логике биполярности укрепление имиджа СССР должно было сдерживать американское влияние — в исландском случае этот вопрос имел особое значение, поскольку Москва поддерживала противников американского военного присутствия на острове и членства Исландии в НАТО[10]. Таким образом, диалог женщин оказывался встроен в большую стратегию Москвы на западном направлении.

В условиях «оттепели» и нормализации советско-исландского межгосударственного диалога после 1953 года стали возможны и визиты в СССР. Первые делегации исландских женщин посетили СССР в 1954-м, 1955-м и 1957 годах — когда советские власти стали лояльнее относиться к контактам граждан с иностранцами, в том числе из стран НАТО (илл 1).



Илл. 1. Делегация исландских женщин на празднике в детском саду (Ленинград, 1957 год)[11].

10 См., например: MAGNÚSDÓTTIR R. *Kristinn og Þóra: rauðir þræðir*. Reykjavík: Mál og menning, 2021.
11 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Оп. 1АР-39. Ед. хр. 63 261.

При организации этих визитов государственные органы СССР уделяли внимание социальной сфере: достижениям в области материнства и детства. В целом, как свидетельствуют письма, такие поездки действительно приносили заметные результаты. Например в 1954 году по итогам первого визита в Москву, Ленинград и Тбилиси, продлившегося три недели, участница «Союза исландских женщин за культуру и мир» Раннвейг Тоумасдоуттир писала заместителю председателя Антифашистского комитета советских женщин Надежде Парфеновой:

> «Самым лучшим моим впечатлением из этой очень интересной поездки было то, что я встречала людей без чувства ненависти, работающих для мира на земле, смотрящих в будущее с надеждой и улыбкой»[12].

На пресс-конференции по итогам поездки в 1957 году член делегации Сигридюр Сайланд отметила, что положение советской женщины в обществе — это тот «идеал, к которому должны стремиться исландские женщины»[13]. Такая оценка очень важна в контексте дальнейших достижений исландских феминисток в их борьбе за равенство прав мужчин и женщин. Другая участница обменов также делилась с советскими корреспондентками впечатлениями о публичных лекциях, с которыми она выступала для исландской аудитории после поездки в СССР:

> «Не так легко дать людям понимание вашей страны, потому что по газетным сообщениям люди привыкли, что вашу страну либо превозносят как земной рай, либо чернят самыми черными красками, как ад на земле. Однако я стараюсь держаться золотой середины и рассказываю правду, как я ее видела, про земную страну, в которой живет трудолюбивый народ, добившийся очень многого»[14].

В свою очередь советские корреспонденты в соответствии с магистральной линией «мирного наступления» Москвы на европейском направлении делали акцент на необходимости предотвращения большой войны — и в этом женщины двух стран, находящихся в противоборствующих военных блоках, были едины. Исландки подчеркивали:

> «Иногда мне кажется, что мы живем в жестоком мире. Что нет ничего, во что или чему можно верить. Только в одном я уверена: для того, чтобы была надежда на мир, народы должны узнать друг друга. Мы должны научиться знать друг друга, знать наши привычки, обычаи, взгляды и интересы. Мы должны научиться уважать чувства и взгляды друг друга»[15].

12 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-7928. Оп. 2. Д. 1322. Л. 25.
13 Там же. Ф. Р-4459. Оп. 24. Д. 1761. Л. 7.
14 Там же. Ф. Р-7928. Оп. 2. Д. 1322. Л. 26.
15 Там же. Ф. Р-7928. Оп. 2. Д. 1942. Л. 4.

Из-за того, что как русский язык в Исландии, так и исландский в СССР знали лишь единицы, женщины общались с помощью переводчиков — коммуникация велась преимущественно на других скандинавских языках, иногда на английском. В таких условиях эффективным средством взаимопознания становились визуальные символы и образы. Помимо многочисленных открыток и фотографий, стороны регулярно обменивались журналами и книгами на английском языке и даже направляли друг другу сувениры (из Исландии однажды пришла красная звезда, вышитая одной из женщин[16]) и вязали одежду в подарок[17]. Одна из исландских активисток с благодарностью сообщала в Москву, что прикрепила брошку с русской березкой на исландский костюм[18].

Символическая коммуникация женщин СССР и Исландии представляла собой санкционированный государством под лозунгом интернационализма допуск советского человека к западной культуре.

Все это содействовало формированию образа «воображаемого Запада» в глазах тех немногих советских женщин, которым удавалось ознакомиться с ними. Подобный обмен предметами материальной культуры иллюстрирует общее замечание Алексея Юрчака о том, что несоветские эстетические формы, как правило, проникали в советскую повседневность «не вопреки государству, а во многом благодаря его парадоксальной идеологии и непоследовательной культурной политике»[19]. Символическая коммуникация женщин СССР и Исландии представляла собой санкционированный государством под лозунгом интернационализма допуск советского человека к западной культуре.

В целом символы и образы способствовали взаимному познанию сторон и, как следствие, снижению напряженности в непростых идеологических условиях, когда стремление советских и исландских женщин расширить диалог было сильно ограничено. Фактически симпатия к советскому строю была скорее не следствием, а необходимым условием для вовлечения исландок во взаимодействие с советскими организациями. Однако на контакт шли не только крайне левые, но и умеренные объединения — в частности, одно из писем в адрес КСЖ летом

16 Там же. Ф. Р-7928. Оп. 2. Д. 1322. Л. 71, 86. Кроме этого, из СССР иногда посылали лекарства, а после 1961 года — портреты Юрия Гагарина и даже пластинки с записью его голоса (Там же. Ф. Р-7928. Оп. 3. Д. 688. Л. 12–18).

17 Там же. Ф. Р-7928. Оп. 3. Д. 873. Л. 7.

18 Там же. Ф. Р-7928. Оп. 3. Д. 688. Л. 65.

19 Юрчак А.В. *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение*. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 314.

1956 года подписала секретарь «Союза исландских женщин за культуру и мир» Вигдис Финнбогадоуттир[20], — через четверть века она стала первой в мире женщиной, всенародно избранной на пост главы государства. Своим примером она до сих пор вдохновляет исландок на борьбу за равенство[21]. Как видно, на первых этапах ее деятельность в женских организациях не была изолирована от усилий КСЖ.

Однако в целом советские органы не питали иллюзий об эффективности такого сотрудничества и откровенно отмечали успехи «буржуазных организаций», которые выигрывали конкуренцию у «демократических» (фактически — левых и просоветских):

> «Во время пребывания делегации советских женщин в Исландии (март 1959) последняя убедилась в том, что буржуазные женские организации развивают более активную деятельность и завоевывают на свою сторону большое количество женщин. Это видно и по количественному составу: такие буржуазные организации, как организация "Равные права — равные возможности", объединяет 10 тысяч женщин; Федерация женских организаций — 13 тысяч женщин, в то же время демократические женские организации, как, например, "Союз исландских женщин за культуру и мир", только 500 женщин, а женская секция "Общества дружбы Исландия — СССР" — всего 40 женщин»[22].

В чем причина такого разрыва? В первую очередь он был связан с тем, что позиции «американской пропаганды» в малом государстве были гораздо сильнее, чем советской: сказывалась разница в объеме ресурсов, о которой постоянно сообщали в «центр» советские дипломаты. Другая причина — кризисы «холодной войны». Особенно повредил имиджу СССР в Исландии венгерские события осенью 1956 года: помимо акций протеста перед посольством с участием проамериканских объединений, произошел раскол и в левом движении. Прежде лояльный Москве «Союз исландских женщин за культуру и мир» осудил политику СССР. Как сообщали сотрудницы КСЖ, «Союз выступил с неправильных позиций и не сумел вовремя сориентировать женщин в нужном направлении»[23]. Недовольство проявилось и на низовом уровне — например жительница города Акюрейри упрекала ткачиху Раису Смирнову:

> «Прошлым летом я слышала о вашем уважении к исландцам за их борьбу за независимость, и я думала, что вы питаете такие чувства по отношению ко всем малым нациям, борющимся за независи-

20 ГАРФ. Ф. Р-7928. Оп. 2. Д. 1768. Л. 44.
21 Панков Е.С. *Женский вопрос в Исландии: история, особенности, уроки* // Неприкосновенный запас. 2025. № 1(159). С. 207–210.
22 ГАРФ. Ф. Р-7928. Оп. 3. Д. 111. Л. 26.
23 Там же. Л. 15.

мость. Поэтому я не понимаю, в чем же дело — или вы не питаете симпатии к венграм? Я знаю, что представляют собой политические деятели, они даже не знают самого слова “симпатия”, они всюду одинаковы во всем мире, и поэтому многое зависит от простых людей, но сейчас и на западе, и на востоке очень сильна пропаганда. Я думаю, что она еще никогда не была столь сильной»[24].

Тем не менее довольно быстро в отношениях женских организаций произошла нормализация, благодаря которой стали возможны поездки женщин из СССР в Исландию. Состав советских делегаций был подобран так, чтобы убедить наблюдателей из капиталистической страны: женщины в Советском Союзе имеют возможность занимать высокие должности и самореализовываться независимо от происхождения. Такой подход соответствовал генеральной линии Москвы во внешнеполитическом использовании «женского вопроса»: в отличие от США, делавших акцент на бытовых достижениях и удобствах для каждой женщины, руководство СССР стремилось продемонстрировать равный статус мужчин и женщин в публичной сфере[25].

Так, в 1957 году в Исландию отправились директор кондитерской фабрики Антонина Смольникова, член эстонского парламента Эрмина Мяэ, сотрудница комитета советских женщин Раиса Смирнова и историк Тамара Ершова[26] — делегацию принимали на высшем уровне, в том числе президент Аусгейр Аусгейрссон. Через два года в Рейкьявик прибыли заместитель председателя исполкома ленинградского областного Совета депутатов трудящихся Елена Хахалина, заместитель министра



Илл. 2. Делегация советских женщин в Исландии: Елена Хахалина, Ольга Ушакова, Агния Барто и Михалина Мешкаускене, 1959 год[27].

24 Там же. Оп. 2. Д. 1942. Л. 31.
25 Laville H. *Gender and Women's Rights in the Cold War* // Immerman R.H., Goedde P. (Eds.). *The Oxford Handbook of the Cold War*. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 530.
26 Ершова Т.И. *Исландия и исландцы* // Новое время. 1957. № 40. С. 22–25.
27 Источник: Viðar D. *Viðtal við þrjár konur frá Sovétríkjunum* // Melkorka. 1959. № 3. Bls. 87.

культуры Литовской ССР Михалина Мешкаускене, работница журнала «Советская женщина» Ольга Ушакова и писательница Агния Барто[28] (илл. 2).

«Эффект перелива»

Если об участии поэтессы Агнии Барто в культурной дипломатии на британском направлении известно давно[29], то рассмотрение советско-исландского трека позволяет не только расширить географию вовлеченности детской писательницы в гуманитарное сотрудничество Запада и Востока в условиях «холодной войны», но также сделать ряд выводов о роли «женской дипломатии» в этом. Так, на примере деятельности Барто видно, как трансграничные связи, которые изначально возникали на уровне исключительно женских объединений, вскоре «переливались» и в другие области взаимодействия.

{ Трансграничные связи, которые изначально возникали на уровне исключительно женских объединений, вскоре «переливались» в другие области взаимодействия

Например, посещая Исландию по линии КСЖ, поэтесса проводила встречи с местными коммунистами — об этом среди прочего свидетельствует дарственная запись от лидера исландских коммунистов Эйнара Ольгейрссона в книге, хранящейся в фонде Библиотеки иностранной литературы в Москве[30]. Кроме того, именно Агния Барто через литератора Халлдора Лакснесса согласовывала отправку в СССР видеофрагментов о жизни исландских детей — для фильма о проблемах детства в разных странах[31]. Эти примеры показывают, что факт участия в советско-исландском диалоге на «женском» треке отнюдь не означал, что такое взаимодействие было ограничено вопросами гендерного равенства, материнства и детства. Сотрудничество «женских организаций было лишь одной из «точек входа» для формирования сети горизонтальных контактов, которые впоследствии позволяли сторонам реализовывать различные инициативы в смежных областях.

28 ГАРФ. Ф. Р-7928. Оп. 3. Д. 111. Л. 28.
29 Попов А.Д. *Агния Барто — посол советско-британской, культурной дипломатии периода холодной войны* // Новый человек в международной политике. 2018. № 45(89). С. 17–22.
30 Tobiasson B. *Alþingismannatal, 1845–1945: Konungsfulltrúa, landshöfðingja, ráðherra o. fl.* Reykjavík: Alþingissögunefnd og Skrifstofa Alþingis, 1952.
31 Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 2890. Оп. 1. Д. 400. Л. 4–5.

Не менее важна была и их познавательная функция. Побывав в Исландии, Агния Барто вошла в число немногочисленных «специалистов по Исландии» среди советской интеллигенции — тех, кто, имея некоторые связи среди местных писателей и коммунистов, на постоянной основе поддерживал с ними контакты и, что не менее важно, разъяснял для советской публики особенности жизни исландцев, их культуры, языка, знакомил читателей с традициями этого народа. В письменной форме впечатления писательницы об Исландии были изложены в ее мемуарах[32].

Помимо этого, именно на основе взаимодействия по линии женских организаций Москва и Рейкьявик делали первые шаги в совместной мемориальной практике. Приезжая в СССР, исландки посещали памятники участникам Второй мировой войны. В 1957 году делегация ездила в том числе в Сталинград — в программе пребывания значилось возложение венка к солдатской могиле[33]. Таким образом, мемориальная дипломатия как направление диалога двух стран вытекала из гуманитарного диалога женских организаций и формировалась задолго до появления соответствующей аналитической концепции.

Помимо «перелива» женского взаимодействия в смежные сферы, наблюдался и обратный процесс: вовлечение советских и исландских граждан, задействованных изначально на других направлениях, в диалог женских организаций. Например, именно в таком направлении развивалось участие в отношениях СССР и Исландии студентки Галины Кузнецовой, которая находилась в Рейкьявике с ноября 1960 года по май 1961-го для изучения исландского языка в местном университете. В отчете она отмечала:

> «Пребывание в Исландии дало мне также возможность познакомиться с деятельностью общественных организаций, таких как "Мир" (общество дружбы Исландия — СССР), "Союз исландских женщин за культуру и мир" и "За равноправие", а позднее накопленные в этой области знания позволили мне оказать посильную помощь в работе женской делегации общества "СССР — Исландия" по ознакомлению с женским движением Исландии»[34].

Помимо познания культур, у взаимодействия женских организаций было и миротворческое измерение: многие феминистки в Исландии активно выступали с пацифистских и антинатовских позиций. Такой подход пользовался поддержкой и со

32 Барто А.Л. *Записки детского поэта*. М.: Советский писатель, 1978. С. 213–217.
33 *Негатив «Делегация женщин Исландии — членов общества "Исландия — СССР"»*. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации (www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=34394202).
34 ГАРФ. Ф. Р-9606. Оп. 1. Д. 923. Л. 25.

стороны советской дипломатии: в ноябре 1982 года в справке «О движении общественных сил Исландии за мир, безопасность и разоружение» сотрудники посольства СССР в Рейкьявике сообщали:

> «Движение за мир и разоружение в Исландии получило распространение не только среди прогрессивно настроенной общественности. Летом и осенью этого года проходили заседания группы, состоящей из 27 исландских женщин, которые обсуждали возможность создания в стране объединенного движения за мир. […] Однако, как показал ход дискуссий на этих встречах, в которых принимали участие представительницы самых разных политических ориентаций, им будет трудно выработать общую платформу»[35].

На завершающем этапе «холодной войны» именно антивоенные настроения участниц женских организаций рассматривались советской дипломатией как наиболее полезный фактор в борьбе за усиление влияния СССР в исландском обществе. Однако, как видно из приведенного документа, женское движение Исландии оставалось расколотым, в том числе и из-за «водораздела между сторонниками и противниками военного

На завершающем этапе «холодной войны» именно антивоенные настроения участниц женских организаций рассматривались советской дипломатией как наиболее полезный фактор в борьбе за усиление влияния СССР в исландском обществе.

присутствия США в Исландии»[36]. Стигматизация контактов с СССР и заявления о «красной угрозе» в исландской прессе сильно ограничивали перспективы советско-исландского сотрудничества в целом и по линии женских организаций в частности. К тому же и возможности советской дипломатии были ограничены идеологическими установками: сотрудники посольства контактировали лишь с «прогрессивными» объединениями — фактически теми, кто симпатизировал левым идеям и выступал за вывод американских войск с острова. Различался и объем ресурсов, которые выделяли на исландское направление две сверхдержавы — США и СССР, не в пользу последнего.

При этом высшие государственные органы Советского Союза, формулируя подход к взаимодействию с Исландией в условиях возросшей конкуренции держав в Северной Атлантике

35 Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 5. Оп. 88. Д. 871. Л. 22–23.
36 Там же.

в 1970–1980-е, не исключали взаимодействие женских организаций из набора инструментов, с помощью которых планировалась реализация внешнеполитических намерений Москвы на важном стратегическом направлении. Так, КСЖ был в числе организаций, чьи предложения по совершенствованию советско-исландского взаимодействия были запрошены в ходе подготовки постановления Политбюро «О мероприятиях по развитию отношений СССР с Исландией» в конце 1971 года[37]. И хотя любые формы отраслевого диалога и общественных связей рассматривались советскими органами лишь как служебные и были подчинены реализации более значимых стратегических целей в области политики и торговли, однако именно личные контакты «обычных» людей формировали благоприятную среду для поддержания диалога между двумя государствами из противоборствующих военных блоков.

***

Прогресс исландского феминизма в XX веке не происходил в стерильных условиях — и особенно важно, что благоприятная среда для его становления и развития отчасти была сформирована и силами Советского Союза. Вклад СССР не стоит переоценивать: сфера вовлечения Москвы была крайне ограниченной, как и тот объем внешнеполитических ресурсов, которые советская дипломатия отводила на исландское направление. Тем не менее контакты между женскими организациями двух стран имели значимое влияние не только на диалог Москвы и Рейкьявика, но и на внутриполитический процесс в стране НАТО. Во взаимодействие с советскими женщинами была вовлечена и Вигдис Финнбогадоуттир — символ исландского феминизма и один из столпов национальной идентичности.

Для многих активисток женского движения Исландии, особенно в 1920–1950-е, Советский Союз — справедливо или нет — был примером страны, в которой женщины обладали значительным объемом прав и социальных гарантий. Прежде всего сторонницы левых идей были настроены перенимать советский опыт через более глубокое знакомство со страновыми реалиями: с культурой повседневности и особенностями социально-экономической модели. Такое знакомство происходило посредством межкультурной коммуникации и, как следствие, способствовало взаимному познанию и снижению напряженности в тяжелых условиях «холодной войны». Диалог мог распространяться на смежные сферы — и наоборот: женщины,

37 Там же. Ф. 3. Оп. 69. Д. 227. Л. 10.

изначально вовлеченные в советско-исландское образовательное сотрудничество, впоследствии становились участницами дискуссий о гендерном балансе в СССР и Исландии.

Интерес Москвы к такому взаимодействию был обусловлен не столько гуманитарными соображениями, сколько стратегической заинтересованностью в укреплении влияния на исландское общество. Позитивный имидж советского государства в логике «игры с нулевой суммой» рассматривался как инструмент ослабления американского влияния на североатлантическом острове, занимавшем важное положение в системе обороны НАТО. Тем не менее, будучи побочным продуктом биполярности, поддержка женского движения в Исландии со стороны СССР так или иначе способствовала продвижению идеи равенства полов среди населения этого государства.

Описанные локальные сюжеты наводят на мысль о женском измерении «холодной войны» как универсальном явлении. За редкими исключениями, вклад женщин в поддержание диалога в непростых условиях гонки вооружений и тяжелых кризисов остается за рамками внимания исследователей, гораздо охотнее рассматривающих диалог «лиц, ответственных за принятие решений», нежели менее заметные структуры — но разве от этого менее важные? Рассуждая об абстрактных глобальных феноменах, следует иметь в виду, что каждый из них в конечном счете воплощался во взаимодействии конкретных людей, на микроуровне. Одним из его проявлений была целая сеть контактов между женщинами из государств, входивших в противостоящие друг другу военно-политические блоки. Перспективным и недостаточно исследованным представляется вопрос об истинной природе «больших» тенденций эпохи «холодной войны», в том числе различных проявлений «разрядки»: в какой мере они были вызваны решениями политических лидеров — или же их истинным драйвером были тенденции на уровне «безмолвствующего большинства», скрытые от невооруженного глаза?

Татьяна
Ворожейкина

Венесуэла: оппозиция и Трамп



Полгода, прошедшие после свержения Мадуро, оказались, вопреки ожиданиям, очень тяжелым временем для венесуэльской оппозиции. Первоначальная эйфория, охватившая противников чавизма как внутри страны, так и в эмиграции, была связана с надеждами на то, что свержение Мадуро приведет к быстрым политическим изменениям, что режим уйдет, освободив место избранному в 2024 году президенту Эдмундо Гонсалесу. Организатор его победы на выборах, бесспорный лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, в течение полутора лет оставалась в Венесуэле на нелегальном положении, поскольку ей были предъявлены обвинения в «измене родине» и поддержке антивенесуэльской политики администрации Байдена.

10 октября 2025 года ей присуждают Нобелевскую премию мира «за неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за борьбу, призванную достичь справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии»[1]. В декабре 2025 года, когда администрация Трампа завершала военную подготовку к захвату Мадуро, Мачадо нелегально покидает Венесуэлу и отправляется в Осло с помощью американской фирмы, занимающейся нелегальной переброской людей. Ее маршрут включал путешествие на катере — с риском быть захваченной венесуэльскими пограничниками или попасть под американский удар в Карибском море — до Кюрасао, где ее ждал частный самолет, на котором она прибыла в Майами, откуда вылетела в Норвегию. Мачадо опоздала на нобелевскую церемонию — премию за нее получила дочь, но ее бесстрашный побег воодушевил ее сторонников и подтвердил, что она остается ключевым игроком в нарастающем противостоянии между Каракасом и Вашингтоном[2].

На следующий день после церемонии, выступая на пресс-конференции в Осло, Мачадо заявила, что «действия президента Трампа сыграли решающую роль в том, что мы оказались в нынешней ситуации, когда режим [Мадуро] слабее, чем когда-нибудь». Отвечая на вопрос о ее отношении к возможной военной интервенции США в Венесуэле, она сказала:

> «Мы ни в коей мере не вовлечены в принятие решений или действия, которые имеют отношение к национальной безопасности других стран. Иными словами, каждая страна имеет право на законную оборону, и когда она чувствует, что ее национальная безопасность находится под угрозой, то действует соответственно»[3].

Эти заявления были расценены многими как фактическая поддержка военной американской интервенции и обвинений Трампа в отношении Мадуро — тем более, что Мачадо подчеркнула:

> «Венесуэла уже подверглась вторжению. У нас есть русские агенты, у нас есть иранские агенты. [На нашей территории] находятся боевики террористических групп "Хезболла" и ХАМАС, которые действуют свободно, сотрудничая с режимом. […] Колумбийские партизаны и наркокартели контролируют 60% нашего населения и занимаются не только наркотиками, но и торговлей людьми, и проституцией»[4].
>
> «Венесуэла превратилась в криминальный центр американского континента, связи правительства Мадуро с наркоторговлей обеспечивают деньгами режим и его мощную репрессивную систему»[5].

После свержения Мадуро 3 января 2026 года Мария Корина Мачадо, имея в виду выигранные оппозицией президентские выборы 2024 года, объявила: «Мы готовы осуществить свой мандат

1 См.: www.nobelprize.org/prizes/peace/2025/summary/.

2 Demirjian K., Romero S. *To Get to Oslo, Machado Skirted Military Checkpoints and Survived Rough Seas* // The New York Times. 2026. December 12 (www.nytimes.com/2025/12/12/us/politics/machado-venezuela-escape-oslo.html).

3 Prieto Amador N. *María Corina Machado alienta desde Oslo una intervención militar mientras Trump estrecha el cerco sobre Maduro* // Público. 2026. 11 de diciembre (www.publico.es/internacional/america-latina/maria-corina-machado-alienta-oslo-intervencion-militar-trump-estrecha-cerco-sobre-maduro.html).

4 *María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales* // Infobae. 2026. 11 de diciembre (www.infobae.com/america/mundo/2025/12/11/maria-corina-machado-aseguro-que-venezuela-esta-invadida-por-agentes-rusos-iranies-hezbollah-y-bandas-criminales/).

5 Camhaji E. *María Corina Machado defiende en Oslo "las acciones decisivas de Trump" sobre Venezuela* // El País. 2026. 11 de diciembre (https://elpais.com/internacional/2025-12-11/maria-corina-machado-tras-su-llegada-a-oslo-tengo-la-esperanza-de-que-venezuela-volvera-a-ser-libre.html).

и взять власть»[6]. Но Трамп по-иному расценил ее перспективы в качестве будущего лидера Венесуэлы. Отвечая на вопрос о Мачадо, американский президент сказал:

> «Я думаю, ей будет очень трудно стать лидером, если у нее нет поддержки или уважения внутри страны. Она очень милая женщина [*a very nice woman*], но у нее нет уважения внутри [страны]»[7].

Ставка была сделана на другую «милую женщину», которой предстояло обеспечить американские интересы без хаоса и потрясений, неизбежных при резкой смене власти.

> «Отвергнув смену режима, которая казалась очевидной после устранения диктатора, вместо того, чтобы облегчить путь Мачадо как лидеру демократического транзита, [Трамп] сделал этот путь крутым и тяжелым»[8].

Но Мачадо — опытный политический боец, и она не сдалась. 15 января на встрече с американским президентом в Белом доме она подарила ему свою нобелевскую медаль «как символ личной благодарности — от имени венесуэльского народа и в знак признания принципиальных и решительных действий президента Трампа по обеспечению свободы Венесуэлы»[9]. За несколько дней до этого в интервью «Fox News» Мачадо сказала, что хотела бы разделить свою Нобелевскую премию с Трампом, на что последовало официальное заявление Нобелевского института и комитета по премиям, который напомнил, что премия присуждается конкретному человеку или организации навсегда и не может быть по желанию лауреата разделена или передана кому-то другому. «Медаль может изменить владельца, но не звание лауреата Нобелевской премии мира»[10]. Большинством мировых СМИ этот жест Мачадо был расценен как весьма сомнительный, особенно учитывая, что Трамп в течение нескольких месяцев громогласно претендовал на эту премию и был крайне раздосадован, когда ее получила лидер венесуэльской оппозиции. В сети «Truth Social» американский президент написал: «Мачадо подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Какой прекрасный жест взаимного уважения!»[11] Однако лесть не принесла Мачадо политического результата: Трамп ни слова не сказал о том, какое место она может занять в процессах, происходящих в Венесуэле, и даже не назвал ее лидером оппозиции. Напротив, накануне встречи с Мачадо президент США говорил по телефону с Делси Родригес, после чего в очередной раз рассыпался в публичных похвалах «этой фантастической женщине»[12].

6 Camhaji E. *María Corina Machado, tras el ataque militar a Venezuela: "Estamos preparados para tomar el poder"* // El País. 2026. 3 de enero (https://elpais.com/internacional/2026-01-03/la-oposicion-guarda-silencio-ante-el-ataque-militar-a-venezuela-y-el-anuncio-de-la-captura-de-maduro.html).

7 Цит. по: *Transcript: President Trump Discusses the Capture of Nicolás Maduro in Venezuela, Washington, 2026, January 3* (www.democrats.senate.gov/newsroom/trump-transcripts/transcript-president-trump-discusses-the-capture-of-nicolas-maduro-in-venezuela-10326).

8 Muñoz B. *María Corina Machado y la ruta de la no violencia* // El País. 2026. 7 de marzo (https://elpais.com/america/2026-03-07/maria-corina-machado-y-la-ruta-de-la-no-violencia.html).

9 Phillips T., Lowell H. *María Corina Machado Presents Trump with Her Nobel Peace Prize Medal* // The Guardian. 2026. January 16 (www.theguardian.com/world/2026/jan/15/maria-corina-machado-says-she-presented-trump-with-her-nobel-peace-prize-medal).

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Camhaji E. *Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump* // El País. 2026. 16 de enero (https://elpais.com/internacional/2026-01-16/indignacion-en-noruega-por-la-decision-de-maria-corina-machado-de-entregar-la-medalla-del-nobel-a-trump.html).

Заявления Трампа стали холодным душем для всей венесуэльской оппозиции. Ее руководители, считавшие, что «народ уже проголосовал 28 июля 2024 года», вынуждены были отказаться от первоначального требования немедленной передачи власти в пользу скорейшего проведения новых выборов. 1 марта 2026 года Мачадо объявила, что она намерена возвратиться в Венесуэлу в течение ближайших недель, «чтобы гарантировать упорядоченный, устойчивый и неудержимый переход к демократии и подготовиться к новой и грандиозной победе на выборах»[13]. 6 марта Мачадо встретилась в Белом доме с Трампом и Рубио, которые, по сообщению «The New York Times», настойчиво советовали ей отложить возвращение в страну. Ни одна из сторон не раскрыла содержание встречи, но, согласно опубликованным газетой утечкам, Трамп выразил беспокойство по поводу безопасности Мачадо в нестабильных условиях Венесуэлы[14]. На деле же многие посчитали, что возвращение Мачадо в Венесуэлу нарушило бы планы США и их налаженное сотрудничество с Делси Родригес. «Сначала бизнес, демократия — потом, если вообще ее время когда-нибудь наступит»[15]. С тех пор прошло почти полгода, и Мачадо продолжает говорить, что она непременно вернется в Венесуэлу, но уже не называет точных сроков.

Поставив себя в зависимость от политической стратегии Трампа, Мачадо оказалась в ловушке. Анхель Альварес — венесуэльский профессор политологии в Университете Торонто — утверждает:

> «Мария Корина ошиблась в своих взаимоотношениях с Дональдом Трампом. С ним нельзя вступать в отношения подчинения, безусловной приверженности, коленопреклонения, потому что он подавляет тех, кто склоняет перед ним голову, и садится им на шею»[16].

Выбирая между Делси и Марией Кориной, Трамп в полном соответствии с принципами Макиавелли «предпочитает ту, которая его боится, а не ту, которая его любит»[17]. Ошибкой был, по-видимому, и отъезд Мачадо из Венесуэлы. «У политиков, и особенно у политических лидеров в оппозиции, не очень долгая жизнь в эмиграции», — говорит бывший заместитель главы дипломатической миссии США в Каракасе Брайан Наранхо[18]. Поневоле застряв в эмиграции, Мачадо направила свою деятельность на установление связей с политиками, предпринимателями, лидерами общественного мнения, а также с венесуэльской диаспорой в США, Латинской Америке и Европе.

Если в Соединенных Штатах ее главными союзниками являются консервативные круги Республиканской партии, то в Латинской Америке это лидеры восходящей волны праворадикального популизма: президент Аргентины Хавьер Милей, бывший бразильский президент

13 *María Corina Machado se reúne con Trump en la Casa Blanca por segunda vez* // El País. 2026. 7 de marzo (https://elpais.com/us/2026-03-07/maria-corina-machado-se-reune-con-trump-en-la-casa-blanca-por-segunda-vez.html).

14 Kurmanaev A., Pager T. *Trump's Advice to Venezuela's Democracy Champion: Don't Go Home* // The New York Times. March 12 (www.nytimes.com/2026/03/12/world/americas/trump-maria-corina-machado-venezuela.html).

15 Muñoz B. *María Corina Machado y la ruta de la no violencia*

16 *Doña Bárbara en 2026: Ángel Álvarez y la radiografía política de Venezuela. César Miguel Rondón* // CMR HOY. 2026. 10 de marzo (www.youtube.com/watch?v=cOAQdIecZjc&t=3102s).

17 Ibid.

18 *¿Negocios sobre democracia? Brian Naranjo revela por qué el chavismo sobrevivió al 3 de enero* // CMR HOY. 2026. 18 de marzo (www.youtube.com/watch?v=lWJvMOXBj_M&t=23s).

Жаир Болсонару, а также его сын Флавио Болсонару — кандидат ультраправых на предстоящих в октябре 2026 года президентских выборах, новый президент Чили Хуан Антонио Каст и избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья. Все они выражают поддержку и восхищение Мачадо, всегда бывшей, по словам Болсонару-младшего, «источником вдохновения в борьбе с авторитаризмом левых»[19]. Мачадо прилетела на инаугурацию Каста и выступила 12 марта на митинге в Сантьяго, где присутствовали больше 15 тысяч венесуэльцев, живущих в Чили. 18 апреля многотысячная толпа восторженно встречала ее на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, где Мачадо объявила: «Сегодня мы начинаем возвращение домой!»[20]. В Испании, где проживают более полумиллиона граждан Венесуэлы, Мачадо встретилась с председателем правой Народной партии (Partido Popular) Альберто Нуньесом Фейхоо и лидером ультраправой партии «Vox» Сантьяго Абаскалем, подчеркнуто проигнорировав приглашение на встречу с председателем правительства, социалистом Педро Санчесом.

Огромная венесуэльская диаспора — четверть населения страны, 8 миллионов человек, — является важнейшим электоральным ресурсом оппозиции. Среди эмигрантов, более образованной и состоятельной части населения, вынужденно покинувшей Венесуэлу главным образом по политическим причинам, поддержка Мачадо абсолютна и безусловна. Поэтому оппозиция требует, чтобы в числе тех институциональных изменений, которые должны предшествовать демократическим выборам в Венесуэле, было обеспечение условий для свободного возвращения тех, кто захочет вернуться, и честного голосования за рубежом для тех, кто предпочтет остаться[21]. Вместе с тем гораздо более важной для Мачадо остается поддержка, которой она пользуется внутри страны. Но время работает против нее: чем дольше она отсутствует, тем большей эрозии эта поддержка подвергается.

> «Наблюдая, как Мария Корина Мачадо ездит по всему миру, встречается с политическими лидерами в Европе, с предпринимателями в Калифорнии, постоянно дает интервью, многие приходят к выводу, что она как шальная пуля [*bala perdida*]: лидер, находящийся в подвешенном состоянии, застрявший в ситуации, которая не позволяет вернуться в Венесуэлу. […] Каждый день, который она проводит за пределами страны, — это выигрыш Делси Родригес, ее брата Хорхе […] и сильного человека режима Дьосдадо Кабельо, а также нарастающий долг перед миллионами венесуэльцев, которые ждут Мачадо»[22].

В интервью газете «El País» Мачадо признала, что позиция Соединенных Штатов имеет большое значение для решения о ее возвращении. «Это вопрос координации. Мое возвращение должно способствовать адекватному протеканию процесса, поэтому необходимо выбрать верный момент»[23].

19 Moleiro A. *María Corina Machado consolida sus alianzas más conservadoras antes de regresar a Caracas* // El País. 2026. 15 de marzo (https://elpais.com/america/2026-03-15/maria-corina-machado-consolida-sus-alianzas-mas-conservadoras-antes-de-regresar-a-caracas.html).

20 García J. *María Corina Machado proclama en el corazón de Madrid: "Hoy iniciamos el regreso a casa"* // El País. 2026. 18 de abril (https://elpais.com/espana/madrid/2026-04-18/maria-corina-machado-proclama-en-el-corazon-de-madrid-aqui-comienza-nuestro-retorno.html).

21 В 2024 году венесуэльские власти не допустили голосования граждан, проживавших за границей.

22 Muñoz B. *María Corina Machado: "La posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en mi decisión de volver, hay que buscar el momento correcto"* // El País. 2026. 10 de mayo (https://elpais.com/america/2026-05-10/maria-corina-machado-estados-unidos-pesa-en-mi-decision-de-volver-hay-que-buscar-el-momento-correcto.html).

23 Ibid.

Отношение к Мачадо внутри страны не столь однозначно, как в среде эмиграции. Она по-прежнему остается самым популярным в стране политиком, далеко обгоняющим всех потенциальных конкурентов: ее положительный рейтинг, согласно опросу «Bloomberg/Atlas-intel», составлял в конце мая 2026 года 55% — в то время как у Делси Родригес он сократился до 22%, и ни один из лидеров оппозиции даже не приближался к Мачадо по уровню популярности[24].

В то же время за годы своей политической деятельности Мачадо нажила множество влиятельных противников среди людей, которые, как и она, имеют возможность довести свои мнения до Вашингтона. Ее критикуют прежде всего за радикализм и отсутствие гибкости: «Мария Корина — самый популярный лидер в Венесуэле, но это мессианское лидерство, стоящее выше добра и зла, — говорит один из оппозиционных политиков, освобожденных из тюрьмы чавизмом. — Она не разговаривает с представителями различных слоев и институтов общества, она ни с кем не говорит».

Для одних она мессия, в котором нуждается общество, для других — фактор дестабилизации. Немало и тех, кто считает, что ее лидирующие позиции пошатнутся, если ко времени выборов возникнут альтернативные кандидаты. «Мария Корина — как Брюс Уиллис в “Шестом чувстве”: она уже умерла, но еще не знает этого», — иронизирует другой оппозиционер[25].

В течение многих лет Мачадо была самым непримиримым противником чавистского режима, никогда не вступала с ним ни в какие соглашения и жестко критиковала за это умеренную оппозицию.

> «Отказ от диалога и компромисса стал определяющей чертой политической идентичности Мачадо. Каждый раз, когда оппозиция вступала с Мадуро в переговоры, она разоблачала эти инициативы как попытки помочь режиму выиграть время и подорвать влияние его противников. Она выступала за бойкот выборов, считая, что участие в них ведет только к легитимации диктаторского правления»[26].

По мере того, как очередной оппозиционный политик обещал сместить Мадуро с президентского поста на выборах и терпел неудачу, позиция Мачадо завоевывала все больше сторонников. Она настаивала, что Мадуро оставался у власти только потому, что оппозиционным лидерам не хватало решимости. Поэтому, когда в 2023 году под нажимом администрации Байдена оппозиция договорилась с Мадуро о проведении честных выборов, Мачадо получила на праймериз практически единодушную поддержку (92,3%) и стала единоличным лидером Единой демократической платформы. В тех условиях радикализм Мачадо оказался верной стратегией, позволившей одержать победу избранному ею кандидату Эдмундо Гонсалесу, поскольку сразу же после победы на праймериз она была поражена в политических правах

24 Perdomo W. *La desaprobación de Delcy Rodríguez, el liderazgo de María Corina Machado y la opinión sobre ser el estado 51 de EE UU: lo que revela la encuesta de Bloomberg* // El Nacional. 2026. 28 de mayo (www.elnacional.com/2026/05/la-desaprobacion-de-delcy-rodriguez-el-liderazgo-de-maria-corina-machado-y-la-opinion-sobre-ser-el-estado-51-de-ee-uu-lo-que-revela-la-encuesta-de-bloomberg/).

25 Lafuente J., Martín M. *Venezuela, un país provisional* // El País. 2026. 26 de abril (https://elpais.com/america/2026-04-26/venezuela-un-pais-provisional.html).

26 Rodríguez F. *How Machado Lost Her Chance to Lead Venezuela* // The New York Times. 2026. January 8 (www.nytimes.com/2026/01/08/opinion/venezuela-maria-corina-machado-maduro.html).

режимом Мадуро[27]. Мачадо провела избирательную кампанию под лозунгом морального противостояния: «Это духовная битва между добром и злом, — говорила она, обращаясь к своим сторонникам, — и Бог на нашей стороне»[28]. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что она проявила себя в этой кампании как подлинно народный лидер. Происходя из богатой аристократической семьи, которая ведет свою родословную с XVIII века, Мачадо проделала путь от традиционного политика до руководителя массовой мобилизации, которого по эффективности можно сравнить только с Чавесом. Венесуэльский социолог Мирла Перес, изучающая настроения в кварталах бедноты, говорит, что принадлежность Мачадо к высшим классам больше не создает барьера между ней и людьми, которые ее поддерживают среди беднейших слоев населения, а при Чавесе были оплотом режима[29].

В 2026 году ситуация изменилась — не только потому, что Мачадо оказалась лишней в стратегии Трампа. После свержения Мадуро многие оппозиционные политики в Венесуэле, которые так же, как Мачадо, стремятся к демократическим реформам и считают, что брат и сестра Родригес должны уйти от власти, тем не менее полагают, что чавизм — это не опухоль, которую необходимо удалить, а политический и социальный феномен, который возник, чтобы остаться. Не обязательно у власти. Но он представляет определенное видение страны, которое глубоко укоренено в части населения. «Если мы будем представлять нашу борьбу как экзистенциальное столкновение между ними и нами, конфликт никогда не закончится», — говорит Сталин Гонсалес, оппозиционный депутат Национальной ассамблеи, один из тех, кого сторонники Мачадо считают «продавшимися» режиму[30]. Для Мачадо, напротив, подлинный переход к демократии означает полный разрыв с чавизмом: «История Венесуэлы показывает, что стратегия “облегченной” демократии, демократии “*light*” просто не работает»[31]. С этим связано и различие позиций по вопросу о сроках выборов. Если сторонники Мачадо настаивают на их скорейшем проведении, то представители умеренной оппозиции считают возможным отложить их на год или два, чтобы предварительно осуществить все необходимые институциональные изменения.

За месяцы, прошедшие со свержения Мадуро, Венесуэла начала меняться. В стране произошли сдвиги, которых еще совсем недавно невозможно было себе представить: люди начали преодолевать страх, выходить на улицу, требовать прекращения репрессий, освобождения политических заключенных, радикального изменения условий жизни — повышения заработной платы, увеличения финансирования образования и здравоохранения, фактически разрушенных чавизмом. Страна начала открываться, вышли на свободу несколько сотен политических заключенных, некоторые оппозиционные политики вернулись в страну. Вместе

27 Подробнее см.: Ворожейкина Т. *Венесуэльская беда* // Неприкосновенный запас. 2024. № 4(156). С. 195–208.

28 Rodríguez F. *Op. cit.*

29 Moleiro A. *Mirla Pérez, investigadora venezolana: “El éxodo migratorio produjo la ruptura emocional de la población con el chavismo”* // El País. 2026. 22 de abril (https://elpais.com/america/2026-04-22/mirla-perez-socioloqa-venezolana-el-exodo-migratorio-produjo-la-ruptura-emocional-de-la-poblacion-con-el-chavismo.html).

30 Martín M., García J. *La oposición venezolana: mismo fin, caminos distintos* // El País. 2026. 26 de abril (https://elpais.com/america/2026-04-26/la-oposicion-venezolana-mismo-fin-caminos-distintos.html).

31 Ibid.

с тем репрессивный аппарат режима остается нетронутым, полиция жестко разгоняла демонстрации с требованиями повышения заработной платы. 1 мая Делси Родригес объявила о повышении заработной платы, однако на деле были увеличены «военные боны» (*bonos de guerra*) — пособия, которые государство выплачивало служащим и работникам государственного сектора для компенсации отрицательного эффекта санкций. В феврале Национальная ассамблея приняла закон об амнистии, однако его действие оказалось краткосрочным и распространялось не на всех политических заключенных. По данным правозащитной организации «Foro Penal», в начале июня 389 человек, арестованных по политическим мотивам, по-прежнему оставались в тюрьмах[32]. Количество вернувшихся в страну оппозиционных политиков пока исчисляется единицами, нет и массового возвращения людей из эмиграции, если не считать тех, кто был насильно депортирован администрацией Трампа из США.

Доминирующее настроение в Венесуэле — ожидание изменений, которые никак не наступают:

> «Венесуэла — страна, по определению драматурга Хосе Игнасио Кабрухаса, временная, где все постоянно находится в процессе. Страна, где ничего не заканчивается совсем и где жизнь *между тем* [*mientras tanto*] приостанавливается *на всякий случай* [*por si acaso*]. *Между тем* кто-то с утра занимал очередь, чтобы достать нечто, о чем неизвестно, будут ли его продавать или нет. *Между тем* больницы находились в полузадушенном состоянии, а на самом деле всей стране не хватало воздуха. *Между тем* взлетали самолеты с людьми, вынужденно расставшимися со своими близкими. *Между тем* отключения электроэнергии превращали ночь в привычку. *Между тем* политика обещала, угрожала, подавляла, изменялась, но никогда ни к чему не приводила. Венесуэла — это место, где настоящее не может устояться: оно предмет торга, импровизации и выживания. Страна, где все ждут, что нечто произойдет или перестанет происходить»[33].

Венесуэла находится на распутье. Одним из вариантов ее развития, по-видимому, наиболее вероятным, представляется трансформация нынешнего временного режима в ту или иную форму электорального авторитаризма без осуществления институциональных реформ, без интеграции оппозиции в политический процесс, без назначения конкретной даты выборов и без реорганизации репрессивного аппарата. Взаимодействие администрации Трампа и правительства Делси Родригес может привести к консолидации нефтяного государства (*petrostate*) под опекой США[34]. Такой вариант развития в наибольшей мере соответствует интересам Хорхе и Делси Родригес: демократический транзит отодвигается в неопределенное будущее, и они могут оставаться у власти за пределами уже прошедших легальных сроков (3 июля истекли 180 дней, которые, согласно Конституции, временный президент может занимать свою должность, не назначая выборов.) Более того, Трамп через два с половиной года покинет президентский пост, а люди, которые сегодня управляют Венесуэлой, смогут оставаться у власти

32 *Balance de Presos Políticos en Venezuela al 9/06/2026 por Foro Penal* // Foro penal. 2026. 12 de junio (https://foropenal.com/articulo/balance-de-presos-politicos-en-venezuela-al-09062026-por).

33 Lafuente J., Martín M. *Op. cit.*

34 Smilde D. et al. *Venezuela's Critical Juncture: Pushing for a Democratic Transition*. Venezuela Conflict and Peacebuilding Research Network at the Center for Inter-American Policy and Research. Tulane University. CIPR Working Paper № 1. 2026 (https://vcprn.tulane.edu/wp-content/uploads/sites/137/2026/05/VCPRNworkingpaperdraftv12-1.pdf).

неопределенно долго. Время работает на Делси: получая доходы от нефти, улучшая социально-экономическую ситуацию в стране и постепенно завоевывая международное признание, что рано или поздно происходит с долго живущими режимами *de facto*, ее правительство получает временну́ю передышку, которую чавизм всегда умел использовать для укрепления власти. Этот вариант развития в интересах не только политического и бюрократического аппарата чавизма, но и связанной с ним «боливарианской буржуазии».

Второй вариант возможного развития событий мог бы стать аналогом декомпрессии (*apertura*), подобной той, которую проводил бразильский авторитарный режим во второй половине 1970-х, или даже, как считают некоторые, своего рода «перестройкой», то есть осуществляемой сверху либерализацией с постепенным реформированием экономических и политических структур режима[35]. Часть предпринятых Делси Родригес мер — чистка аппарата от наиболее авторитарных проявлений чавизма, освобождение политических заключенных, уменьшение репрессий — может быть интерпретирована как движение в этом направлении. Этот вариант выхода из кризиса поддержат связанные с братом и сестрой Родригес секторы чавистского аппарата, умеренная оппозиция и те представители экономической элиты, которые идеологически близки Мачадо, но опасаются быстрых, неконтролируемых изменений.

> «Часть боливарианской буржуазии уже не зависит только от завышенных контрактов с обанкротившимся государством, но стремится легитимизировать себя в качестве “серьезных” капиталистов: у них уже много лет имеются формальные компании, хорошо известные населению и выглядящие как “нормальные предприятия”, и именно они являются главными бенефициарами контролируемого открытия экономики»[36].

Для того, чтобы этот путь реализовался, необходима политическая воля тех, кто сейчас находится у власти в стране.

> «“Родригато” может означать многое. Это может быть названием серого междуцарствия, правительства, которое удерживало власть по инерции до тех пор, пока это не стало невозможным. Или это может быть названием моста между эпохами в том случае, если два руководителя режима решат не быть очередными деспотами, а оставить после себя политические изменения, которых Венесуэла ждала десятилетиями. Я не знаю, осмелятся ли они. Есть множество причин сомневаться в этом. Но я знаю точно, что, если они это сделают, многие венесуэльцы как внутри страны, так и за ее пределами будут им благодарны. Как и история, которая быстро забывает о сообщниках, но долго помнит тех, кто открывает двери»[37].

И, наконец, третий вариант — демократический транзит, который может осуществиться в среднесрочной перспективе в том случае, если Мачадо удастся убедить США в том, что именно она является бесспорным лидером демократических сил, без чьего участия никакая политическая стабилизация невозможна и, следовательно, маловероятен все еще ожидаемый массовый приток американских инвестиций, которые вряд ли придут в страну, где отсутствуют правовые и политические

35 Muñoz B. *El Rodrigato: cinco escenas del nuevo poder en Venezuela* // El País. 2026. 26 de abril (https://elpais.com/america/2026-04-26/el-rodrigato-cinco-escenas-del-nuevo-poder-en-venezuela.html).

36 Sutherland M. *El curioso experimento «MAGA-chavista» que definirá el futuro de Venezuela* // Nueva Sociedad. 2026. Abril (https://nuso.org/articulo/venezuela-bajo-el-experimento-maga-chavista/).

37 Muñoz B. *El Rodrigato: cinco escenas del nuevo poder en Venezuela*.

гарантии. До сих пор Делси Родригес яростно отвергала возможность такого развития событий. Она неоднократно повторяла: если Мачадо вернется в страну, «ей придется ответить перед Венесуэлой» за свои призывы к осуществлению иностранной интервенции[38].

В конце мая 2026 года Мачадо провела встречу с представителями венесуэльской оппозиции в Панаме, результатом которой стал «Панамский манифест» («Manifiesto de Panamá»), который, кроме Мачадо, подписали Эдмундо Гонсалес, Объединенная демократическая платформа и Союз с Венесуэлой (Alianza Con Vzla). Этот программный документ содержит предложения о заключении «общенационального соглашения» («gran acuerdo nacional») и о начале «серьезных и ответственных политических переговоров с временным режимом с целью восстановления демократии в Венесуэле при поддержке правительства Соединенных Штатов»[39]. Первый раз в свой политической карьере Мачадо предлагает переговоры, что свидетельствует о принципиальном сдвиге ее позиции в сторону реалистической оценки соотношения сил. В Манифесте выдвигаются требования полного освобождения политических заключенных, как гражданских, так и военных; безопасного возвращения лиц, находящихся в изгнании по политическим причинам; нормализации гражданского и политического пространства, включая демонтаж репрессивного аппарата и нелегальных террористических вооруженных групп. Кроме того, предлагается «осуществление свободных, прозрачных и суверенных президентских выборов, для чего необходимо предварительно назначить новый Национальный избирательный совет и опубликовать реалистическую и поддающуюся проверке хронограмму выборов». Переговоры со стороны оппозиции «должна возглавить Мария Корина Мачадо, как руководитель демократического процесса в стране, совместно с Единой демократической платформой и организациями гражданского общества»[40].

Решающее слово оставалось за США, без чьего участия и давления на брата и сестру Родригес никакие переговоры в Венесуэле состояться не могут. 2 июня, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, госсекретарь Рубио впервые за пять месяцев четко высказался о том, что «для подлинного перехода [*transition*] в Венесуэле должны состояться многопартийные, свободные и справедливые выборы», что потребует серьезных институциональных изменений, включая реформу Национального избирательного совета Венесуэлы, гарантий свободной организации оппозиционных политических партий и существования открытой медийной среды, в которой независимые журналисты смогут работать без страха. Кроме того, упомянув о закрытии печально известной тюрьмы «El Helicoide» в Каракасе и об освобождении многих политических заключенных, включая нескольких известных лидеров оппозиции, Рубио признал, что «более 400» человек, которых Вашингтон считает политическими заключенными, все еще остаются в тюрьмах. В ходе своего

38 Martín M. *Delcy Rodríguez, sobre María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"* // El País. 12 de febrero (https://elpais.com/america/2026-02-12/delcy-rodriguez-sobre-maria-corina-machado-si-vuelve-tendra-que-responder-ante-venezuela.html).

39 *María Corina, Edmundo González Urrutia, Plataforma Unitaria y Alianza Con Vzla firman "Manifiesto de Panamá" por la transición en Venezuela* // Vente Venezuela. 2026. 29 de mayo (www.ventevenezuela.org/2026/05/28/maria-corina-edmundo-gonzalez-urrutia-plataforma-unitaria-y-alianza-con-vzla-firman-manifiesto-de-panama-por-la-transicion-en-venezuela/).

40 Ibid.

выступления Рубио неоднократно подчеркивал, что переходный период в Венесуэле остается незавершенным и хрупким. «Это не то направление, в котором мы хотим двигаться в Венесуэле, — сказал он. — Мы еще очень далеки от того, чего хотим достичь»[41]. Иначе говоря, Рубио фактически согласился с большей частью требований, предъявленных в «Панамском манифесте» оппозиции, но, как оказалось, американская позиция в отношении характера переговоров и их участников радикальным образом отличается от заявленных в этом документе.

18 июня в Венесуэлу неожиданно приезжает Динора Фигера — председатель Национальной ассамблеи IV созыва (2015–2020). В этом законодательном органе квалифицированное большинство принадлежало оппозиции, чавистские власти ее не признавали, полностью блокировали деятельность, а в 2017 году вообще объявили вне закона[42]. Полномочия Национальной ассамблеи IV созыва истекли 5 января 2021 года, но небольшая часть парламентариев решила формально сохранить этот орган, избрав в январе 2023 года его главой Динору Фигера, с 2018 года жившую в эмиграции в Испании. После прекращения в начале 2023 года полномочий временного оппозиционного президента Хуана Гуайдо Национальной ассамблеей IV созыва никто особенно не интересовался — до тех пор, пока в США не вспомнили, что это единственный государственный орган Венесуэлы, который они признавали законным.

В апреле 2026 года Фигера встретилась в Вашингтоне с заместителем государственного секретаря по делам западного полушария Майклом Козаком, а через два месяца прибыла в Венесуэлу — как она заявила в аэропорту, «по приглашению Государственного департамента Соединенных Штатов, — чтобы преодолеть противоречия и добиться согласия по вопросам формирования заслуживающего доверия Национального избирательного совета»[43]. В тот же день Фигера встретилась с председателем действующей Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом. В официальном сообщении о встрече подчеркивалось, что стороны договорились о создании «технической и политической комиссии» на основе паритетного представительства возглавляемого Родригесом парламента и оппозиционных депутатов ассамблеи 2015–2020 годов с тем, чтобы договориться о конкретных условиях и сроках «укрепления демократии, сохранения мира и поисков путей к будущему благополучию и процветанию»[44]. Фигера также встретилась в Каракасе с поверенным в делах США Джоном Барретом. Судя по всему, американская администрация и главный творец и координатор ее венесуэльской политики Марко Рубио («вице-король Венесуэлы», как назвала его «The New York Times»[45]) приняли решение о переходе к третьей фазе «плана Рубио» — демократическому транзиту — и нашли для этого удобного и подконтрольного им представителя оппозиции, извлеченного ими

41 Delgado A.M. *Rubio Says Venezuela No Longer Poses Same Threat to U.S., Draws Contrast with Cuba* // The Miami Herald. 2026. June 2 (www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article315979041.html).

42 Подробнее см.: Ворожейкина Т. *Указ. соч.*

43 Singer F., Martín M. *Estados Unidos impulsa una nueva figura opositora, distinta a María Corina Machado, para negociar la transición en Venezuela* // El País. 2026. 18 de junio (https://elpais.com/america/2026-06-18/estados-unidos-impulsa-una-nueva-figura-opositora-distinta-a-maria-corina-machado-para-negociar-la-transicion.html).

44 Ibid.

45 Pager T., Kurmanaev A. *How Marco Rubio Is Running Venezuela From Afar* // The New York Times. 2026. July 13 (www.nytimes.com/2026/07/11/us/politics/how-marco-rubio-runs-venezuela.html).

из политического небытия. Мачадо и ее «Панамский манифест» не упоминались ни одной из сторон в ходе этих переговоров: «демократический переход» должен был, согласно американскому плану, осуществиться без ее участия.

Но в реализацию этого плана вмешались силы, неподконтрольные Трампу. 24 июня 2026 года в Венесуэле произошло катастрофическое землетрясение, затронувшее столицу и карибское побережье страны. Точнее, это были два землетрясения подряд, магнитудой 7,2 и 7,5 балла, произошедшие с интервалом в 40 секунд. Они сопровождались колоссальными разрушениями и гибелью множества людей, особенно в прибрежном штате Ла Гуайра, расположенном к северу от Каракаса. На конец июля официальная цифра погибших составляет 5278 человек, раненых и искалеченных — 16 740 человек. Повреждены более 850 зданий многоэтажной застройки, 190 из них рухнули полностью. Десятки тысяч людей потеряли жилье; 23 587 человек живут во временных лагерях для пострадавших, расположенных в Каракасе и трех прибрежных штатах[46]. Через месяц после землетрясения число пропавших без вести колеблется, по данным разных организаций, от 40 до 65 тысяч человек. В любом случае речь идет о десятках тысяч людей, чьи тела скорее всего находятся под развалинами многоэтажных зданий, разбор которых завершится еще нескоро[47].

На следующий день после землетрясения Мачадо объявила, что она возвращается в страну, чтобы быть рядом со своим народом и помогать ему во время такого страшного бедствия. 26 июня она вылетела на частном самолете в направлении Кюрасао с помощью той же фирмы, что обеспечивала ее выезд из Венесуэлы в декабре 2025 года. Но повторить декабрьский маршрут в обратном направлении ей не удалось: американские власти настоятельно попросили прекратить полет, развернув самолет над Южной Каролиной. Официальный представитель Государственного департамента заявил, что «добавлять политически чувствительные вопросы к этой ситуации [землетрясения] в данный момент контрпродуктивно для наших усилий по урегулированию этой трагедии»[48]. Неофициально же высокопоставленный представитель администрации заявил изданию «Axios», что стремление Мачадо вернуться в страну — «это политический оппортунизм и это отвратительно». Другой неназванный представитель администрации сказал: «Она хочет сфотографироваться, раздавая нашу помощь. Она думает о своих интересах»[49].

Сорвалась и вторая попытка Мачадо вернуться в Венесуэлу через Панаму: авиакомпания отказалась пустить ее в самолет. Более того, Джон Баррет, американский поверенный в делах в Каракасе, требовал, чтобы президент Панамы Хосе Рауль Мулино не принимал Мачадо.

46 *El gobierno de Venezuela ascendió a 5.278 muertos el balance de víctimas por el doble terremoto* // Infobae. 2026. 21 de julio (www.infobae.com/venezuela/2026/07/21/el-gobierno-de-venezuela-ascendio-a-5278-muertos-el-balance-de-victimas-por-el-doble-terremoto/).

47 Землетрясение и его человеческие, социальные и политические последствия, а также поведение общества и государства (точнее, отсутствие последнего) требуют подробного анализа и должны стать предметом отдельной статьи.

48 Vidal Liy M. *Estados Unidos califica de "contraproducentes" los intentos de María Corina Machado de volver a Venezuela* // El País. 2026. 3 de julio (https://elpais.com/us/2026-07-02/estados-unidos-sobre-los-intentos-de-maria-corina-machado-de-volver-a-venezuela-son-contraproducentes.html).

49 Caputo M. *Trump Admin Blasts Machado's "Grotesque Political Opportunism" after Venezuela Quakes* // Axios. 2026. July 1 (www.axios.com/2026/07/01/trump-venezuela-machado-return-efforts).

Таким образом, США употребили все свое влияние, чтобы не допустить возвращения Мачадо в Венесуэлу. Действия эти при любом отношении и к Мачадо, и к ситуации в целом являются противоправными и возмутительными: она гражданка страны и имеет право вернуться туда, как и когда захочет. Сама Мачадо, пообещав в очередной раз «вернуться очень скоро», объяснила свою задержку тем, что правительство Венесуэлы закрыло воздушное пространство, чтобы помешать ей возвратиться, — ни словом не упоминая о позиции США[50].

Казалось, что землетрясение и его страшные последствия надолго отодвинули вопрос о начале переговоров, формировании нового Национального избирательного совета и хронограмме выборов. 12 июля на пресс-конференции Хорхе Родригес с возмущением высказался по поводу тех, кто позволяет себе думать об этих вещах в такой ситуации. В ответ на вопрос, как и когда руководимая им Национальная ассамблея будет назначать новые выборы, поскольку 3 июля истек срок легальных полномочий временного президента, Родригес сказал, что заниматься сейчас обновлением Национального избирательного совета или Верховного суда значит проявлять «неуважение» к жертвам землетрясения: «У нас нет сил беспокоиться о Верховном суде сегодня. Сегодня мы занимаемся людьми, страдания которых немыслимы»[51]. Однако уже через два дня он вынужден был радикально изменить свою позицию. 14 июля Динора Фигера объявила, что 1 августа она начнет переговоры с представителями официальных властей Венесуэлы об укреплении институтов, обновлении избирательной системы и гарантиях политического участия, и Хорхе Родригес подтвердил возобновление контактов, пусть даже представляя их как процесс «национального объединения в чрезвычайных условиях»[52]. Через неделю пришло подтверждение из высшей инстанции: выступая 20 июля на авиабазе Эндрюс перед вылетом на конференцию АСЕАН на Филиппинах, Рубио заявил:

> «Группа, которая представляет Национальную ассамблею 2015 года, последнюю демократически избранную ассамблею, группа, которую мы признаем законным правительством Венесуэлы [sic!], встретилась с временным правительством и договорилась установить формат не только для переговоров о примирении, но также и о начале процесса [демократического] перехода, который необходим венесуэльскому народу»[53].

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут «глубоко вовлечены» в процесс достижения соглашения — иначе говоря, намерены жестко контролировать ход переговоров и их участников. Администрация США, по-видимому, сделала выбор в пользу второго из описанных выше сценариев политического развития Венесуэлы: провести постепенную демократизацию через подконтрольные США власть и «оппозицию», полностью отстранив от процесса переговоров и политически маргинализовав лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в расчете на то, что к моменту, когда

50 Vidal Liy M. *Op. cit.*

51 Singer F. *Gobierno y oposición inician formalmente negociaciones políticas en Venezuela* // El País. 2026. 14 de julio (https://elpais.com/america/2026-07-14/gobierno-y-oposicion-inician-formalmente-negociaciones-politicas-en-venezuela.html).

52 Ibid.

53 González J.S. *Marco Rubio anuncia que la transición democrática en Venezuela se iniciará a principios de agosto* // El País. 2026. 20 de julio (https://elpais.com/america/2026-07-20/marco-rubio-anuncia-que-a-principios-de-agosto-se-iniciara-la-transicion-democratica-en-venezuela.html).

и если состоятся, наконец, выборы, ее политическое влияние будет ослаблено настолько, что она уже не сможет представлять угрозы не контролируемого США развития событий.

Американская политика поставила венесуэльскую оппозицию в тяжелейшую ситуацию, которая оказалась для сторонников Мачадо полной неожиданностью. 15 июля Мачадо и Эдмундо Гонсалес провели встречу Единой демократической платформы с тем, чтобы обсудить соглашение о диалоге, которое заключили Хорхе Родригес и группа Диноры Фигера. Судя по всему, единого мнения выработать не удалось; ни Мачадо, ни Гонсалес не сделали никаких заявлений по этому поводу. В оппозиции назревает раскол: представители двух партий, которые входят в Единую демократическую платформу — «Народная воля» («Voluntad Popular») и «За справедливость» («Primero Justicia»), одним из руководителей которой является Фигера, — фактически согласились с американским проектом. В то же время ряд деятелей оппозиции выступил против переговорного процесса, в котором не участвует Мачадо. Эту позицию поддержал единый оппозиционный кандидат на выборах 2012-го и 2013 годов Энрике Каприлес, остававшийся на протяжении десятилетий непримиримым политическим противником Мачадо:

> «Любой переговорный процесс не может быть направлен к чьей-то выгоде или против кого-либо, на исключение кого-либо. В этом смысле переговоры, исключающие Марию Корину Мачадо и те силы, которые она представляет, обречены на провал»[54].

Сейчас невозможно предсказать, какая из этих двух позиций возобладает. Удивительно, однако, что наиболее проамериканский и по идеологии, и по мироощущению венесуэльский политик, Мария Корина Мачадо, последовательно выталкивается американским руководством на обочину политического процесса в Венесуэле. Так или иначе, выбор между возможными вариантами дальнейшего развития Венесуэлы решающим образом зависит от администрации Трампа. «El País» приводит неожиданное, но глубокое, на мой взгляд, сравнение прошлого и настоящего Венесуэлы:

> «Взгляд двух глаз сопровождал жизнь венесуэльцев на протяжении более двадцати лет. Эти глаза смотрели на них с фасадов домов, с футболок, с билбордов в городском парке Каракаса. Это были глаза Уго Чавеса: они должны были внушать представление о вездесущей власти и ее постоянном наблюдении. Взгляд, который даже после смерти Чавеса в 2013 году оставался неизменным, как будто власти уже не нужно было тело, а только присутствие. Сегодня эти глаза почти незаметны на улицах венесуэльской столицы. Их следы исчезают с фасадов так же, как рассеивается аура, которая окружала чавизм. Теперь, похоже, появились другие глаза. Они не нарисованы на стенах, но пронизывают решения, ожидания, страхи. Это не физическое, но столь же навязчивое присутствие Дональда Трампа. Страна, за которой следили изнутри, чувствует, что за ней теперь следят извне. И в этом скрещении взглядов Венесуэла продолжает жить, как всегда, в безвременье, “между тем”, *mientras tanto*»[55].

54 *Capriles advierte que negociación en Venezuela sin Machado "estará condenada a fracasar"* // Infobae. 2026. 21 de julio (www.infobae.com/america/agencias/2026/07/21/capriles-advierte-que-negociacion-en-venezuela-sin-machado-estara-condenada-a-fracasar/)

55 Lafuente J., Martín M. *Op. cit.*

Когнитивная картография народного хозяйства[1]

Константин Митрошенков

1

Книга Алексея Сафронова, рассказывающая историю советской экономики от первых послереволюционных декретов до перестройки, заканчивается политэкономическим заключением, в котором автор рассуждает о причинах неудачи советской экономической модели. Захватив власть в октябре 1917 года, большевики рассчитывали, что в скором времени революции произойдут и в других странах Европы, чей пролетариат придет на помощь своим товарищам на Востоке, что позволит преодолеть отсталость российской экономики и совершить рывок к социализму. Однако уже к началу 1920-х стало ясно, что европейская, и тем более мировая, революция откладывается на неопределенный срок, а значит, социализм в Советской России нужно будет строить своими силами. Вместо того, чтобы создавать федерацию самоуправляющихся коммун, как предполагалось изначально, большевикам пришлось сконцентрировать все «доступные ресурсы в единый “кулак” под управлением сильной государственной власти» (с. 738). Как указывает Сафронов, это тактическое решение в значительной степени предопределило всю дальнейшую историю СССР:



Константин Александрович Митрошенков (р. 1997) — аспирант Колумбийского университета.

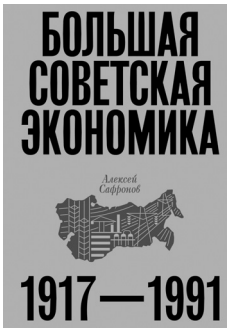
1 Ссылки на конкретные страницы этого издания даются в скобках в тексте. Я благодарю Полину Перемитину и Алешу Рогожина, чьи советы помогли мне в работе над текстом.

> «Вместо строя “цивилизованных кооператоров”, в котором государство выступает лишь как посредник для координации усилий, возник строй, где центральная власть навязывала трудовым коллективам свою волю, пользуясь отобранными у них же ресурсами» (с. 738).

Следствием этого, согласно Сафронову, стало оппортунистическое поведение трудовых коллективов:

> «[Они] старались заполучить побольше общественных ресурсов и потратить их на свое благосостояние, а не на общегосударственные задачи. […] В полном соответствии с законами диалектики сильное государство, необходимое для “доразвития” в отсталой стране предпосылок социализма, само стало тормозом для социалистических отношений, в основе которых должно лежать самоуправление трудящихся» (с. 738).

Всю историю советской экономики Сафронов предлагает рассматривать как чередование циклов централизации и децентрализации, обусловленное «попытками центральной власти перераспределить часть полномочий по управлению ресурсами на средние и низовые уровни управления» (с. 738). Такие попытки (в период НЭПа, второй пятилетки, хрущевских реформ, косыгинской реформы) неизбежно оканчивались неудачей и вызывали новые волны централизации, которые, однако, все равно не могли разрешить центрального противоречия советской экономической системы (с. 739). Движение по кругу продолжалось до перестройки, когда в силу целого ряда факторов децентрализация не была свернута на полпути, как это происходило прежде, а дошла до своего логического завершения, то есть до ликвидации советской экономической системы и самого СССР.



Большая советская экономика. 1917–1991
Алексей Сафронов
М.: Individuum, Эксмо, 2026. — 792 стр.

Так в общих чертах выглядит нарратив советской экономической истории, предложенный Сафроновым. Я не экономист и не историк экономики, поэтому не возьмусь разбирать собственно экономическую составляющую его аргументации. Вместо этого я, вслед за одним из первых рецензентов «Большой советской экономики»[2], хочу отметить, что Сафронов уделяет большое внимание культурному фактору, что не совсем типично для книг по экономической истории. Поэтому я буду говорить о том, как именно Сафронов трактует взаимоотношения между экономикой и культурой в советском контексте, и о том, на какие теоретические и историографические вопросы выводит нас его книга.

2 Ростомян Д. *Большая советская экономика Алексея Сафронова: рецензия* // Lenin Crew. 2025. 28 июля (https://lenincrew.com/big-soviet-economic-review/).

В своих заключительных политэкономических рассуждениях Сафронов пишет главным образом о неготовности советского общества к новому типу хозяйствования, основанному на самоуправлении трудящихся. Несколько страниц спустя, комментируя итоги хрущевских реформ, он называет это явление «групповым эгоизмом» и пишет:

> «Трудящиеся постоянно пробовали формулу социализма “От каждого — по способностям, каждому — по труду” на прочность, пытаясь заполучить из общественного “котла” немного больше, чем давал их собственный трудовой вклад» (с. 741).

Критики «слева» могут указать, что Сафронов гипертрофирует культурный фактор и тем самым предает основные принципы материалистического подхода к истории. На это возражение можно ответить, что Сафронов говорит о конкретной культурной ситуации позднеимперского и затем советского общества, чья неготовность к социализму была обусловлена материальной отсталостью Российской империи и СССР. Таким образом, в анализе Сафронова за экономикой сохраняется статус «конечной детерминирующей инстанции», как сказал бы Луи Альтюссер[3], а за культурой (в широком смысле слова) признается относительная автономия и способность не просто «отражать» социальную ситуацию, но и формировать ее.

Все эти рассуждения приводят нас к проблематике культурной революции[4]. Несмотря на то, что в книге Сафронова это понятие используется лишь однажды (с. 165–166), оно представляется очень важным для ее центрального аргумента о взаимосвязи между экономикой и культурой в послереволюционном обществе. Основополагающий текст о культурной революции в советском контексте — это заметка Владимира Ленина «О кооперации» (1923), в которой тот отмечает, что после октябрьской революции, когда государственная власть оказалась в руках пролетариата, а все средства производства были национализированы, для построения социалистического общества осталось только кооперировать население, то есть «заставить всех поголовно участвовать — и участвовать не

3 Альтюссер Л. *Ошибки классической экономии: набросок понятия исторического времени* // Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 21.

4 Существует обширная традиция исследований советской культурной революции, начало которой было положено работами Шейлы Фицпатрик середины — второй половины 1970-х: Fitzpatrick S. *Cultural Revolution in Russia 1928–32* // Journal of Contemporary History. 1974. № 1. P. 33–52; Idem. *Cultural Revolution as Class War* // Idem (Ed.). *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931*. Bloomington: Indiana University Press, 1978. P. 8–40. Обзор историографии по теме и обсуждение наиболее спорных ее аспектов (например хронологических границ культурной революции в СССР) см. в Дэвид-Фокс М. *Что такое культурная революция?* // Он же. *Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе*. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 221–279.

пассивно, а активно в кооперативных операциях»[5]. Но, чтобы достичь этого, необходимо колоссально повысить культурный уровень населения: не только ликвидировать неграмотность, но и научить людей всему, что необходимо для полноценного участия в современной экономической жизни и, следовательно, строительства социализма. Как указывает историк Майкл Дэвид-Фокс, в первую очередь речь шла о более эффективной организации труда, пунктуальности и аккуратности[6]. Иными словами, за революцией политической, которую большевики уже осуществили, должна последовать революция в культурной сфере. «Полное кооперирование, — пишет Ленин, — невозможно без целой культурной революции»[7].

Однако Фредрик Джеймисон указывает, что отдельные компоненты теории культурной революции можно ретроспективно обнаружить и в более раннем тексте Ленина: в работе «Государство и революция» (1917)[8]. Следуя за Марксом и Энгельсом, Ленин пишет, что государство «есть орган классового господства, есть орган угнетения одного класса другим»[9]. Класс угнетателей (в данном случае буржуазия), по определению, малочисленнее класса угнетенных (пролетариата), поэтому для поддержания своей власти ему требуется государственная машина. После социалистической революции, когда власть перейдет в руки пролетариата, необходимость в государстве как инструменте принуждения какое-то время будет сохраняться, но только до того момента, пока буржуазия полностью не исчезнет. Но даже в переходный период государственная машина уже будет существовать в серьезно ограниченном виде, поскольку большинству трудящихся не нужна разветвленная институциональная система для подавления меньшинства бывших эксплуататоров. В то же время появится новое поколение, выросшее в «свободных общественных условиях, которое окажется в состоянии совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности» (Фридрих Энгельс):

5 Ленин В.И. *О кооперации* // Он же. *Полное собрание сочинений*. М.: Издательство политической литературы, 1964. Т. 45. С. 372.

6 Дэвид-Фокс М. *Что такое культурная революция?* С. 246. На один из курьезных, с точки зрения западноевропейского наблюдателя, аспектов этой «культурнической» работы обратил внимание Вальтер Беньямин, посещавший Москву зимой 1926–1927 годов: «Мне кажется, что такого количества часовщиков, как в Москве, нет ни в одном городе. Это тем более странно, что люди здесь не слишком ценят время. Но тому есть, видимо, исторические причины. […] (Чрезвычайно показательно, что, как рассказал мне [Бернхард] Райх, в каком-то клубе висит транспарант, на котором написано: Ленин сказал, что время — деньги. Чтобы высказать эту банальную истину, здесь требуется ссылка на высший авторитет.)» (Беньямин В. *Московский дневник*. М.: Ad Marginem, 1997. С. 70.)

7 Ленин В.И. *О кооперации*. С. 376.

8 Jameson F. *Cultural Revolution* // Idem. *Valences of the Dialectic*. London; New York: Verso, 2010. P. 269–271.

9 Ленин В.И. *Государство и революция*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. С. 7.

> «Когда *все* научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных “хранителей традиций капитализма” — тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики и шутить они с собой едва ли позволят), что *необходимость* соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет *привычкой*»[10].

Несмотря на то, что даже в таком утопическом образе будущего все равно присутствует зловещий намек на революционное насилие, главным здесь представляется указание на важность культурной трансформации — выработки новых привычек, — которая должна последовать за захватом политической власти и переустройством экономики. Пользуясь словами Джеймисона, можно сказать, что Ленин прогнозирует «реструктуризацию коллективных идентичностей в соответствии с логикой нового способа производства». Как отмечает Джеймисон, эта реструктуризация должна происходить на двух уровнях: «создания новой культуры в узком и специализированном смысле (новой литературы, кино и так далее) и трансформации культуры повседневности в более широком смысле»[11]. В «Государстве и революции» и заметке «О кооперации» Ленин говорит именно о трансформации культуры повседневности; в начале 1920-х с легкой руки Троцкого в обиход также входит выражение «строительство нового быта»[12]. Но полностью отделить строительство новой культуры повседневности от строительства новой культуры в более «элитарном» смысле слова едва ли возможно хотя бы потому, что советские теоретики этого периода подходили к «высокой» культуре утилитарно и видели в ней главным образом инструмент для просвещения и мобилизации масс. Кроме того, как показывает марксистское литературоведение и культурные исследования, даже в тех обществах модерна, которые не так явно идеологизированы, как советское, литература и другие сферы искусства все равно участвуют в конструировании моделей поведения, соответствующих тому или иному способу производства[13].

10 Там же. С. 94.
11 Jameson F. *Cultural Revolution*. P. 267.
12 См.: Троцкий Л. *Вопросы быта: эпоха «культурничества» и ее задачи*. М.: Красная новь, 1923.
13 Jameson F. *The Political Unconscious: Narrative as a Social-Symbolic Act*. Ithaca: Cornell University Press, 1981. P. 152; Moretti F. *The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture*. London; New York: Verso, 1987.

Нагляднее всего взаимосвязь между двумя этими уровнями, или направлениями культурной революции, видна на примере литературы соцреализма[14]. Как показала Катерина Кларк, в большинстве соцреалистических романов можно обнаружить одну и ту же основополагающую фабулу: историю скромного рабочего, служащего или солдата, двигающегося от стихийности к сознательности. Стадии жизни соцреалистического героя «символически суммируют стадии исторического прогресса в соответствии с учением марксизма-ленинизма; кульминация романа ритуально воплощает кульминацию истории в момент достижения коммунизма». Кларк пишет, что в этом отношении основополагающая фабула выполняет роль ритуала, поскольку она «помогает роману обнаружить марксизм-ленинизм в истории»[15]. Чуть позже она добавляет, что соцреалистическому герою предназначено также «символизировать большевистские добродетели, вдохновлять читателей на соревнование»[16].

Даже в тех обществах модерна, которые не так явно идеологизированы, как советское, литература и другие сферы искусства все равно участвуют в конструировании моделей поведения, соответствующих тому или иному способу производства.

Мне кажется, что у основополагающей фабулы есть и еще одна важная функция, на которую имплицитно указывает анализ Кларк. Превращая историю скромного труженика в аллегорию исторического процесса, соцреалистический роман *артикулирует связь* между уровнями повседневного труда, который выполняет тот или иной конкретный работник, и социалистического/коммунистического строительства, недоступного для чувственного восприятия и существующего только в форме отвлеченного знания. Соцреалистический роман словно бы говорит своему читателю или читательнице: какой бы незначительной ни казалась твоя работа, она все

14 Соцреализм появился значительно позднее, чем Ленин и Троцкий изложили свои взгляды на культурную революцию. Но, следуя за Евгением Добренко, я исхожу из того, что соцреализм не порывал с наследием 1920-х, а синтезировал отдельные его аспекты (Добренко Е. *Формовка советского писателя: социальные и эстетические истоки советской литературной культуры*. СПб.: Академический проект, 1999). Поэтому я считаю уместным говорить о том, что литература и искусство соцреализма продолжали решать задачи культурной революции, хотя и в серьезно изменившихся условиях.

15 Кларк К. *Советский роман: история как ритуал*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. С. 18.

16 Там же. С. 48.

равно важная и должна выполняться ответственно, поскольку вносит вклад в дело строительства социализма/коммунизма. Дополняя Кларк, можно сказать, что основополагающая фабула сначала помогает обнаружить марксизм-ленинизм в истории, а затем обнаружить историю в повседневности.

Интересно заметить, что у диалектики сознательности и стихийности — которая, согласно Кларк, является «структурообразующим началом основополагающей фабулы»[17] — есть аналог в нарративе Сафронова. Я имею в виду диалектику централизации/децентрализации, которая, согласно его анализу, определяла динамику советской экономической истории. В обоих случаях речь идет о попытке примирить индивидуальные интересы с общими задачами. Согласно Кларк, идеологическое значение соцреалистического романа заключается в том, что он приводит эту диалектику в действие, чтобы в конечном счете достичь синтеза и разрешить «застарелый конфликт между индивидуумом и обществом»[18]. Аналогичный синтез, согласно Сафронову, пытались найти и руководители советской экономики, то давая агентам на местах больше свободы, то возвращая полномочия центру. Но в случае с экономикой, если продолжать следовать за Сафроновым, необходимым условием такого синтеза была коренная трансформация отношения людей к труду, которая в случае успеха как раз и сняла бы противоречие между сознательностью и стихийностью, централизацией и децентрализацией, индивидуальным и общественным.

Всю эту процедуру можно описать с использованием концепции когнитивного картографирования, предложенной урбанистом Кевином Линчем и позже заимствованной Джеймисоном. Последний исходит из того, что осмысленное политическое действие невозможно без четкого представления о том, как конкретное «здесь и сейчас» индивидуума соотносится с глобальными процессами. Когнитивное картографирование призвано обеспечить «индивидуальному субъекту ситуационное представление этой более обширной и по-настоящему непредставимой реальности, каковой является ансамбль социальных структур как целое»[19]. Джеймисон подчеркивает идеологическое значение когнитивного картографирования. Вслед за Альтюссером определяя идеологию как «воображаемое представление отношения субъекта к его реальным условиям существования», он пишет:

17 Там же. С. 23.

18 Там же. С. 24. Здесь можно снова вспомнить Джеймисона и сказать, что соцреалистический роман — это идеологический акт, «функция которого состоит в изобретении воображаемых и формальных “решений” для неразрешимых общественных противоречий» (Джеймисон Ф. *Об интерпретации: литература как социально-символический акт* // Он же. *Марксизм и интерпретация культуры* / Сост. А.А. Парамонова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 38).

19 Джеймисон Ф. *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 168.

«Каковы бы ни были ее недостатки и проблемы, позитивная концепция идеологии как функции, необходимой для любой формы социальной жизни, хороша уже тем, что подчеркивает наличие разрыва между локальным позиционированием отдельного субъекта и тотальностью классовых структур, в которых он размещен, разрыва между феноменологическим восприятием и реальностью, которая превосходит любое индивидуальное мышление или опыт, то есть разрыва, который идеология, собственно, и пытается сократить или скоординировать, нанести на карту посредством сознательных или бессознательных репрезентаций[20].

Иными словами, когнитивное картографирование определенным образом размещает индивидуума внутри не поддающейся репрезентации (в силу своей сложности и многоуровневости), но подразумеваемой социальной тотальности. Этот процесс можно описать при помощи еще одного важного для Альтюссера понятия — интерпелляции, или окликания[21]. Художественное произведение или другой культурный продукт «окликает» индивидуумов, предлагает им занять определенное место в воображаемом пространстве и тем самым превращает их в субъектов идеологии. Субъект идеологии — это тот, кто успешно «нашел» свое место на предложенной ему когнитивной карте. Если так, то мы можем охарактеризовать соцреалистический роман как особую форму когнитивного картографирования[22], выработанную послереволюционной культурой для мобилизации населения — но не просто путем внушения или демонстрации примера, а через вписывание индивидуального опыта во «всемирно-исторический» контекст[23].

Приведу литературный пример, возвращающий нас к советской экономике. У Андрея Платонова есть рассказ «Бессмертие» (1936), главный герой которого Эммануил Левин руководит станцией «Красный перегон»[24]. Левин — умелый и внимательный организатор, всячески старающийся повысить уровень сознательности своих подчиненных и эффективность их труда.

20 Там же. С. 791–792.

21 Альтюссер Л. *Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования)* // Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 50 и далее.

22 Схожим образом Эрик Найман в предисловии к сборнику статей о пространственном воображении сталинизма пишет, что «успех и выживание [советских граждан] зависели от их навыков идеологической навигации, от их способности выстраивать свой путь через мир, существующий в плоскости репрезентации и воображения, плоскости, которая оказывала своего рода бессимптомное и симптоматическое воздействие на их повседневную жизнь» (Naiman E. *Introduction* // Dobrenko E., Naiman E. (Eds.). *The Landspaces of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space*. Seattle, 2003. P. xi).

23 В этом отношении обсуждаемые мной вопросы оказываются близки проблематике школы «советской субъективности». Краткое изложение основных ее положений и их критику см. в интервью Игала Халфина и Йохана Хелльбека и других публикациях тематического блока журнала «Ab Imperio»: Могильнер М. *Интервью с Иганом Халфином и Йоханом Хелльбеком* // Ab Imperio. 2002. № 3. P. 217–260.

24 Платонова, при всей его приверженности идеям коммунизма, нельзя назвать ортодоксальным писателем-соцреалистом (существовали ли такие писатели в принципе — тоже большой вопрос). Тем не менее, в отличие от многих других произведений Платонова, рассказ «Бессмертие» был опубликован почти сразу пос-

Иными словами, провести культурную революцию на вверенной ему станции. Но у Левина есть один недостаток: он не заботится о своем здоровье, мало спит и пренебрегает едой. Однажды Левину безо всякого предупреждения звонит сам Лазарь Каганович, возглавлявший в 1935–1937 годах Народный комиссариат путей сообщения, и отчитывает начальника станции за невнимательное отношение к себе:

> «Люди ложатся спать вечером, а не утром… Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в "Перегоне", я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку»[25].

Реплика Кагановича интересна как минимум по двум причинам. Во-первых, с его появлением (пускай и по телефонной связи) рассказ, до этого сохранявший внешние признаки правдоподобности, приобретает полуфантастический характер: в тексте нет никакой реалистической мотивировки, объясняющей, почему наркому вдруг пришло в голову позвонить обычному начальнику станции. Во-вторых, Каганович заботится не о самочувствии Левина как частного лица, но о его работоспособности. Он сравнивает вред, который начальник станции может нанести себе неправильным режимом дня, с поломкой паровозов: в обоих случаях речь идет о состоянии производительных сил. По сути, Каганович требует от Левина более высокого уровня сознательности и трудовой дисциплины. Ровно того же более десяти лет требовали от советских рабочих и крестьян Ленин и Троцкий в своих работах по теории и практике культурной революции. Левин должен осознать, что забота о своем здоровье — это общественно-значимое дело, поскольку от его работоспособности зависит функционирование всей станции, а значит — всей железнодорожной системы, а значит — всей советской экономики. Полуфантастический эффект, который производит звонок Кагановича, связан в первую очередь с тем, что рассказ пытается артикулировать эту сложную взаимосвязь уровней при помощи одного-единственного эпизода. Как бы то ни было, перед нами, говоря словами Джеймисона, пример когнитивного картографирования, пускай и не вполне удачного: «Красный перегон» и его начальник

ле написания, хотя и не без трудностей, и удостоился похвалы влиятельного литературного функционера Владимира Ставского (Поддубцев Р. *Борьба за Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов* // Вопросы литературы. 2015. № 5. С. 258). В любом случае, разбирая один конкретный рассказ, я не претендую на то, чтобы предложить концептуальную модель, применимую ко всем соцреалистическим текстам, а лишь намечаю возможное направление будущих исследований.

25 Платонов А. *Бессмертие* // *«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества*. *Вып. 5*. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 754; см. также анализ рассказа в: Bird R. *Articulations of (Socialist) Realism: Lukács, Platonov, Shklovsky* // e-flux journal. 2018. № 5(91) (www.e-flux.com/journal/91/199068/articulations-of-socialist-realism-luk-cs-platonov-shklovsky).

оказываются нанесены на воображаемую карту вместе с Москвой, где принимаются решения о том, в каком направлении будет развиваться советская экономика, и где работает строгий, но заботливый Каганович[26].

После долгого отступления пришло время вернуться к книге Сафронова, согласно которой одна из основных проблем советской экономической системы заключалась в следующем:

> «Количество людей, которые воспринимали единый народнохозяйственный комплекс Советского Союза действительно как единое целое, было исчезающе малым и в пределе сводилось к фигуре председателя правительства и сотрудникам сводного отдела Госплана СССР. Все остальные экономические агенты в большей или меньшей степени лоббировали преимущественное развитие "своих" отраслей, территорий и производств, воспринимая остальную экономику как ресурсное поле для своих амбиций» (с. 747).

Если рассуждать в предложенных выше терминах, то выходит, что советский проект не смог создать достаточно успешного инструмента когнитивного картографирования, который позволил бы гражданам СССР «опознать» свое место в экономической системе и осознать, каким образом происходящее на конкретных предприятиях связано с благосостоянием страны в целом. Чем сложнее становилась советская экономика и управляющие ей институты, тем острее вставала эта проблема. Поэтому намеченная еще Лениным программа

Советский проект не смог создать инструмента когнитивного картографирования, который позволил бы гражданам СССР осознать, каким образом происходящее на конкретных предприятиях связано с благосостоянием страны в целом.

культурной революции, главной целью которой была как раз выработка более ответственного отношения к труду, необходимая для построения социализма и коммунизма, в полной мере так и не была реализована. И если, вслед за Лениным, Троцким и Джеймисоном, исходить из того, что культурная

26 Об особом положении Москвы в пространственном воображении соцреализма пишет и Катерина Кларк: «Действие соцреалистических романов разворачивается обычно на периферии, поскольку она представляет собой уменьшенный микрокосм, в котором протекают те же процессы, что идут на "большой арене", именуемой собственно обществом, а также и потому, что периферия — это пространство масс. Центр же — это сакрализованное пространство, пространство великого (великих) вождя (вождей)» (Кларк К. *Соцреализм и сакрализация пространства* // *Соцреалистический канон* / Под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 125–126).

революция — необходимая составляющая любой революции, то получается, что *одной* из причин краха советской экономики (и советского социализма в целом) стала именно неспособность, нежелание или невозможность довести революцию до конца, то есть до полной «реструктуризации коллективных идентичностей в соответствии с логикой нового способа производства» (Джеймисон), выработки новых, социалистических привычек и повседневных практик (Ленин и Троцкий). Эту неудачу нельзя рассматривать в отрыве от материальных условий и того влияния, которое они оказывали на процессы в сфере культуры и идеологии. Но это уже иная проблема, требующая историко-социологической, а не культурологической оптики.

2

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать при разговоре об экономике и воображении в советском контексте, — это наличие утопического горизонта будущего, который, по крайней мере в теории, должен был мотивировать граждан усердно трудиться ради общего блага, а не индивидуального обогащения. Такой утопический горизонт присутствует в процитированной выше работе Ленина «Государство и революция» — грядущее коммунистическое общество, успешно функционирующее без государственного аппарата принуждения. Стоит уточнить, что, называя ленинский образ «утопическим», я вовсе не пытаюсь сказать, что он относится к области фантастики; я лишь хочу подчеркнуть, что он предполагает радикальный разрыв между настоящим и будущим[27]. Ленин написал «Государство и революцию» еще до прихода большевиков к власти, а когда же это произошло, то, столкнувшись с необходимостью срочно налаживать хозяйство и вести войну на несколько фронтов, им, как показывает Сафронов и другие исследователи, напротив, пришлось усиливать государственный контроль за экономикой и другими сферами жизни общества. Неудачи революций в Европе поставили Советскую Россию, а затем и СССР в положение «осажденной крепости», что также способствовало усилению государственного аппарата, призванного бороться с реальными и мнимыми угрозами. Поэтому в 1933 году Сталину пришлось скорректировать излишне оптимистичный взгляд Ленина на государство и революцию:

27 Как пишет Ханс Гюнтер, «для утопической ментальности идеал будущего отделен от сегодняшнего дня разрывом в историческом времени» (Гюнтер Х. *Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон*. С. 45).

> «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения»[28].

Отмирание государства не снималось полностью с повестки, но переносилось в неопределенное будущее. На этом основании всю дальнейшую советскую историю (и в особенности историю культуры и идеологии) часто описывают в терминах постепенного угасания и выхолащивания изначального утопического импульса. Однако процесс этот, по-видимому, был вовсе не линейным. Ирина Каспэ в книге об утопическом воображении в позднем СССР предлагает следующую периодизацию отношений советского проекта с утопией. 1920-е и начало 1930-х она называет периодом «импульсивной эсхатологии», которая «расшатывала конструкцию настоящего, побуждая поверить в то, что грандиозные изменения необратимы, реальность навсегда утратила устойчивость и нормальность и потому вполне вмещает в себя светлое будущее, оно рядом, "при дверях"»[29]. Затем с середины 1930-х по середину 1950-х, то есть в период «высокого» и «позднего» сталинизма, утопическое мышление оказывается под запретом, а образ будущего становится подчеркнуто прагматичным, «полностью исключающим модальность утопии и ориентированным на "завтрашний день"»[30]. С началом «оттепели» «коммунистическому будущему возвращается трансцендентный и утопический статус, однако он понимается и интерпретируется иначе, нежели в утопиях 1920-х, в которых столь заметна эсхатологическая аура»[31]. Во второй половине 1950-х и 1960-х эсхатологический опыт не реанимируется, а имитируется; «образ реализуемой утопии имплантируется в нормализующий и стабилизирующий дискурс государственного планирования»[32].

> «Парадоксальная модель дальнего и при этом близкого будущего, вероятно, в самом деле могла вызывать воодушевление, но эффект оказался недолговечным. Безупречный коммунистический мир сохраняет (а возможно, и упрочивает) свой трансцендентный статус — скорая встреча с будущим откладывается»[33].

28 Сталин И.В. *Итоги первой пятилетки: доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.* // Он же. *Сочинения*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. Т. 13. С. 161–215 (www.marxists.org/russkij/stalin/t13/t13_35.htm).

29 Каспэ И. *В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры*. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 163.

30 Там же. С. 186. О запрете утопического мышления в сталинский период пишет и Ханс Гюнтер (Гюнтер Х. *Указ. соч*.).

31 Каспэ И. *Указ. соч*. С. 187.

32 Там же. С. 190.

33 Там же. С. 205.

Как и всякая периодизация, предложенная Каспэ схема условна и наверняка может быть скорректирована или оспорена[34]. Тем не менее интересно отметить, что в своих оценках она в целом совпадает с Сафроновым, особенно применительно к послесталинскому периоду. Как напоминает Сафронов, вторая программа РСДРП (1919) ставила своей целью построение социализма. Сталин, выступая в 1936 году с докладом о проекте новой советской конституции, заявил, что «социализм в СССР "в основном" построен; несмотря на эту оговорку, вторая программа партии также считалась выполненной» (с. 407). Работа над третьей программой партии началась после войны, но была остановлена после смерти Жданова (1948) и ареста председателя Госплана Николая Вознесенского (1949). К вопросу долгосрочного планирования вернулись после прихода к власти Хрущева. В ноябре 1957 года в докладе, посвященном 40-летию революции, он обозначил некоторые цели на будущее, включающие в себя увеличение объемов производства стали, выработки электроэнергии, добычи газа, проблемой которых, по мнению Сафронова, была их приземленность:

> «В среднем объемы выпуска базовых отраслей должны были вырасти в 2–3 раза с тем, чтобы СССР через 15 лет превзошел уровень США 1957 года. Ориентиры по уровню жизни были определены в виде обещаний через 10–12 лет решить жилищную проблему и обеспечить потребность населения в обуви и тканях. […] Коммунизм представлялся как такое же общество, каким оно было в 1957 году, только более сытое, одетое и имеющее больше стали, угля и квадратных метров на человека» (с. 407).

Комментируя далее стенограмму заседания Президиума ЦК КПСС 14 декабря 1959 года, Сафронов обращает внимание на то, что предложенный Хрущевым образ коммунистического будущего серьезно отличался от того, что предлагали основоположники марксизма:

> «Многие сущностные аспекты коммунизма вроде превращения труда из обязанности в потребность, обобществления быта, преодоления различий между городом и деревней и прочего, о чем грезили классики, исчезали. Из коммунизма у Хрущева осталось только государственное обеспечение детей в школах-интернатах, обеспечение стариков "всем необходимым", а всех граждан — бесплатным

34 Например Александр Фокин, на которого Каспэ ссылается в своей книге, указывает, что примерные сроки построения коммунизма назывались и в позднесталинский период и что тогда же Сталин сформулировал «три необходимых предварительных условия для реального, а не декларативного перехода от социализма к коммунизму». Фокин далее пишет: «Несмотря на начало антисталинского дискурса, Н.С. Хрущев сохранил тезис о начавшемся постепенном переходе от социализма к коммунизму, выдвинутый еще на XVIII съезде ВКП(б)» (Фокин А.А. *«Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов*. М.: Политическая энциклопедия, 2017).

общественным питанием. […] В целом переход к коммунизму должен был осуществляться через повышение доли общественного обслуживания и снижение доли общественного вознаграждения» (с. 410)[35].

Хрущевский план в пересказе Сафронова можно проанализировать с помощью категорий, используемых Фредриком Джеймисоном в книге об утопиях и научной фантастике. Джеймисон проводит различение между утопическим воображением, предлагающим масштабные проекты преобразования общества (упразднение денег или наемного труда), и утопической фантазией, генерирующей конкретное наполнение утопий (летающие машины, величественные общественные пространства и тому подобное)[36]. В джеймиосовских терминах предложенный Хрущевым образ коммунистического будущего проходит скорее по разряду утопической фантазии, чем утопического воображения: речь в первую очередь идет о конкретных и легко представимых нововведениях, а не об амбициозной программе перестройки человека и общества. Преимущество такого образа в том, что его можно без особых трудностей донести до людей. Поскольку Хрущев описывает коммунистическое общество как улучшенное настоящее, он не создает вызова для воображения советских граждан, не заставляет их помыслить радикальный разрыв с настоящим. Но в этом и слабая сторона хрущевского образа будущего, на которую Сафронов очень точно указывает: он лишен пафоса радикальной новизны, присущего «Государству и революции» Ленина и другим более ранним сочинениям марксистских теоретиков.

По сути, Хрущев предлагает советским гражданам прийти к уровню жизни наиболее развитых западных государств, но только окольным путем — не капиталистическим, а социалистическим. Дело не столько в слабости самого Хрущева как теоретика, сколько в особенностях исторической ситуации: необходимости, с одной стороны, повысить уровень жизни населения, снизившийся в результате Второй мировой войны, а с другой — увязать планы развития экономики со сталинским

35 Фокин, на чью книгу Сафронов также ссылается, несколько иначе оценивает хрущевский план. Во-первых, он указывает, что Хрущев на XXII съезде КПСС говорил не только об улучшении условий жизни советских граждан, но и о ликвидации различий между городом и деревней, физическим и умственным трудом, а также о расширении социалистической демократии и подготовки общества к «полному осуществлению принципов коммунистического самоуправления». Во-вторых, Фокин отмечает, что третья программа КПСС дополнительно дифференцировала понятие коммунизма: к 1980 году планировались построить коммунизм «в основном», заложив тем самым фундамент для строительства «полного» коммунизма. Но и Фокин со ссылкой на сына Хрущева пишет о том, что для советского лидера коммунизм означал главным образом «зажиточную жизнь» (Там же. С. 34, 36, 68–69.)

36 Jameson F. *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions*. London; New York: Verso, 2005. P. 44.

тезисом о «в основном» построенном социализме и представлением о том, что следующим после этого шагом должно быть строительство коммунизма. При этом даже такой приземленный план, указывает Сафронов, был сильно оторван от реальности:

> «В экономических расчетах к третьей программе КПСС… не нашлось… пояснений, какие конкретно мероприятия в области технического прогресса обеспечат такой темп роста промышленности и сельского хозяйства, чтобы все запроектированное стало явью» (с. 415).

Сафронов считает, что расчеты представляли собой «простое математическое упражнение: с каким темпом надо расти, чтобы в требуемые сроки достигнуть нужного уровня» (с. 416). Точно так же, как и Сталин, Хрущев не хотел слушать доводы экономистов. Но, в отличие от Сталина, он не был готов к колоссальной мобилизации общества для достижения поставленных целей, подобной той, что происходила в первые сталинские пятилетки (с. 416). В итоге третья программа КПСС, с одной стороны, поставила построение коммунизма как практическую задачу, требующую решения, а с другой — не смогла предложить адекватного ей плана работы. Двадцать лет спустя неоправданный оптимизм хрущевского времени обернулся разочарованием:

> «Когда к 1980 году коммунизм не настал, люди предсказуемо обвинили в этом не самих себя, а государство, которое все никак не хотело отмирать и заменяться коммунистическом самоуправлением. Еще одну проблему я вижу в том, что само понятие коммунизма из общества, где созданы наилучшие условия для полноценного развития каждой личности, отчасти превращалось в набор потребительских характеристик. При всей важности бесплатных обедов и бесплатного проезда они, на мой взгляд, не являются полноценной заменой мечты о равенства и братстве всех людей на Земле» (с. 416–417).

Сафронов проговаривает здесь сразу несколько важных мыслей, на которых стоит остановиться подробнее. С одной стороны, он говорит о неспособности советского руководства реализовать третью программу КПСС и построить то, что сам автор чуть ранее называет «самым социальным государством в мире» (с. 412). С другой стороны, он указывает на выхолащивание утопического импульса и постепенное изменение представления о коммунизме.

Как же связаны эти две проблемы? Если следовать логике Сафронова, то выходит, что отчасти именно исчезновение коммунизма как утопического горизонта сыграло свою роль в том, что советские граждане оказались неспособны на новую

трудовую мобилизацию. Сравнивая положение дел в начале 1930-х с хрущевскими временами, Сафронов пишет: «Тогда… партия… поднимала миллионы людей на трудовые подвиги. Теперь обещания всего бесплатного, наоборот, склоняли людей сидеть и ждать даров» (с. 416)[37]. Именно неспособность на мобилизацию в совокупности с другими факторами привела, согласно Сафронову, к тому, что даже приземленный план, предполагавшийся третьей программой КПСС, не был осуществлен.

Мы приходим к сложной взаимосвязи между утопическим горизонтом, социальной мобилизацией и конкретными материальными условиями. Утопический горизонт необходим для социальной мобилизации, которая в свою очередь необходима для достижения поставленных целей и в том числе — повышения уровня жизни людей. Наличие этих улучшений в свою очередь необходимо для того, чтобы коммунизм сохранял привлекательность в качестве горизонта будущего, а настоящее продолжало восприниматься как путь, медленно, но верно ведущий к намеченной цели[38].

Все это возвращает нас к диалектике централизации и децентрализации, занимающей столь важное место в аргументации Сафронова. Согласно его книге, на протяжении всей советской истории руководство страны пыталось найти идеальный баланс между индивидуальными интересами отдельных агентов и задачами, стоящими перед всей экономикой. Нужно было сделать так, чтобы эти агенты работали максимально эффективно и были лично заинтересованы в результатах своего труда, но при этом не допустить ситуации, при которой интересы индивидуумов и групп начинают противоречить интересам народного хозяйства.

Обретение такого баланса требует изобретения особых форм когнитивного картографирования, которые в свою очередь должны конструировать социалистических субъектов, осознающих свое место в экономической системе. Но, помимо когнитивного картографирования, такому проекту требуется что-то вроде инструмента когнитивной периодизации, указывающего индивидууму на его или ее положение на воображаемой прямой времени. Наличие утопического горизонта позволяет создать настоящее, заряженное предвосхищением будущего. Субъекту, обнаружившему себя в таком настоящем,

37 Насколько реалистично было бы ожидать такой мобилизации — с учетом изменения структуры общества и повышения в нем доли городских жителей с высшим образованием, — отдельный важный вопрос.

38 Ср.: «Бытовые условия, в совокупности с питанием и потреблением, воспринимались населением как индикатор продвижения к намеченной цели. Поскольку никто не мог увидеть миллионов тонн выплавленной стали или миллиардов киловатт электроэнергии, гораздо ближе для простого человека была позиция “чем лучше быт, тем ближе коммунизм”» (Фокин А.А. *Указ. соч*. С. 56).

предлагается рассматривать свой труд не как способ личного обогащения, а как вклад в строительство мира, в котором не будет места эксплуатации и нужде.

В теории, это должно снять противоречие между личными и коллективными интересами, а значит, решить и проблему централизации и децентрализации. Если все или почти все работники осознают, что их труд приближает лучшее будущее, то у них (опять же — в теории) пропадает желание уклоняться от выполнения своих обязанностей, работать спустя рукава или обманывать начальство. А раз так, то и потребность в строгом контроле за качеством труда отпадает и мы оказываемся в ситуации, когда «*необходимость* соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития […] станет *привычкой*» (Ленин).

Проблема в том, что такая темпоральная организация внутренне нестабильна. Если общество исчерпало все ресурсы, а обещанное будущее так и не наступило, то велик риск разочарования и апатии. Попытки же приблизить утопическое будущее через переопределение коммунизма в терминах товарного изобилия и повседневного комфорта приводит к постепенному отмиранию самого утопического импульса, столь важного для всей общественно-экономической системы. Поддержание же мобилизации преимущественно насильственными методами может быть эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, как показал опыт сталинизма, приводит общество и экономику к глубокому кризису.

В конечном счете, как показывает Сафронов, в этой общественно-экономической системе разочаровались даже советские экономисты. В 1980-е они почти единогласно говорили о необходимости демонтажа плановой экономики и переходе к «полному хозрасчету», то есть к «экономической независимости производителей и, по сути, к рыночным отношениям между ними и госбюджетом» (с. 670). Далеко не все они были сторонниками реставрации капитализма, но опыт советской экономики превратил их в «стихийных рыночников». Кроме перехода к рынку, «они не видели другого способа придать экономической системе гибкость и при этом обуздать групповой эгоизм предприятий» (с. 670). Речь, по сути, снова шла о проблеме воображения: неспособности представить себе такой сценарий, при котором экономику можно было бы сделать более эффективной, не отказываясь от самого принципа плановости. Конечно, эта проблема возникла не сама по себе, а стала результатом того кризиса, в котором страна оказалась к 1980-м. В итоге те, кто по долгу службы должен был поддерживать и развивать большую советскую экономику, приступили к ее демонтажу.

Summary

The 168th *NZ* issue opens with a block of materials devoted to certain pressing political problems of the contemporary world — "New/Old Dimensions of Politics in the (Post) Modern World". The first of these is the steady rise of populism, primarily right-wing populism, which has already resulted in serious upheavals around the world — from Brexit to Donald Trump's second presidency, marked by a sharp rise in international tensions and even war with Iran.

The reasons behind this populist wave are manifold, but one is arguably crucial when it comes to politics in the purest sense: political parties, movements, and ideologies. It is the erosion of support for traditional political parties and, more broadly, society's profound distrust of its own political elites. This is precisely what Igor Smirnov, a regular contributor to *NZ*, addresses in his article "*Hatred of the Elites*", which opens issue 168 of the journal. The author examines the historical roots of the current anti-elite revolution (as he terms it) and sees it as the completion of the present historical period.

Another crucial problem of today's world is the intrusion of technology into everyday political practice, a situation in which virtual political reality becomes more real than conventional political structures. One manifestation of this tendency has been the emergence and proliferation of so-called "virtual states". Andrei Medushevsky's article offers an overview of these "state" formations.

The theme of trust/distrust toward certain political or social groups is continued in the latest instalment of Alexei Levinson's column Sociological Lyricism. Here, the author, drawing on sociological data spanning several decades, traces the transformation of Russian society's attitude toward business.

A significant portion of issue 168 of *NZ* is occupied by the theme of the structure and functioning of Soviet state power — and its various forms. *NZ* contributors discuss this theme within the framework set out in Michel Foucault's later works, which introduced the concept of *la gouvernementalité*. *La gouvernementalité* in relation to Russian and Soviet history is the topic of a round-table discussion featuring Oleg Kharkhordin, Viktor Kaplun, Alexander Pisarev, Galina Orlova, Igor Stas, and Igor Kobylin. This is the second part of this round-table; the first part was published in issue 167. It should also be noted that these publications — as well as several upcoming ones — are dedicated to the centenary of Michel Foucault's birth. The theme of the history of development and periodisation of "Soviet governance" is continued by Konstantin Mitroshenkov in his lengthy review of Alexei Safronov's research "*The Great Soviet Economy*" in the New Books section.

The second collection of materials in this issue is devoted to a highly acute problem that over the past two decades has moved to the forefront both in public consciousness and in the private lives of many people. Heightened psychological vulnerability (the problem

in question) has become something of a hallmark of contemporary society — not only in the West, but also in Russia and the countries of Southeast Asia. This phenomenon, which has received the name "ego-sensitivity", is the subject of Sergei Finogin's article "*Ego-sensitivity and the Risk Society*".

The "politics of ego-sensitivity" is in many ways connected with the "politics of trauma". The American philosopher and cultural theorist Catherine Liu has leveled criticism at the fixation on trauma typical of liberal media and the culture industry in her newly published book "*Traumatized*", which is the subject of a review essay by Andrei Gelianov.

Ego-sensitivity and the fixation on trauma are often considered the result of the so-called "crisis of masculinity". This term emerged relatively recently, which by no means implies that representations of masculinity — and masculinity itself, in its cultural and social norms — had not previously been called into question. Masculinity in the Soviet cultural underground is the focus of the article by Klavdia Smola, titled "*Speaking Outlaw: Performing Masculinity in the Soviet Underground Culture*".

Among the other topics in issue 168 of *NZ* is the 30th anniversary of the Khasavyurt agreements, which put an end to the First Chechen War. An overview of the events that led to the conflict, the course of the war, the peace negotiations, and the terms of the agreements can be found in an article by Vadim Korolkov. In "*The Women of Iceland and the USSR: A Dialogue at a Distance*", Evgeny Pankov offers a brief outline of the history of contacts and attempts at cooperation between women's organisations and groups in the USSR and Iceland during the Cold War. Both texts are in the Case Study section.

Issue 168 of the journal also features the latest instalment of Tatyana Vorozheykina's column The Reverse of the Method ("*Venezuela: The Opposition and Trump*"), as well as the Modernity Revisited section, where, in his essay "*The Disintegration of the Classical, or the Forgotten Art of Circe*", Vladislav Degtyarev interprets the transformation of certain artistic forms from the Baroque to Art Déco within the framework of shifting cultural paradigms and modes of aesthetic thought.



Оформить подписку на журнал можно в следующих агентствах:

«Подписные издания»:
подписной индекс П3832
(только по России)
https://podpiska.pochta.ru

«МК-Периодика»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.periodicals.ru

«Экстра-М»:
подписной индекс 42756
(по России и СНГ)
www.em-print.ru

«Ивис»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.ivis.ru

«Информ-система»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.informsystema.ru

«Информнаука»:
подписной индекс 45683
(по России и за рубежом)
www.informnauka.ru

«Прессинформ»:
подписной индекс 45683
(по России и СНГ)
http://pinform.spb.ru

«Урал-Пресс»:
подписной индекс: 45683
(по России и за рубежом)
www.ural-press.ru

Приобрести журнал вы можете в следующих магазинах:

В Москве:
«Московский Дом Книги»
ул. Новый Арбат, 8
+7 495 789-35-91

«Фаланстер»
М. Гнездниковский пер., 12/27
+7 495 749-57-21

«Фаланстер» (на Винзаводе)
4-й Сыромятнический
пер., 1-6 (территория ЦСИ
Винзавод)
+7 495 926-30-42

«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
+7 495 951-19-02

В Санкт-Петербурге:
На складе издательства
Лиговский пр., 27/7
+7 812 579-50-04
+7 952 278-70-54

В Воронеже:
«Петровский»
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а
(ТЦ «Петровский пассаж»)
+7 473 233-19-28

В Екатеринбурге:
«Пиотровский»
ул. Б. Ельцина, 3
(«Ельцин-центр»)
+7 343 312-43-43

В Нижнем Новгороде:
«Дирижабль»
ул. Б. Покровская, 46
+7 831 434-03-05

В Перми:
«Пиотровский»
ул. Ленина, 54
+7 342 243-03-51